Майкл Соркин

Двадцать минут на Манхэттене

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Каждое утро архитектор и писатель Майкл Соркин идет из своей квартиры в Гринвич-Виллидж через Вашингтон-сквер в свою мастерскую в Трайбеке. Соркин не спешит; и он никогда не пренебрегает тем, что его окружает. Напротив, он уделяет всему вокруг самое пристальное внимание. В «Двадцати минутах на Манхэттене» он объясняет, что видит, что представляет, что знает. При этом перед нами раскрываются невероятные слои истории, инженерного дела, искусства и насыщенной социальной драмы – и все это за время простой двадцатиминутной прогулки.

- Майкл Соркин
  -
  - Лестницы
  - Крыльцо
  - Блок
  - Вашингтон-сквер
  - Ла-Гуардия-плейс
  - Сохо
  - Канал-стрит
  - Трайбека
  - Хадсон-стрит, 145
  - Другие пути
  - Esprit d’Escalier[119]
  - Благодарности
  - Об авторе
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15

- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59

- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103

- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120

Майкл Соркин
Двадцать минут на Манхэттене

Twenty minutes in Manhattan by Michael Sorkin was first published by Reaktion Books, London, 2009

© Michael Sorkin, 2009
© М. Визель, перевод, 2015
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2015
© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС» / IRIS Foundation, 2015

Лестницы

Путь от моей квартиры в Гринвич-Виллидж до моей студии в Трайбеке занимает около двадцати минут – в зависимости от выбранного маршрута и от того, остановлюсь ли я выпить кофе и почитать «Таймс». Но в любом случае он начинается со спуска по лестницам. Дом, в котором я живу, – это так называемый многоквартирный дом Старого закона (Old Law tenement), возведенный в 1892 году, о чем свидетельствует дата, выбитая на металлической табличке, вместе с именем дома: «Аннабель Ли». [1] Как и в большинстве подобных домов, в нашем пять этажей (порою их бывает шесть, иногда семь), и мы с моей женой Джоан обитаем на верхнем.

Спуск необременителен, но вот путь в четыре с половиной пролета вверх, семьдесят две ступени в общей сложности, включая крыльцо, может нервировать, особенно когда ты возвращается из прачечной с тридцатью пятью фунтами свежепостиранного белья. (Нежелание тащиться с этой тяжестью лишь оттягивает поход в прачечную и тем самым увеличивает тяжесть, создавая порочный круг.) Порою, вечером особенно изматывающего дня, создается впечатление, что между четвертым и пятым этажом вставили еще один дополнительный пролет. В карабкании по лестничным пролетам есть что-то гипнотическое. Я часто думаю, что нахожусь на четвертом, а в действительности нахожусь на третьем. И столь же часто происходит наоборот: я уверен, что добрался только до третьего, а я уже на четвертом.

Карабкаться по лестницам – прекрасная физкультура, если достаточно практиковаться. Я преодолеваю в среднем по двадцать пролетов – около трехсот ступенек – в день. Исходя из расчета «0,1 калории на ступеньку вверх» (и «0,05 калории на ступеньку вниз»), я способен сжигать по шоколадной плитке в неделю. Я старюсь взбираться по лестницам везде, где только можно, но в высотных домах меня часто удерживает от этого не только высота здания, но и то, что в домах с лифтом лестницы обычно размещаются «по остаточному принципу», пользоваться ими предполагается лишь в экстренных случаях. Эти изолированные лестничные шахты – неприятные места. Зачастую прямо предупреждается, что пользоваться ими допускается лишь в случае необходимости. Вспомните для сравнения легендарные парадные лестницы в классических квартирных домах XIX века Парижа и Вены, чьи широкие пролеты расходились вокруг просторных внутренних дворов. Хотя в них порой присутствуют небольшие лифты, эти открытые хитроумные приспособления не

выключают тех, кто ими пользуются, из жизни лестничных пролетов, а, наоборот, объединяют их.

Те лестничные пролеты не просто добавляли квартирным домам величия, но и служили важными пространствами социализации, будучи достаточно широкими, чтобы остановиться и поболтать посередине одного из них. Находящиеся в общем пользовании по необходимости, они образуют полезный и элегантный компонент коллективной окружающей среды. Щедрость, с которой отмерялось пространство лестниц и дворов (не говоря уж об открытых клетях небольших лифтов), означала, что всякий, ступив на лестницу, присоединялся к братству хорошо видимых и слышимых вертикальных путешественников. Что развивало ощущение общности и позволяло чувствовать себя в безопасности внутри здания. Эффекта загадочных шагов и неожиданных встреч легко избежать благодаря тому, что гостей, приходящих на вечернику, видно издалека. Чтобы воссоздать атмосферу подобных мест, вспомните попытку Рипли (в «Талантливом мистере Рипли» Патриции Хайсмит) снести завернутое в ковер тело Фредди Майлза вниз по парадной лестнице квартирного дома в римском стиле. Несколько лет спустя в киноверсии ее воплотят соответственно Мэтт Дэймон и Филипп Сеймур Хоффман.

В Нью-Йорке очень мало квартирных домов, снабженных гостеприимными лестничными пролетами, подобных тем, что можно было найти в элегантных домах буржуазной Европы XIX века. Одна из причин состоит в том, что, хотя одинокие и бедные люди издавна селились в многоквартирных домах и общежитиях, респектабельные квартирные дома появились в Нью-Йорке относительно поздно: проникновение больших блоков «французских домов» (отмеченных характерным сочетанием экономичности и удобства) началось только в 1870-х годах. По причине ли первичности лифтов (изобретенных еще в 1852 году), стремлении сэкономить на расходах и выкроить побольше места, низведение (и последующая изоляция) лестничных пролетов до статуса «аварийных выходов» привело к тому, что в книге достижений нью-йоркской урбанистики сыщется не много записей, связанных с лестницами. «За два с половиной месяца я не видел в Америке ни единой лестницы, – писал Ле Корбюзье в 1937 году. – Их похоронили… спрятали за дверьми, которые вам в голову не придет открыть». Большинство величайших городских лестниц, от музея Метрополитен до Нью-Йоркской публичной библиотеки и Федерал-холла,[2] – внешние, они выражают скорее гражданские, нежели домашние добродетели. В некоторых зданиях социальное прославление лестниц происходит в

лифтовом фойе. Вспомните небоскреб Вулворт или Крайслер-билдинг[3] с их богатыми украшениями. Нечто подобное встречается во многих довоенных квартирных домах.

Лестницы в «Аннабель Ли» состоят из прямых пролетов. Они ведут с этажа на этаж без промежуточных площадок между ними. Это не обязательно самый компактный вариант для лестницы, потому что часто подразумевает, что следующий пролет начинается не сразу, а через небольшой коридорчик. Эффективность зависит от количества входных дверей на каждом этаже. В «Аннабель Ли» проект весьма экономичен. Для моих глаз (и ног) лестница, особенно входящая в единую систему лестницы и коридора, элегантнее и приятнее, когда она подводит взбирающихся по ней прямо к входным дверям. В ней меньше изгибов и поворотов, меньше отдельных пролетов – и с низу каждого пролета хорошо просматривается следующая цель.

Для меня лучшие нью-йоркские лестницы – в пяти- и шестиэтажных промышленных зданиях второй половины XIX века, нынче переделанных в лофты. Лестницы там не просто прямые, но еще и продолжающиеся. Самая высокая их концентрация в Сохо, где во множестве зданий прямые лестничные пролеты возносятся все выше, притормаживаемые только площадками на этажах, пока ограничение длины здания не вынуждает их повернуть. Хотя их вынуждает к этому первоначальное назначение здания – по просторным, непрерывным лестницам, очевидно, было легче поднимать негабаритные тяжести, – эти широкие лестницы, поднимаясь беспрепятственно на четыре, пять этажей, входят в число самых прекрасных и драматичных архитектурных пространств города. Это его крытые галереи. Наряду с чугунными фасадами, пристройками первых этажей во внутренних двориках с окнами в потолке (через которые видно небо) и металлическими тротуарами с встроенными стеклянными иллюминаторами, освещающими подвалы под ними, эти лестницы – часть тектонического «словаря» лофтов, основополагающего для архитектурного архива Нью-Йорка.

Все эти элементы можно приспособить для современного использования. Самый удачный пример длинной непрерывной лестницы – Бейкер-хаус, общежитие Массачусетского технологического института, спроектированное великим финским архитектором Алваром Аалто в конце 1940-х годов. Застекленная с одного края, немного сужающаяся по мере подъема, эта лестница представляет собой прекрасное место как для спуска-подъема, так и для общения. Сужение имеет как художественное, так и функциональное значение. С одной стороны, чем выше, тем меньше людей ею пользуется, а с другой – при взгляде снизу

вверх перспектива поневоле сужается. Вариация на тему этого непрерывного подъема – пандус музея Гуггенхайма, наивысшего нью-йоркского достижения в том, что касается внутренней лестницы, хотя некоторые утверждают, что удовольствие от восхождения по спирали берет верх над логикой демонстрации проведений искусства.[4]

Возможность включения подобных лестниц внутрь зданий зависит от их размеров. Стандартная формула расчета габаритов внутренней лестницы – подъем ступени лестницы плюс сама ступень, дающие в сумме семнадцать или семнадцать с половиной дюймов. При ступени в десять дюймов и подъеме в семь с половиной, для того чтобы достигнуть высоты в десять футов – разумное расстояние от этажа до этажа в квартирном доме, – требуется шестнадцать ступенек (именно столько их в моем доме), а длина пролета составляет чуть больше тринадцати футов (ступенька зачастую слегка выступает над подъемом), не считая верхней и нижней площадки, увеличивающих общую длину примерно до двадцати футов. Непрерывный прямой подъем на пятый этаж потребовал бы, таким образом, около девяноста футов длины здания – и еще больше для домов с высокими этажами, каковыми являются большинство сооружений с лофтами.

Архитектура возникает на пересечении искусства и частной собственности, и это одна из причин, по которой ее плоды так хорошо различимы в истории общественной жизни. Знаменитый сеточный план Манхэттена, возникший благодаря брызжущему оптимизму городских комиссионеров в 1811 году и расширенный в 1835 году, разделил остров – от границ существовавшего тогда поселения в Гринвич-Виллидж до самого северного кончика – на двести блоков (кварталов) улицами шириной от шестисот до восьмисот футов. Эти блоки,[5] в свою очередь, были разделены на участки (лоты) двадцать пять на сто футов, которые и стали базовым модулем как для владельцев, так и для архитекторов, определяя характер города. Типичный дом того времени занимал половину своего участка, то есть имел размеры двадцать пять на пятьдесят футов (обычно – гостиная сбоку, а лестница и комнаты обращены к переднему или заднему фасаду), а за ним располагался задний двор, примерно того же размера. В результате возникал блок из двадцати пяти – двадцати восьми домов.

Происхождение сеточного плана остается во многом загадкой, хотя сама по себе градостроительная «решетка» имеет давнюю историю, простираясь во времена вавилонян и египтян. Возможно, первым, кто определил решетку как ясное выражение

разумного, общественно упорядоченного плана, был грек, Гипподам из Милета, планировщик, философ и математик V в. до н. э., о котором упоминает Аристотель. Гипподам не просто первым задумался о геометрической организации городского пространства, но также выдвинул соображения о границах соседских участков, функциональном зонировании (священное, общественное, личное) и важности центральной площади (агоры), а также об идеальном масштабе и населенности города. Ему приписывают планы Милета, Пирея, Родоса.

Согласно Фредерику Лоу Олмстеду, истоки нью-йоркской «сетки» были далеко не столь концептуальны: «Весьма достоверной представляется история о том, что система… была предложена благодаря случайности: рядом с картой местности, на которой предполагалось утвердить план, оказалось строительное сито. Его положили на карту, после чего возник вопрос: “Кто-нибудь может предложить что-нибудь более подходящее?” Ответа не последовало». Критика в адрес сетки и возникающих из-за нее сложностей раздавалась с самого начала. Олмстед сам указывает на проблемы, возникающие из-за жестко фиксированного размера городского блока: невозможность выкроить место для по-настоящему большого сооружения и общественного пространства; проблема затененности; сложность выстраивания систем формальной и символической иерархии при общем стремлении к единообразию. Последнее замечание отсылает к более раним установкам архитектора Пьера Ланфана, который раскритиковал предложение Томаса Джефферсона (ставившего во главу угла идеи Просвещения) создать новую столицу, город Вашингтон, исключительно по сетке.

План 1811 года создал ряд проблем, неразрешенных и по сей день. Например, нехватка боковых дорожек между домами, подобных тем, что существуют в Лос-Анджелесе или Чикаго. Из чего следует, что сбор мусора и выгрузка доставленных товаров должны осуществляться прямо с улицы. А ориентация блоков по оси «запад-восток», вполне логичная с точки зрения создания сети более низкой плотности между загруженными авеню, ориентированными по линии «север-юг», привела к тому, что прямые солнечные лучи могут проникать лишь с узкой южной стороны каждого стоящего в ряду дома; хотя, поскольку сетка повернута на 29 градусов к северо-востоку, чтобы соответствовать наклону самого острова и идти параллельно Гудзону, рано утром солнце проникает с севера (востока). И наконец, длинные и узкие участки, вполне логичные для стоящих в ряд домиков, весьма проблематичны для квартирных домов, которым, чтобы в них разместилось по несколько квартир на каждом этаже, очевидно,

следует быть существенно длиннее, чем домам на одну семью.

За сто лет, прошедшие со времени принятия плана 1811 года, население Нью-Йорка (без Бруклина, который не считался частью Нью-Йорка до 1898 года, а был отдельным миллионным городом), достигло трех миллионов. Частные дома преобразились в многоквартирные, буквально втиснутые на всю глубину каждого участка, порою прямо стена к стене с соседним строением. Самыми худшими из них стали так называемые дома-вагоны, в которых комнаты, по восемнадцать на этаж, прямо-таки нанизывались на центральную лестницу. Поскольку они представляли собой «конструкции с общей стеной» (дома одного ряда разделяли общую стену с соседом с каждой стороны) и поскольку задние дворы практически исчезли, лишь две комнаты – те, что выходили на улицу – имели доступ к солнцу и свежему воздуху. Впрочем, так называемые улучшенные дома оборудовались маленькими «воздушными колодцами» в центре здания, но их значение оставалась ничтожным.

Последствия плохого домостроительства неоднократно обсуждались на частном и общественном уровнях: законодатели штата представили доклад о неподобающих жилищных условиях еще в 1857 году, но непосредственных последствий он не возымел. В 1865 году Ассоциация граждан Нью-Йорка опубликовала огромное исследование, согласно которому почти 500 тысяч из 700 тысяч жителей города ютятся в пятнадцати тысячах многоэтажек, не отвечающих никаким стандартам. Накрывшая город в середине века волна пожаров, эпидемий и бунтов лишь подчеркнула материальную и социальную опасность плохо построенных, антисанитарных и перенаселенных трущоб, и в 1866 году был законодательно принят исчерпывающий строительный кодекс. За ним в 1867 году последовал Акт о многоквартирных домах, впервые установивший стандарты в этой области. Они предусматривали лучшую защиту от пожаров (включая пожарные лестницы) и минимальные санитарные нормы: один ватерклозет на двадцать комнат.

Закон 1867 года был пересмотрен в 1879 году. Согласно новому уточнению, здание должно занимать не больше 65 процентов участка, на котором построено, «пристройки на заднем дворе» – сооруженные зачастую в дюймах от соседних – должны получать свет и свежий воздух; возросло и количество предусматриваемых туалетов. Слабые усилия к исполнению этого закона (еще одна глава в долгой истории борьбы общественных и частных интересов, так заметно сформировавшей город) привели к появлению формального компромисса, «домов-гантелей», или «домов Старого закона», прекрасным примером которого и

является наша «Аннабель Ли». «Гантель» здесь намекает на план здания, утонченного посередине, что позволяет создать с обеих сторон воздушные колодцы.

Когда «дома-гантели» строили в ряд, пара соседних колодцев образовывала общий колодец большего размера, через который свет и свежий воздух проникали в центральную часть здания. Между 1880 и 1900 годами было возведено свыше шестидесяти тысяч подобных зданий. К началу XX века примерно 65 процентов из 3,4-миллионного городского населения жило в многоквартирных домах, являющих собой разнообразные варианты «домов Старого закона».

Старый закон был, в свою очередь, замещен Актом о многоквартирных домах 1901 года, который до сих пор выступает в качестве законодательной базы при возведении малоэтажных домов в Нью-Йорке. Хотя по этому акту территория земельного участка, который разрешалось отводить под застройку, возрастала до 70 процентов, закон предусматривал строгие меры наказания за нарушение. Более существенно с конструктивной точки зрения то, что этот закон существенно увеличил требуемые размеры воздушных колодцев, преобразив их уже скорее во внутренние дворики. Закон также ставил высоту здания в соответствие с шириной улицы, на которую он выходил, и размером внутреннего двора, который он образовывал. Закон требовал, чтобы каждая комната имела окно, а каждая квартира – проточную воду и туалет, в нем также содержались противопожарные требования к конструкции дома и его выходов.

Эти меры создали словарь практически для всех последующих кодексов и правил зонирования в городе – потому что не просто уделяли пристальное внимание мерам безопасности, гигиены и «качества жизни», но и недвусмысленно требовали взаимного соблюдения частных и общественных интересов. Новый закон устанавливал обязанности застройщиков как по сохранению общественного пространства на улице, так и по созданию внутреннего пространства в их собственных домах. Создание этих пространственных обязательств осуществлялось путем определения, что́ есть свет и свежий воздух в городе, а также сохранения и уточнения самого предмета дискуссии – какие дома следует строить и какие дома подлежат сносу. Как мы увидим в дальнейшем, институциализация идеи «торговли», переговоров с целью нахождения решения, примиряющего общественные и частные интересы, так и останется фундаментом городского планирования.

Поскольку в настоящее время в «Аннабель Ли» по две квартиры на этаж, в пожарных выходах на лицевом фасаде нет

необходимости; закон требует двух выходов из каждой квартиры – каковое требование в нашем случае удовлетворяется наличием основной лестницы и пожарного выхода позади. Пожарная лестница, привычный элемент исторической архитектуры Нью-Йорка, – приспособление, приделываемое к зданиям в качестве запоздалой меры, с самого начала оплакиваемое эстетами. Пожарные выходы спасли тысячи жизней и обеспечили миллионы людей дешевыми балконами. Несмотря на доступность кондиционеров, духота до сих пор вынуждают многих, в поисках воздуха попрохладнее, использовать пожарные выходы в качестве спального места. Они представляют собой металлические балкончики, соединенные по вертикали металлическими же лестницами, более похожими, по недостатку места, не на лестничные пролеты, а на простейшие круто стоящие лестницы с перекладинами. В противоположность пожарным выходам, наружные лестницы, будучи менее защищенными и более сложными конструктивно, менее круты, чем внутренние; даже в «Аннабель Ли» наружное крыльцо более пропорционально, чем лестничные пролеты.

Комфортабельное соотношение высоты к ширине критично для удобного подъема по лестнице, как и для того, насколько легко будет желающим преодолевать лестницы своим собственным способом – перешагивая через две ступеньки, например. В классической архитектуре соотношение длины к высоте 1:1 (если не брать традиционные голландские дома – компактные, но вытянутые вверх, где ступени могут быть выше), что требует угла в 45 градусов. При таком соотношении порой тяжело взбираться и боязно спускаться. Несколько лет назад мы с Джоан посещали храмовый комплекс Чичен-Ица в Юкатане и вскарабкались вверх по лестнице, поднимающейся почти под 60 градусов (таков был угол наклона самой пирамиды). Подниматься было тяжело, но не трудно. Но когда мы добрались до вершины и оглянулись, уходящая вниз лестница показалась нам настолько отвесной, что Джоан просто парализовало от страха. Спустились мы с трудом, перевернувшись животом к ступенькам, крепко вцепившись в цепи, протянутые вдоль ступенек для безопасности.

И хотя эта своеобразная лестница не испугала меня, я чрезвычайно утомился, карабкаясь по лестнице одной из башен собора Саграда Фамилиа, сооруженного Антонио Гауди в Барселоне, и намерен больше никогда не повторять этот опыт. Это очень узкая спиральная лестница, из камня, огражденная одной только низенькой балюстрадой – ниже обычных перил. Чем выше поднимаешься, тем эффектнее – и ужаснее – вид. Я никогда не забуду, какой страх испытывал, прижимаясь к внутренней

стенке и ожидая, что сейчас кто-то из спускающихся споткнется или поскользнется, увлекая меня на каменный пол внизу.

Несмотря на внушаемый ими ужас, винтовые лестницы сочетают элегантность спирали и компактность цилиндра, и, логически рассуждая, их можно было бы видеть чаще. Но винтовая лестница собирается из ступенек-долек (разрезанного, как пирог, круга), которые, по причине своей неправильной формы, представляют для взбирающегося по ней все возрастающую по мере подъема угрозу. В результате винтовые лестницы (хоть они и используются внутри частных квартир) не могут соответствовать законным (а значит, и экономическим) требованиям, предъявляемым к аварийным выходам, и поэтому относительно редки в Нью-Йорке.

Символический вес лестниц заключен в их форме и их размере. Величественная лестница в течение долгого времени знаменовала собой значительность и парадность. Лестница парижской Гранд-опера́ (убого передранная в насквозь китчевой Метрополитен-опере) величественна и раздвоена, так что верхнего фойе можно достичь, поднимаясь по правой или по левой стороне. Поразительная двойная спираль лестницы замка Шато де Блуа в долине Луары – вероятно, созданная по эскизу Леонардо да Винчи, – безусловно, входит в первую десятку. Разумеется, величие часто умаляется с высотой. В системах с вертикальным сообщением, основанным на мускульной силе ног, привилегированное положение закреплено за нижними этажами. В ренессансных палаццо piano nobile («господский этаж», наш второй этаж) традиционно считается наиболее престижным этажом здания, на нем размещались самые впечатляющие комнаты. Вознесенный над землей, чтобы находиться от нее на подобающем расстоянии и в то же время обеспечивать обзор уличной жизни, этот этаж имел более высокие потолки, чем нижний. «Гостиный этаж» – это буржуазная версия «господского этажа», и нью-йоркские «браунстоуны», дома из коричневого песчаника с их впечатляющими внешними лестницами, ведущими в парадные комнаты на этаже, вознесенном над улицей, служат здесь типичным образчиком.

Этот диалог запросов и требований – основной генератор архитектурных форм, и каждая формулировка закона порождала как своих поэтов, так и своих злоумышленников. В целом основополагающей задачей по умолчанию считалось добиться максимальной экономической отдачи при соблюдении требований закона. История изменений требований безопасности легко считывается в изменениях архитектурных форм. В Нью-

Йорке время от времени попадается что-то вроде маленьких балкончиков, соединяющих рядом стоящие здания. Это усовершенствованная форма пожарного выхода в соответствии с пересмотренным кодексом 1960 года. Он спроектирован так, чтобы дать возможность жильцам переходить с одной стороны огнеупорной стены на другую, выполняя таким образом требование о двунаправленном аварийном выходе. Подобный же пример экономической и архитектурной изобретательности – «лестница-ножницы». Суть этого изобретения – размещать два прямых лестничных пролета в одной лестничной клетке, в виде вереницы букв X. Вход на лестницы – с противоположных сторон огнеустойчивого ограждения, а сами они разделены по всей высоте вертикальной огнеупорной стеной. Люди спускаются в противоположных направлениях, проскакивая посередине каждого пролета в считаных дюймах друг от друга – но разделенные стеной. После 11 сентября целесообразность подобной конструкции была поставлена под сомнение. В настоящее время широко распространено убеждение, что, если бы лестницы во Всемирном торговом центре были бы разнесены подальше, спаслось бы больше народу, и строительный кодекс был снова пересмотрен, чтобы отразить это убеждение. Лестницам-ножницам суждено исчезнуть.

Помимо соображений безопасности, подъем по лестницам полезен для здоровья, как и ходьба в целом – и это не шутка. Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний докладывают, что эпидемии ожирения и диабета, захлестнувшие Соединенные Штаты, – это прямое следствие архитектурного и урбанистического планирования, построенного на том принципе, что каждое наше перемещение должно осуществляться с помощью какого-то технического средства – будь то автомобиль, самолет или лифт. В нашей культуре «расползания», устанавливающей к тому же историческую связь между статусом человека и его праздностью, хождение пешком считается приемлемым только в качестве развлечения. Механические, ячеистые, лишающие телесного и социального контакта средства передвижения взаимообразно участвуют в возникновении современных форм отчуждения, синдрома «боулинга в одиночку»,[6] запараллеливания жизней людей. Но для инженеров, проектирующих подобные системы, человеческое тело – это просто хрупкое устройство, зависимое от разнообразных воздействий окружающей среды: изменений температуры, влажности, шума, резкого ускорения и торможения, самого антуража. Устройство, которое нужно упаковать и переместить как можно более действенно при помощи разнообразных

транспортных машин.

В течение двадцати четырех лет «Аннабель Ли» щедро предоставляет мне возможности для точных эмпирических исследований физиологического эффекта взбирания по лестнице, и я пришел к заключению, что пять этажей – это вполне приемлемый предел этажности. Во всяком случае, для нас, людей среднего возраста. С исторической точки зрения это вертикальное ограничение находит свое подтверждение в большинстве городов. Но есть и множество исключений. Йеменская Сана, итальянская Генуя – исторические центры этих городов заметно выше. Некоторые из йеменских зданий – а это настоящие глиняные небоскребы без лифтов – имеют аж десять этажей. Но несмотря на эти отклонения, города тысячелетиями процветали, развиваясь в одном высотном диапазоне, примерно от десяти до восьмидесяти футов. Это справедливо и для древнеримских инсул, и для «пуэблос» Юго-Запада США,[7] и даже для шанхайских «лонгтангов», «домов-улиц». Все эти сооружения очень плотно заселены. Но было бы ошибкой считать, что чем выше сооружение, тем больше плотность населения. «Малый город» Соммервиля, штат Массачусетс, в течение долгого времени входил в число наиболее населенных муниципалитетов США, а Лос-Анджелес – олицетворение расползшегося города – имеет среднюю плотность населения выше, чем в Нью-Йорке.

Логика малой высотности – вопрос ограниченности человеческих сил для вертикального подъема, желания не отрываться от земли и доступности строительных технологий. Стоечно-балочная конструкция (возвести стены и наложить перекрытие), до сих пор применяемая в большинстве возводимых сооружений, ограничена прочностью, доступностью и обрабатываемостью используемых материалов. Дерево, камень, кирпич – все они накладывают те или иные строгие ограничения. Вообразите себе строительство с помощью балочно-стоечной конструкции таких величественных каменных сооружений, как Стоунхедж или Карнак. Для создания подобных структур необходим колоссальный труд – выламывать блоки в каменоломнях, обтесывать, перевозить, воздвигать. Нам до сих пор не известно, как египтяне возводили пирамиды – не балочно-стоечные конструкции, но огромные каменные груды. Хотя нам известно, что на строительстве каждой из них тысячи рабов были заняты в течение десятков лет, а используемое внутреннее пространство в них почти отсутствует.

«Аннабель Ли» сооружена из кирпичей и дерева. Четыре ее наружные стены – кирпичные, сплошные в местах сопряжения с соседними домами и с оконными и дверными проемами в

переднем и заднем фасадах, а также в воздушных колодцах. Кирпич – это материал, который прекрасно работает по вертикали (он устойчив к сжатию), но более проблематичен по горизонтали. Для покрытия горизонтальных проемов кирпич может использоваться в виде арок или куполов, но их размах ограничен. Использовать арочный свод от стены до стены в случае «Аннабель Ли», предполагая, что свод начинается с высоты человеческого роста, – значит, что здание той же этажности окажется на 50 процентов выше, и при его возведении потребуются дополнительное время, материалы и опыт. Внутренние части здания, его полы и стены, возведены из дерева, которое, обладая преимуществами легкости, дешевизны, простоты обработки и соединения, не может, разумеется, похвастаться огнеупорностью. Так что использование дерева как структурного элемента сейчас практически сведено на Манхэттене к нулю.

Относительная однородность зданий и городской планировки в разных культурах – результат особенностей социальной организации (большие здания и замкнутые пространства возникли вследствие необходимости проводить многолюдные собрания), экономических возможностей (только очень богатая и могущественная Церковь могла возводить кафедральные соборы) и наличия доступных материалов и технологий (пустынные цивилизации оставили мало деревянных сооружений) и их образа жизни (разборные вигвамы и палатки – логичное решение, если вы осуществляете сезонные миграции). В наши дни – то же самое. Нью-Йорк строится, задействуя чрезвычайно узкий диапазон конфигураций, материалов и структур, их пределы задаются культурой, технологией и экономикой. Маленькие квартиры в многоэтажных зданиях – следствие чрезвычайно высокой цены на землю и затрат на строительство, растущего превалирования непатриархальной семьи (не живущей целым родом) и все ужесточающихся ограничений со стороны закона.

В XIX веке индустриализация и порожденные ею социальные отношения быстро распространили городской паттерн не только вверх, но и вширь: впечатляющая горизонтальная экспансия городов оказалась следствием взаимовлияющей встречи технологий, экономических новшеств и изменившейся общественной жизни. Горизонтальный город не мог бы обходиться без железной дороги (и автомобиля) точно так же, как вертикальный город – без лифта и бессемеровской стали.[8] Современная бюрократия, засевшая в высоких домах, тоже была бы невозможна без нового разделения труда, без новых форм организации капитала, без доступных средств массового

перемещения и без урбанизма концентрации (для централизованных операций) и разделения (для того, чтобы обеспечить владельцев и управленцев жильем на расстоянии от их рабочих мест и от самих рабочих). Заводам требуются обширные площади с легким доступом к транспорту, материалам, источникам энергии, расположенные недалеко от места проживания дисциплинированной рабочей силы.

«Темные фабрики сатаны»[9] английской промышленной революции в корне изменили формы и парадигмы урбанизма. Они создали определяющие черты современного города: гигантские фабрики; переплетения железнодорожных путей; мили плотно составленных, однообразных рабочих домов; шум, жар и вонь, производимые углем, сжигаемым для приведения в движение паровых машин на этих фабриках. Это прямое воздействие на город дополнилось воздействием на весь ландшафт – шахты и копи плюс фабрики, железные дороги, загрязнение рек, а также упадок сельскохозяйственной экономики, рост новых потребительских привычек и дальнейшее классовое расслоение. Промышленная революция с двух сторон переопределила саму идею города, и эти подходы продолжают доминировать и в городском планировании, и в его идеологии.

До XIX века практически все города функционировали по принципу «всё под боком». Ремесленная продукция изготовлялась в мастерской, расположенной под домом ремесленника, и часто служила и местом товарообмена. Для верности, в городе всегда были четко выделены блоки, отведенные для бедняков и меньшинств, для специализированной торговли, для больших рынков, для религиозных надобностей, а также места власти. Первейшее разделение – между городом и деревней, между урбанистическим и сельскохозяйственным пространством. Но индустриализация создала новый рабочий класс, в котором вечно копятся протестные настроения, что породило необходимость вытеснить представителей этого класса из мест, более благоприятных для обитания богатых выгодополучателей их труда, в такие места, где увеличится эффективность от их связей с фабриками и потенциальный наплыв работников лишь повысит возможности для эксплуатации.

Повсеместный рост индустриализации, с ее гигантскими площадками и всё возрастающей специализацией труда и реформистской правовой базой, а также публичная бюрократия, наделенная правом принуждения, фундаментально переопределили город. Хотя первый по-настоящему действенный закон о зонировании в США – это Нью-йоркский городской акт 1916 года, упорядочивший ограничения и по форме, и по

эксплуатации домов, сама идея официального регулирования неподобающей или опасной эксплуатации зданий существовала столетиями. В конце XVII века в Бостоне действовал закон, требующий от строительных конструкций огнеустойчивости и определяющий места, отведенные для устройства скотобоен, ректификационных колонн и вытопки жира. А в Нью-Йорке еще раньше существовали ограничения, касающиеся свинарников и отхожих мест, подобные государственные правила пространственной организации в зависимости от назначения стали в XIX веке частью законодательства буквально каждого американского города и поселка. Беглый взгляд на действующую в Нью-Йорке законодательную базу о зонировании, с остающимися в ней ограничениями касательно скотобоен, красилен, канатных мастерских и прочих анахронизмов, демонстрирует нам как историю регулирования неприятных производств, так и археологию деиндустриализации.

С момента объединения в 1898 году пяти районов-боро[10] в единый город Нью-Йорк выработал только один законченный городской план – и он так никогда и не был принят. Зонирование по назначению и плотности населения продолжает по умолчанию оставаться основополагающим принципом при организации пространства и главным «рычагом» городского планирования. Но хотя классическое зонирование сохраняет значение для того, чтобы иметь возможность исключить абсолютно неподходящие для данного места виды деятельности, регулировать плотность населения и воплощать определенные пространственные решения общегородского характера, постиндустриальная экономика наших дней (по крайней мере, в «развитых» странах) предлагает решительно пересмотреть заложенные в основу зонирования принципы разделения. Производство становится все чище и все в большей степени основывается на знаниях, наша городская экономика решительно преобразуется в экономику услуг, а расизм и национальная рознь все убывают. Кроме того, концепция «смешанного назначения» становится все более распространенной и заметной. Все это свидетельствует о том, что городам пора радикально переосмыслить принцип зонирования – как способ усиления и упрочения этой полезной «перемешанности» разных видов использования городского пространства, а не простой их изоляции.

Огромные преобразования, привнесенные в индустриальный город, породили другой побочный эффект – резкий рост культуры реформ и консолидация научных дисциплин и инструментов современного городского планирования. Критики города располагались в диапазоне от таких революционеров, как

Фридрих Энгельс, чье описание условий жизни рабочего класса в Манчестере остается непревзойденным,[11] до чувствительных архитекторов-наблюдателей, подобных Огастесу Пьюджину,[12] оплакивавшему исчезновение традиционного сельского пейзажа и связанных с ним социальных отношений – которые, впрочем, трудно назвать равноправными. В Соединенных Штатах урбанистическое реформатство расцвело в критических работах, выдержанных в лучших традициях «разгребания грязи». Например, «Как живут остальные»[13] Якоба Рииса, «Стыд городов» Линкольна Стивенса и множество других. Здесь же стоит упомянуть движение «народных домов», т. е. общественных центров, включавших в себя детские сады, художественные мастерские, библиотеки и т. д., инициированное Джейн Аддамс. Появлялись и множились общественные движения, призванные улучшать ситуацию в сфере здравоохранения и санитарии, в детских учреждениях, тюрьмах, домах бедняков, равно как и в условиях работы и ее оплаты – не говоря уж о борьбе за отмену рабства, женские права, права иммигрантов и за более справедливое распределение общественного богатства. Многое из того, за что тогда боролись, теперь стало частью ментального убранства Нью-Йорка.

Вся эта деятельность возникла не только из-за отчаянного положения, в котором пребывали жители городских трущоб, но благодаря глубокому терапевтическому импульсу, неукротимому желанию врачевать и улучшать, ставшему отличительной чертой политики современности. На волне рационализма Просвещения и его идей усовершенствования человеческой жизни, сыгравших такую важную роль в интеллектуальном образовании американских отцов-основателей, в стране развернулась дискуссия не просто об излечении болезней, но об излечении преступности, антисанитарии и разнообразных форм неподобающего поведения посредством создания благоприятствующей окружающей среды. Весь американский проект в целом можно рассматривать как инструмент, позволяющий ликвидировать или, по крайней мере, локализовать девиации, привести различия к новой, толерантной или гомогенизирующей, норме.

Одной из таких девиаций, характерных для Нью-Йорка, было и остается многообразие языковых и поведенческих навыков иммигрантов, начавших с середины XIX века преобладать в городском населении. Нью-йоркская элита смотрела на иммигрантов со все возрастающим беспокойством, видя в них лишь источник преступлений, болезней, беспорядков (особенно после крупных волнений призывников в 1863 году[14]) и, по мере

того как век шел к своему концу, базу для радикальных политиков, представлявших собой угрозу стабильности традиционных институтов и власти как таковой. Реформа жилищного домостроительства стала плодом чистейшего альтруизма, смешанного с научно обоснованным усилием остановить распространение заболеваний среди граждан и укрепить власть. Олмстед оказался лидером этой пространственной «цивилизационной миссии». Города с их пространствами коллективной рекреации, уверял он, способны порождать здоровье, долголетие и добрососедство.

Якоб Риис, датский эмигрант, ставший ведущим газетным репортером своего времени и пионером фотографии, которого Теодор Рузвельт впервые припечатал прозвищем «разгребатель грязи», наиболее полно выразил двусмысленную природу реформизма с его сочувствием и в то же время презрением к тем, кто пытается «выбиться в люди». «Как живут остальные» – это одновременно и гневное обличение трущоб, и расистский путеводитель-справочник по тем, кто в них обитает. Вот китаец: «Века бесчувственного идолопоклонства, простого служения чреву лишили его существеннейших качеств, необходимых для того, чтобы оценить возвышенное учение веры, чьи движения, чей дух бескорыстия выходят за пределы его понимания… Хитрость и скрытность в такой же степени присущи китайцу в Нью-Йорке, как кошачья походка – его войлочным туфлям… он по натуре своей чистоплотен как кошка, которую напоминает также своим жестоким коварством и дикой яростью, когда разозлен. В бизнесе, как и в домашней жизни, он сторонится света… Расспросите полицейского – средний китаец скорее будет ежедневно играть в азартные игры, чем есть каждый день».

А вот евреи. «Деньги – их бог. Жизнь сама по себе мало что значит по сравнению с самым ничтожными банковским счетом… Поразительно, насколько силен инстинкт доллара и цента [в еврейских детях]… Но брань и насмешки – не то оружие, которым можно бороться с сыном Израиля. Он принимает их спокойно – и возвращает с процентами, когда приходит его время. Он по своему опыту, горькому и сладкому, знает, что все достается тому, кто умеет ждать – включая земли и дома его гонителей». Подобные же утонченные социологические выкладки Риис применяет к итальянцам, ирландцам, черным, цыганам, немцам – и прочим адресатам его христианской благотворительности. Интересно, насколько мое собственное неприязненное отношение к моему домовладельцу (о котором – позже) продиктовано знакомством с подобными изысканиям.

Всеобщее возмущение городскими трущобами нашло свое отражение не только в журналистике «разгребания грязи», но и в энергичных усилиях по созданию альтернативной жилищной модели самого визионерского толка. XIX век в Америке стал великой эпохой для «воображаемых сообществ». В избытке рождались такие утопические поселения, как Брук Фарм, Онейда и Нову. Больша́я их часть была религиозной по своей сути, но еще бо́льшая – вдохновлена радикальными светскими идеями Роберта Оуэна, Шарля Фурье и других. Их наследие стало также в значительной степени политической основой для архитекторов-модернистов, увлеченных смесью идей о всеобщем равноправии, псевдорелигиозными поисками праведной простоты и одновременно озабоченных вопросами здоровья и гигиены, вписанными в более традиционные подходы урбанистического реформизма. Зиждились все эти теории и инициативы на вере (ложной) в то, что внешние формальные усовершенствования способны преобразовать общественную жизнь. Более мрачная версия этой действенной веры нашла свое воплощение в исправительных учреждениях. В начале XIX века развернулась горячая дискуссия между обществами призрения заключенных Бостона и Филадельфии о том, какое обустройство камер и дневной распорядок с наибольшей вероятностью способны перековать заблудшие души их подневольных обитателей. Многочисленные тюрьмы оказались разделены в зависимости от приверженности к той или иной системе.

У Нью-Йорка длительные отношения с разными моделями планирования. Планирование и рост города – свидетельство непрекращающегося взаимодействия с меняющимися удачными примерами на каждом уровне, от отдельных зданий, парков и общественных пространств до инфраструктуры и всеобъемлющего взгляда на город в целом. Движение от «домов Старого закона» к «домам Нового закона», например, сопровождалось чередой архитектурных конкурсов и исследований, поддержанных такими благотворительными организациями, как Квартирная комиссия Ассоциации условий жизни бедняков, Общество этической культуры, Благотворительное общество. Их усилия, производимые параллельно с деятельностью аналогичных обществ в других городах Америки и Европы, подразумевали активное участие архитекторов и значительно расширили типологические возможности жилищного строительства, делая альтернативные варианты доступными для широкой публики. Они также сумели перевести разговор о реформах на должный уровень, объяснив, что улучшения жилищных условий можно добиться, лишь рассматривая более крупные земельные участки и

занимаясь конфигурацией целых городских блоков. Подобная взаимная связь морфологии и плотности стала константой при выработке городских форм.

Для того чтобы переварить экспоненциальный рост плотности населения (в наиболее густонаселенных блоках многоэтажек она составляет порой свыше полутора тысяч жителей на акр[15] – впечатляющая цифра!), современный город растет во всех направлениях. Этот рост мегаполиса по всем осям (включая подземное расширение: канализационные коллекторы, метрополитен и другие инфра – в буквально смысле слова[16] – структуры) разворачивался наверху и внизу. Очевидно, что для того, чтобы добиться устойчивости развития, и по социальным соображениям, человеческая мускульная сила как «средство передвижения» нуждается в оптимизации. Города, спроектированные для пешего передвижения, окажутся – в силу их доступных размеров – более компактными и ориентированными на соседей, а застройка в них – более смешанной. Чтобы быть доступными в пределах пешего хода, все пункты назначения, будь то школа, офис или магазин, должны быть «под рукой». Приемлемым временем ходьбы, покрывающей основные потребности, в такой культуре считается примерно десять минут, что соответствует (со средней скоростью три-четыре мили в час) шести-восьми небольшим блокам, или же трем-четырем большим. Используя такую длину как радиус, мы убедимся, что комфортабельная соседская зона – десять-пятнадцать нью-йоркских блоков.

Но не все блоки одинаковы. И хотя время на его прохождение считается одинаковым, разброс плотности застройки чрезвычайно велик. Одни блоки застроены высотками, а другие – в сущности пригороды с частными домами: тысячи жилых помещений против десятков. Принимая частное жилище за центр радиуса пешего хода, мы обнаружим, что для каждого жителя сама идея «у меня всё находится по соседству» может трактоваться весьма по-разному. Раз уж удобство – функция от расстояния, большие числа генерируют бизнесы и поддерживают разнообразие магазинов и прочих учреждений, образующих в совокупности что-то вроде полного набора услуг. Таким образом, закономерность распределения магазинов и бизнесов, как правило, отражает плотность заселения того места, где они расположены. Пригородный гипермаркет – естественный «побочный продукт» разреженного населения пригородов, – возникших, в свою очередь, исключительно благодаря транспортной монокультуре автомобилей. Промежуточное условие – «главная» или «центральная» улица маленького городка или поселка. В самой

густонаселенной части города магазины становятся вездесущими, занимая все первые этажи, так что химчистку, зеленную лавку, аптеку, винный магазин и ресторан порою можно встретить в двух соседних витринах или буквально в каждом блоке. Чувство соседского уюта и удобства – или домашности – также является, как утверждает Джейн Джейкобс, побочным продуктом размера блока, что дает Джейкобс возможность превозносить маленькие блоки, предлагающие больший выбор и разнообразие услуг.

Джейн Джейкобс, скончавшаяся в 2006 году в возрасте восьмидесяти девяти лет, – святой покровитель Гринвич-Виллидж, мыслитель и активист, сделавшая больше кого бы то ни было для пропаганды идей «хороших городских форм и моделей поведения», разомкнувших мертвую хватку модернизма в городском планировании. Опубликовав в 1961 году книгу «Смерть и жизнь больших американских городов», она не просто продемонстрировала ущербность, реакционность городского обновления – реновации – и его зарегулированной, антисоциальной архитектуры, но и предложила альтернативу, основанную на внимательном изучении наиболее успешных аспектов городов традиционных. В частности, ее аргументация поддерживалась (как и в нашей книге, находящейся в неизбежном диалоге с ее книгой) наблюдениями за жизнью вокруг ее собственной квартиры на Хадсон-стрит,[17] в шести блоках от «Аннабель Ли». Джейкобс чрезвычайно уважали в тех краях, потому что она выступала не просто как проницательный наблюдатель и теоретик, но и как гражданский активист, твердый и несгибаемый лидер борьбы по защите Виллидж от планов реновации и прокладки скоростных магистралей, отстаивавшихся ее легендарным противником, Робертом Мозесом.[18]

Хотя никакого краткого изложения не будет достаточно для того, чтобы описать всю глубину критики Джейкобс и разнообразие выработанных ею установок, основной ее тезис состоит в том, что городское соседское окружение (neighborhood), то есть квартал, необходимо для того, чтобы удовлетворять «потребность больших городов в чрезвычайно сложном и тесно переплетенном разнообразии способов использования среды, постоянно поддерживающих друг друга экономически и социально».[19] Работать с городом – значит иметь дело с организацией исключительной сложности, культивировать и консервировать экологическое богатство, неизбежно живущее собственной жизнью, – как успешно нарушая правила, так и следуя им. Для Джейкобс формы хорошего города возникают в результате симбиоза с практикой хорошей жизни, которую она определяла через такие понятия, как взаимовыручка,

самоуправление, добрососедство, разнообразие, домашность, удобство, удовлетворенность и безопасность.

Изначальной сценой той общественной жизни, что дала толчок рассуждениям Джейкобс, была улица – место и среда, про́клятые городскими планировщиками модернизма. Широко известно заявление Ле Корбюзье: «Мы должны убить улицу». Он и другие стремились отменить улицу в пользу единообразной матрицы зеленых насаждений, средь которых дома стоят в изолированных «сообществах» – каждое из которых строго отделено по назначению и населению и соединено с остальными шоссе, как на диаграмме, – целая огромная диаграмма, воплощенная в бетоне. Удрученная подобным патерналистским кошмаром, Джейкобс усматривала в живости, коммерции, тесных связях и возможностях выбора, предоставляемых улицей, повседневную агору, место демократического обмена. Все ее установки были нацелены на одно и подтверждены одним: тем, насколько успешно они способствовали выработке особой «экологии» – социальной, экономической, архитектурной, которую она находила в местах, подобных нью-йоркскому Виллидж, Норт-Энд в Бостоне и Бэк-оф-зе-Ярдс в Чикаго.

Как писатель и мыслитель, Джейкобс относилась к своей активистской деятельности с большой осторожностью и непредвзятостью. Требуя перемен, она не исключала возможности нового строительства, физического и социального, но выдвигала для него четыре необходимых (хоть и не обязательно достаточных) условия: городские районы должны иметь две и более основные функции, генерирующие, в идеале, активности с разным ритмом для дня и ночи; маленькие блоки; смешанная фактура домов, включающих в себя старые структуры; и, наконец, разумная плотность застройки (по меньшей мере сто жилых единиц на акр, покрывающих бо́льшую часть пригодной для строительства территории), чтобы все это заработало.

Подобно архитекторам и городским планировщикам, которых она так яростно критиковала, Джейкобс не отрицала ни значения функциональности зданий, ни необходимости точного ее определения. Несмотря на частые упреки в обратном (возникающие из поверхностного чтения ее работ), она отдавала должное художественным достоинствам качественных модернистских проектов. Она, скорее, расходилась с архитекторами в том, что касалось городского настоящего. Согласно одному подходу, плотная застройка южного Виллидж, состоящая из обветшалых, состарившихся домов, должна быть брезгливо уничтожена. Согласно другому – сохранена и использована как фон, как контейнер для богатого и живого

сообщества, удовлетворенного и исполненного радостью жизни. Мозес и «геометры», озирая архитектуру, которую они находили уродливой и неисправимой, рефлекторно отвергали и жизнь, ведущуюся в ней. Джейкобс, рассматривая сложные, самодостаточные переплетения процветающих общин, уверяла, что имеет смысл поддерживать организующие их пространства: они хорошо работают и о них стоит узнать побольше.

Большинство последующих сочинений Джейкобс касались экономики, и свою самую известную книгу она тоже рассматривала в этом ключе. «Смерть и жизнь…» сама по себе отмечена неотступным, пристальным «экономизмом», лишь подчеркивающим ее оригинальность. Поскольку Джейкобс не была архитектором и не имела архитектурных предубеждений касательно формы как признака подлинности, она рассматривала город скорее как среду обмена, нежели в качестве статичного артефакта. Она верила в то, что назвала золотым правилом: что город работает благодаря интенсификации взаимных связей. Ее теория выросла из отождествления здоровья мегаполиса с коммерцией – во всех смыслах этого слова. Ее вклад заключался в осмыслении пространства и сложившихся свойств системы как устойчивых и постоянно развивающихся транзакций и в рассмотрении урбанистики с точки зрения ее воздействия на жизнь.

Суть идей Джейкобс многократно перетолковывали вкривь и вкось, ее аргументы заимствовали для того, чтобы подкрепить свои собственные визуальные пристрастия. Поступать так в корне неверно. Например, ее борьба за необходимость сохранения старых зданий среди новых вовсе не была продиктована заботой о «живописности». Она рассматривала подобные здания как заповедники неодинаковости, точки сохранения возможности множественных путей развития и ценила их унылый вид не за упадочническое очарование, а за возможность сохранять невысокую арендную плату, дающую, в свою очередь, постоянную возможность использования, маргинального с точки зрения прибыли, и как естественный источник урбанистического разнообразия. Маленькие блоки – гаранты возможности выбора и смешения. Плотность населения – двигатель коммерции. Численность важна не сама по себе, но как единица измерения.

Идея смешанной и самодостаточной соседской общины, микрорайона, в котором удовлетворяются все потребности повседневной жизни, пала жертвой как жестких законодательных рамок зонирования, так и рационализирующей четкости высокого модернизма. Как политические и социальные единицы микрорайоны определяются размером и населением.

Модернистское планирование позаимствовало это базовое понимание городского порядка и почти обессмыслило его. «Микрорайоны» (термин, возникший в конце 1920-х годов) стали еще одним шагом в иерархии суперблоков, башен, скоростных магистралей и открытых пространств, из которых и составлен репертуар модернистской архитектуры. Все были заворожены абсолютными величинами, в том числе такими, как минимальные размеры комнат и свободных пространств на душу населения. Количество этих самых душ в микрорайоне принималось «на глазок» за пять-семь тысяч. Это служило основополагающей формулой при расчете необходимого количества школ, магазинов, спортивных площадок и т. д. Провал подобного планирования заключался не в стремлении стать всеобъемлющим или выровнять доступ к необходимым благам. Это была скорее попытка рационализировать выбор на основе однородного набора субъектов, закрепленный словарь возможностей, жесткое разделение назначений, – и сциентистская вера в технический анализ и организацию, которые в принципе исключают разнообразие, эксцентричность, бескомпромиссную красоту и возможность выбора. Словом – утопический кошмар.

Но сам посыл – «массы домов для масс людей, которые его лишены» – вдохновлял. И идея поддающегося вычислению социального развития, будь то идеализированный полис или же списочный состав районной школы, – сердцевина любой идеи микрорайона. Джейн Джейкобс исследовала взаимоотношения между населенностью, размерами, уровнем социализации и властью. Для нее проблема модернизма всегда заключалась в унифицированности и узости взгляда, а главное – в автократическом подходе, затруднявшем решение поставленных задач в большей степени, чем свободное соучастие. Негибкость нормированного микрорайона, как обычно говорят, рассыпается в куски при любом сдвиге его герметичных рамок. Реальное положение дел во множестве американских микрорайонов проявилось благодаря постановлению Верховного суда США 1954 года о десегрегации – вердикту, известному как «разделены – не значит равны».[20] Разделенные районные школы были порождением разделенных районов.

Вернемся к лестнице. Ограничение в пять этажей может показаться здравым только для людей с хорошим здоровьем. Такая лестница может быть утомительной для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, тяжело нагруженных или же для детей. Я сталкивался с тем, что преодоление лестницы может стать проблемой – всякий раз после

хирургических операций. После первой из них я был буквально обездвижен и неспособен покинуть квартиру примерно на месяц. Живи я один, это могло стать серьезной проблемой, хотя мои соседи рассыпа́лись в уверениях, что доставка – это одно из чудес Нью-Йорка: достаточно позвонить в местный китайский (или любой другой) ресторанчик, эту коммунальную кухню города, извращенную коллективистскую мечту об освобождении от кухонного рабства, чтобы посыльный взлетел по ступеням в неправдоподобно короткое время. Всего-то надо подняться и выйти в прихожую, чтобы нажать на кнопку домофона. Нет нужды даже в наличных: посыльные научились подтверждать оплату, решительно растирая бутерброд из кредитки и квитанции тупым концом ручки, пока на листке не проступят цифры но́мера кредитки. К сожалению, регулярные поломки нашей домовой телефонии частенько тормозили эту отлаженную систему.

Второй раз со мной случился множественный перелом. Мне пришлось носить огромный фибергласовый башмак и научиться разбираться в костылях. Прогулки вверх и вниз по лестнице стали занятием, которого следовало избегать елико возможно. Но примерно через неделю меня настолько обуял «синдром закрытой клетки», что я предпочел выйти на работу – для этого требовалось всего-то один раз в день спускаться по лестнице и один раз подниматься. Происходило это чрезвычайно медленно – и несколько раз чуть не оканчивалось катастрофой, когда я терял костылем ступень и был близок к кому, чтобы катиться кувырком до конца пролета. Я стал необыкновенно восприимчив к «играющим» ступенькам и перилам, к «черным пятнам» освещения, недостающим паркетинам и прочим изъянам пола, к скорости и силе удара автоматических доводчиков дверей – и к миллионам других мелочей городской жизни, проходящих обычно мимо внимания здорового человека.

Город – это затруднительная череда почти патологических «косяков» с точки зрения человека с ограниченными физическими возможностями. Даже для того, чтобы добраться до кабинета моего хирурга-ортопеда, следовало преодолеть небольшой лестничный пролет. Двери приходилось толкать изо всех сил, а развернуться в приемной и перед стойкой ассистентки было непросто даже здоровому человеку. Для посетителей же на креслах-колясках ассистентке приходилось буквально двигать мебель. Общественный транспорт – это был отдельный кошмар. Такое простое действие, как взобраться на бордюр, оборачивалось настоящим испытанием. С другой стороны, должен признать, что люди проявляли доброту и готовность помочь – хотя некоторые такси удирали, завидев мое медленное, шаткое приближение.

Под воздействием многолетних усилий групп борцов за права инвалидов, ведущихся под лозунгом «Без барьеров», ситуация понемногу улучшается, и предъявляемые законом рамочные строительные требования заметно продвинулись в этом смысле с тех пор, как в 1990 году был принят Закон об американцах с физическими ограничениями. Бордюрные камни со сточенными углами, входные пандусы, лифты в метро и разметка Брайля на полу – это и часть становящейся обязательной модернизации и часть основополагающего словаря будущего строительства. Возникает, однако, очевидное противоречие между идеей города, свободного от барьеров, и города, «заточенного» под быстрейшее перемещение человека с места на место. Последнее – предусматривающее, в частности, большое количество лестниц – делает невозможной в полной мере реализацию первого. Хотя работы над протезами-экзоскелетами и прочими устройствами, помогающими людям, испытывающим трудности при ходьбе, и наделяющими всех прочих сверхспособностями, идут полным ходом, в ближайшей перспективе их возможности весьма ограниченны. Но они поднимают приобретающий все бóльшее значение вопрос о том, когда же сможет окончательно рассосаться шов между нами и окружающей нас средой.

Город, любая точка которого равно доступна каждому горожанину, невозможен технологически, да никому и не нужен. Хотя бесчувственный утилитарный анализ расходов и доходов не подразумевает обращения к этическому императиву «общедоступности», следует ясно понимать, что посыл «преобрази мир» (make a difference) требует скорее разнообразия, нежели однородности, сколько бы мы ни говорили о «расширении возможностей». Да, каждое здание в Нью-Йорке должно быть «полностью доступным» – но на практике это часто требует совершенно исключительных мер. Если на боковой дорожке нет места для пандуса – его приходится выгрызать из пространства, занимаемого самим зданием, возможно – сокращая полезную площадь самих квартир и загромождая вид из окна на улицу. Если в лестничной клетке недостаточно места, чтобы встроить лифт, на каждом этаже приходится уничтожать сотню квадратных футов,[21] чтобы прорубить шахту лифта. А следует ли новый частный дом, строящийся для одной, полностью мобильной семьи, оборудовать лифтом для гипотетического инвалида?

Понятно, что дом оборудуется лифтом для обеспечения концепции «без барьеров», но проблема реализации концепции «города пешком» остается. Один путь ее решения – признать, что ни один город не в состоянии предложить «всеобщего доступа» по разным причинам, – от наличия частной собственности до

ограничений прохода в опасные места, вроде тоннелей метрополитена. Так что вопрос следует переформулировать. Доступность публичных мест, начиная от дорожки перед домом и тротуара и заканчивая всеми местами, предназначенными для общественных нужд, есть основополагающее правило и должна охраняться и расширяться. Но хотя в городе не должно быть «запретных зон», равенство не подразумевает одинаковость. Это значит, что некоторые люди будут испытывать трудности в некоторых местах.

Теоретики справедливости часто фокусируются на распределении и логике прав, тратя много сил на обсуждение различий между их индивидуальным и коллективным разнообразием. Коллективные права горожан были четко сформулированы французским философом Анри Лефевром (чье дело было продолжено такими его влиятельными последователями, как Дэвид Харви). Это право, понимаемое не просто как индивидуальный доступ к товарам, услугам и городским пространствам, но как право изменять свой город в соответствии с нашими глубинными желаниями, контролировать сам процесс урбанизации и способы, которыми город преобразует людей в своих жителей. Но даже в самом общем смысле хороший город по-прежнему должен предоставлять нечто вроде морфологического удовлетворения все расширяющейся группе индивидуальностей.

Движение в сторону всеобщего доступа должно идти в двух направлениях – как в физической области, так и социальной, причем как со стороны потребностей, так и со стороны предложения, хотя я не собираюсь утверждать, что рыночная модель сама по себе приведет к желаемому результату. Успехи медицины чрезвычайно расширят возможности людей наслаждаться свободой передвижения, основанной на их телесной автономии. Технологии обеспечат инновационные и адаптируемые средства передвижения по всем осям координат. Будет справедливо, если «право города» расширится на все большее и большее количество людей. Разумное законодательство в области городского планирования обеспечит повсеместное и логичное распределение жилья – и медицинской поддержки – для людей с особыми требованиями. Вполне удастся расширить физическое разнообразие, сложносоставленность и согласовать противоречия развивающегося города без сведе́ния этого к «мышечному чувству» доступа к единообразию пандусов, плоских полов и широких проемов. Доступ – прежде всего это вопрос преодоления множества барьеров, необязательно физических, барьеров цены и предрассудков,

сконцентрированных в городе.

Наши соседи с четвертого этажа – три женщины (в двух квартирах), всем им под семьдесят. Одна из них, Марго, родилась в этом доме и вернулась в него после того, как пожила в Париже и Каире в 1950-е. Она работает в прогрессистской благотворительной организации, принимает активное участие в местной политике – и действительно является тем самым «активным горожанином», каким я мечтал бы в идеале видеть каждого жителя Виллидж. Благодаря своей невысокой фиксированной квартплате, Марго сумела много лет назад купить местечко в сельской местности, куда она вместе со своим спутником уезжает отдыхать на выходные в потрепанном «универсале». Марго – наш местный «общественник», лучший, наиболее активный представитель жильцов в том, что касается повседневных нужд. Она олицетворяет собой электоральный аспект представительской демократии и, в равной степени, идею, что вклад в общее благополучие может быть разноплановым. Она встает на защиту наших прав горожан.

Нью-йоркское законодательство в области квартплаты вызывает возмущение у домовладельцев и горячо защищается жильцами. Глядя на Марго, я часто мечтаю о том, как было бы здорово, если бы удалось ввести меритократическую (основанную на личных заслугах) или же публичную систему поощрительных субсидий взамен системы пожизненного найма жилья. Марго могла бы «отрабатывать» свою низкую квартплату тем, что выполняет за всех нас гражданские обязанности. Этот аргумент едва ли встретит понимание у нашего домовладельца и вряд ли может быть принят муниципальными или федеральными бюрократами, распределяющими субсидии, старающимися сосредоточить свое внимание скорее на домовладельцах, чем на квартиросъемщиках (через щедрое налоговое послабление корпорациям, готовым остаться в городе) и скорее на домах, чем на людях (через ограничения, накладываемые на реконструкцию или снос исторической постройки). Доход все теснее и теснее увязан со стоимостью проживания здесь, гражданский активизм делается все проблематичнее для тех, чье время досуга ограничено – как необходимостью много работать, так и постоянным соблазном превратить «время досуга» во «время потребления». Это приводит к образованию двух типов активистов: тех, кто обладает свободным временем для работы над вещами, касающимися выборов, и тех, кто вынуждены включаться в борьбу, когда нависает угроза над их благополучием. Нужно много времени и денег, чтобы быть Брук Астор.[22]

Без людей, подобных Марго, отличающихся как стажем проживания, так и приверженностью идеям социального равенства, наш район никогда не стал бы таким, каков он есть. Нам повезло, что он стал родным домом для широкого круга социальных активистов, которые возводят баррикады, защищая оказавшиеся в опасности тенистые деревья, тихие улицы, исторические места, общедоступное образование, социальное разнообразие, разумную квартплату и тысячи других вещей, делающих наш район хорошим районом. Эта борьба, которая ведется как посредством прямого участия, так и через личный пример, и я не устаю восхищаться, глядя на соседей, ухаживающих за цветочками на пятачке с деревьями, или замечая самодельный плакат, призывающий собаковладельцев удерживать своих питомцев от орошения петунии.

Наш район, разумеется, меняется со временем. Но районы не похожи на поколения, эти застывшие когорты, марширующие вместе, набирая одинаковый опыт; их синхронизация более многогранна. Преемственность района зиждется на индивидуальной продолжительности жительства в нем каждого обитателя, на физической фактуре среды, на смеси людей и их действий, на разнообразных медиа, транслирующих определенные ценности. Между всеми этими элементами существует тонко подогнанная взаимосвязь, и люди в такой же степени ответственны за свой район, в какой район ответствен за них. Виллидж – это и магнит для богемы, и школа богемности, причем этот процесс сейчас подчеркивается сильным гей-присутствием. Виллидж – спокойное место для людей, ведущих спорный образ жизни. Некогда таковыми считались художники, а сейчас наше процветающее гей-сообщество делает район местом, известным как своей толерантностью, так и духом приключений.

Районы отличаются от гетто тем, что оставаться в них – право, а не обязанность. В правильном городе тебе должно быть легко двигаться вверх и вбок – и тебя должно быть трудно вытеснить. Разница принципиальна. В гетто могут поддерживаться сильные культурные традиции, глубокие чувства привязанности, длинные непрерывные цепочки связей и ощущение сопричастности. Но его жители – пленники. Определяясь «проходными местами», точками входа, витальность городов зависит от ясно очерченных выходов. Нижний Ист-Сайд долгие годы служил классическим входным порталом в Нью-Йорк, предлагая стартовую позицию для ирландцев, евреев, итальянцев, китайцев и афроамериканцев. С учетом того что эмиграция шла волнами, можно сказать, что это серийное гетто. Но когда любая из этих групп ассимилировалась в достаточной

степени, перед ней открывался более широкий набор возможностей двигаться дальше, в «мир», в этнический квартал (по добровольному выбору, а не по принуждению) или же в другие гетто.

В этих новых кварталах проблема порой переворачивается с ног на голову. Подобно белым пригородам, где страх вторжений посторонних вырастает до крайней степени, такие места часто зациклены на недопущении чужаков. Достаточно напомнить трагический эпизод, произошедший несколько лет назад, – когда группа подростков из населенного преимущественно итало-американцами Хоуард-Бич в Куинсе напала на пару черных ребят на том основании, что они «не с района». Более изысканные формы отвращения «неправильных» людей от мысли вселиться в данный район простираются от практики «красной черты»[23] и других видов избирательного доступа к кредитам и ипотеке до полного джентльменского набора тонких и не очень тонких намеков – модные лавки с дверьми, открывающимися изнутри лишь по звонку, привратники, тяжелые взгляды, отсутствие привычно выглядящих людей нацелены на одно: отметить нежелательных людей и исключить их появление. Эта проблема не исчезнет, пусть мы и бьемся за придание различиям положительного характера, сохраняя при этом непрерывность истории района и предохраняя город от превращения в единообразный ландшафт, задрапированный лживым «выбором» потребителей, в Диснейленд политиков, делающих карьеру на «идентичности».

Преемственность традиций места дает возможность развиться устным легендам, наиболее эффективному и демократичному пути передачи районной памяти. Хотя о Виллидж написаны десятки книг, большинство из них посвящено выдающимся жителям: более вероятно, что кому-то захочется почитать о Мейбл Додж[24] или Дилане Томасе, чем о Гасе, в чей старый ресторанчик за углом мы ходили чуть ли не каждую неделю, пока из-за роста арендной платы ему не пришлось съехать, или о тусовке, много лет процветавшей на другой стороне улицы, в тяжеловесном каменном доме, прозванном «Кремлем». Ужасно банально описывать район как собрание историй, но передача историй, глубокая заинтересованность каждого рассказчика и его личные варианты одного и того же сюжета – все это придает районам смысл и характер. Модернистский город часто критикуют именно за неспособность обеспечивать в достаточном количестве истории, производить достаточно уголков, обладающих памятью, за то, что вместо этого они полагаются на единственный «правильный» нарратив развития. Идентичные

здания, минимизированное стерильное пространство для общественных нужд и отчужденные отношения с соседями – вот природные враги успешного района, сколь бы скрупулезно он ни был распределен статистически на кварталы и микрорайоны. В подобных местах нарративы оказываются придуманы интеллектуальным усилием (или позаимствованы у телевидения), а общественная жизнь начинает играть второстепенное значение.

Марго – самый старый жилец нашего дома. Она унаследовала лавры барда-сказителя от нашей соседки Джейн, которая, хоть и скончалась несколько лет назад, очень много для нас значит. Воспоминания о ней, как и ее собственные воспоминания, по-прежнему живы и являются частью культуры «Аннабель Ли» – хотя бы просто потому, что больше половины жильцов провели здесь по меньшей мере двадцать лет и за это время успели впитать многое из сведений Джейн о месте и ее житейской мудрости. Мы с Джоан регулярно замечаем вокруг разные достопримечательности, на которые без Джейн не обратили бы внимания. Мы отдаем ей символическую дань, останавливаясь и любуясь каждой брошкой в виде бабочки (ее фирменный аксессуар), которая нам попадается, мы заключили молчаливое соглашение сохранять в неприкосновенности место на крыльце, где она сиживала летом: она ставила свой складной стульчик слева, мы ставим справа. Мы ухаживаем за «деревом Уилсона», цветущей грушей, высаженной Джейн в память о покойном муже.

Джейн и Марго – напоминание о том, что кварталу нужны свои сказители, а сказителям – свои слушатели. Сказительство – простейший обмен, производимый лицом к лицу, он исключительно важен для создания коллективной идентичности. Подобное прямое взаимодействие – фундамент нашей районной политики. Преобразование подхода «лицом к лицу» в принцип «от двери до двери» или же материализация его в брошюрках, передаваемых на улице из рук в руки, – ключевое звено в цепочке связей, формирующих основу гражданской жизни и очерчивающих размер нашей общины путем определения размеров территории, в которой мы заинтересованы, границ «дома». На практике эта гражданская активность важна как способ противостоять политикам, предпочитающим заходить с другой стороны, через полностью опосредованное взаимодействие. Местный же активизм может процветать лишь в местном пространстве.

Совершенно необходимо, чтобы в городе оставалось место для активистов и сказителей, «агентов сплочения», для непрерывающегося присутствия людей, подобных Марго и Джейн. Фиксированная арендная плата – самое простое, что мы можем

предложить в обмен на их дельфийские речения. Хорошие города – и хорошие общества – отмечены взаимоналожением таких понятий, как динамизм, толерантность, справедливость и смешение, а не постоянными вторжениями в городскую ткань скоростных магистралей и проектов «реновации», осуществляемых словно с чистого листа, или же вторжениями в социальную ткань, осуществляемыми посредством «облагораживания», джентрификации. Подобные градостроительные «ампутации», как и сама эта медицинская метафорика, решительно отвергались Джейн Джейкобс и другими. Во-первых, потому, что они разрушали сложившиеся местные сообщества, а во-вторых потому, что дома, появляющиеся на месте снесенных, не просто препятствовали восстановлению той жизни, что велась прежде на этом месте, но и не способствовали возникновению новых соседских отношений, наделенных тонкостью и сложностью тех, что были утрачены.

Но я забегаю вперед. Вернемся к самому началу. В нашей квартире особый воздушный колодец обеспечивает дневной свет и проветривание в спальне, в ванной и в двух небольших комнатах, которые мы используем как кабинеты. Поскольку мы обитаем на верхнем этаже, через окна видно немного неба, не говоря уж про невольную панораму на гостиную наших соседей, по другую строну двора-колодца. На нижних же этажах «Аннабель Ли» из окон доступен вид только на мрачные кирпичные стены в тусклом освещении. Из-за его безопасности воздушный колодец облюбовали голуби. Они собираются на наружных подоконниках, метят стены белым и назойливо воркуют по ночам, причем в брачный сезон их воркование становится настоящей какофонией. Одним из последних технических усовершенствований, привнесенных для нашей пользы домовладельцем, стала установка над двором-колодцем проволочной сетки, чтобы отвадить назойливых птиц. Конструкция эта давно прохудилась, но, похоже, успела изменить привычки наших голубей – они так и не вернулись.

Мне нравится жить на верхнем этаже. Вид из передних и задних окон так хорош, как он вообще может быть в «Аннабель Ли». На юг – перспектива тесно составленных крыш, упирающаяся в небо и, до 11 сентября, во Всемирный торговый центр. На север, из нашей спальни, почти точно посередине окна, возвышается Эмпайр-стейт-билдинг. Созерцая этот ствол, возвышающийся между моих ног, я размышляю о фаллоцентризме небоскребов, о маскулинности их структуры. Как емко сформулировал Луис Салливан:[25] «Перед тобой – мужик… настоящий мужик,

мужицкий мужик; мужественная сила… самец как он есть… памятник торговле, упорядоченному духу коммерции, мощи и прогрессу своего времени… мужик… он поет песнь созидающей мощи!» И точно.

После того как Гарри Хелмсли вложился в Эмпайр-стейт-билдинг, его жена, многажды поносимая, недавно скончавшаяся Леона,[26] объявила о запуске программы подсветки верхушки здания – практика, продолженная нынешними владельцами. На праздник Четвертого июля подсветка была красная, синяя и белая. На день Святого Патрика – зеленая. На Валентинов день – розовая. Во время гей-парада (в отсутствии солидарности со всеми горожанами Леону упрекнуть было трудно) – лавандово-фиолетовая. Для нас эта культурная метка несет и другие смыслы. Ровно в два часа ночи свет выключается, и мы или замечаем, что давно пора спать, или же, наоборот, отмечаем, что спать совсем не хочется. Освещенная вершина небоскреба дает нам также прекрасную возможность оценить облачность и туманность. Мы в двадцати семи блоках к югу от Эмпайр-стейт-билдинг, и, в зависимости от того, не видно ли здания вовсе, видно смутно или же оно четко проступает сквозь облака, можно прикинуть погоду на завтра.

Жизнь на верхнем этаже означает также, что нас не могут побеспокоить соседи сверху. В домах с деревянными перекрытиями, как наш, это существенное преимущество. Конечно, звук так же хорошо распространяется и снизу вверх (некоторое время назад нам отравлял жизнь шум репетирующей на втором этаже электрифицированной музыкальной группы, «прокачивавшей» воздушный колодец), но во всяком случае топот ног над нашей головой исключен. Менее защищены мы от запахов, проникающих снизу, но это в основном ароматы готовящихся кушаний (немой укор нашей собственной кухонной лени). Подъем вверх по лестнице становится чуть более проблематичным, потому что на втором этаже несет псиной, и уклониться от этого невозможно. Но в запахах заключена прустовская сила. Определенные сложносоставленные запахи в нью-йоркских зданиях переносят меня на пятьдесят лет назад в дедушкину квартиру в Бруклине – отбеливатель «Клорокс», каплун, камфора.

С шарканьем соседских ног нам тоже сталкиваться не приходится (помню, как я был ошарашен однажды поздно вечером воплем из-за двери на третьем этаже: «Поднимайте свои чертовы ноги!»): чем выше вы живете, тем меньше людей должно мимо вас пройти. Возможно, впрочем, что через нас передаются звуки, которых мы сами не замечаем. Однажды нас разбудил

звонок соседки снизу, которой досаждала громкая музыка. Мы заверили ее (хотя она явно осталась настроенной скептически), что шум идет откуда-то еще. Таковы загадочные свойства звукопередачи в здании с полыми деревянными полами, многочисленными каминными трубами и техническими шахтами.

Эта иерархия уменьшающегося вертикального «пассажиропотока» окажется перевернутой, если в здание проникать сверху. Таких мест немало, начиная от подземных зданий, известных в истории. Например, подземный город первохристиан недалеко от Гёреме, в Турции. В пуэбло каньона Чако, хотя здания там возвышаются над землей, основное сообщение шло через крыши, так что входящие в дом чаще пользовались приставными лестницами, чем ступенями. Гораздо позже возникла мода на отели на горных склонах с лобби на крышах, с которых постояльцы спускались в свои номера. Подобная перевернутость также наблюдается в высокогорных городах, где общепринятое пространство для перемещений жителей, то есть улицы, настолько круты, что они дают что-то вроде обратимости ориентации в пространстве: в зависимости от того, откуда ты идешь, в дом можно попасть сверху или снизу.

Тем не менее большинство городов структурировано под правильным углом, и вертикальное обращение в них затруднено силой тяжести. Двигаться в городе значит постоянно менять ось движения. В общем случае поперечное движение сосредоточено на одном-единственном уровне, наземном. Но в городах, подобных Нью-Йорку, имеется также эффективный второй уровень, подземная система, и метрополитен определяет второй круг обращения, расслоенный в горизонтальной плоскости. Но метрополитен всего лишь доставляет вас от точки к точке, так что этот нижний уровень дает лишь прерывистый опыт. Бóльшая свобода передвижения доступна только на наземном уровне, предоставляющем нам постоянную возможность выбора вариантов маршрута.

В городах более или менее единой высоты – каковыми стали практически все города к концу XIX века и каковыми остается в целом большинство современных городов – существует еще один потенциальный уровень передвижения – уровень крыш. Но пока крыши продолжают служить покрытием, навершием, защитой – их коммуникативный потенциал остается закрыт этой защитной функцией. Поскольку движение людского потока в многоэтажном здании принципиально идет только в одном направлении, снизу вверх, условия на крыше неизменно отличны от условий внизу. Перемещение с крыши на крышу – это удел Фантомаса, домушников-форточников и улепетывающих грабителей. Или же любовников, наделенных достаточными акробатическими талантами, чтобы перепрыгивать с крыши на крышу.

В некоторых американских городах, в том числе в Хьюстоне и Миннеаполисе, чрезвычайно развита так называемая «система небесных путей» – сеть, которую ее энтузиасты прямо называют «улицами в небе», хотя на самом деле она представляет собой паутину переходов, связывающих на уровне второго этажа офисные здания в даунтауне. Разновидность такой сети, только под землей, была проложена в Монреале, в нью-йоркском Рокфеллер-центре и во Всемирном торговом центре. Наиболее развиты подобные вещи в Японии, где они образуют лабиринтообразные сети метро и железных дорог, структурирующих такие города, как Токио и Осака. В отличие от американских «улиц в небе», которые пустуют и часто закрываются в конце рабочего дня, японские сети активны постоянно.

Мотивы для создания этих систем могут быть различны. Хьюстон и Миннеаполис страдают от сезонной непогоды, и их разветвленные сети позволяют клеркам и покупателям перемещаться по городу, не испытывая воздействия чрезмерного холода или жары. «Небесные пути» также продвигаются как решение «проблемы улиц» – то есть их общедоступности. В 1960-е годы городские улицы прочно ассоциировались с уличной преступностью и рассматривались как естественная среда обитания отверженной части городского населения – бедняков, людей с неправильным цветом кожи, бомжей, людей, не обладающих покупательскими способностями, – словом, тех, кто не встроился в корпоративный порядок, породивший новые деловые центры-даунтауны больших американских городов. Но, как неоднократно отмечалось, эти надземные переходы лишили улицы жизни, поэтому некоторые американские города демонтируют их.

Вообще-то идея о параллельной системе передвижения для

привилегированного сословия довольно стара. Медичи возвели в ренессансной Флоренции знаменитый коридор Вазари как обособленный «небесный путь», позволяющий им переходить из Уфицци в великокняжеские чертоги по другую сторону реки Арно, не снисходя и не смешиваясь с простолюдинами. Парижские пассажи XIX века, так восхищавшие Вальтера Беньямина, были не чем иным, как частными торговыми галереями, спроектированными для того, чтобы значимые персоны могли предаваться потребительским удовольствиям без необходимости смешаться с простыми смертными. Подобные места – точки притяжения как для «небесных путей», так и для торговых моллов, которые поглощают и приватизируют уличное пространство. Несмотря на морфологическое, а порой и функциональное сходство, они весьма отличны от заманчивого, почти что внутреннего пространства таких мест, как большие базары марокканского Феса и Стамбула или же узкие затененные улицы Севильи. Там первичная наземная сеть резко интенсифицирована торговлей и укрыта от нежелательных элементов, но остается вплетенной в окружающую городскую ткань.

«Контролируемая окружающая среда» – еще одна великая навязчивая идея модернизма. Одна из причин экологического кризиса, так нас сейчас беспокоящего, – парадигма, в которой предусматривается обособление здания не только от социального, но и от физического окружения. Невообразимые потоки энергии тратятся на то, чтобы механически поддерживать в зданиях, а также воздушных переходах, торговых моллах и купольных стадионах ровную температуру в течение всего года. Глупость состоит не только в глухой изоляции от естественных проявлений природы, которым и положено порой быть неблагоприятными, но и в более широком допущении, что централизованное управление (воздухом или населением) можно распространять беспредельно. Не исключено, что как раз такого рода гордыня и подтолкнула Гею к радикальному решению.[27]

В сущности, здесь замешан идеологический, а не технологический фактор. Просвещение заигрывало с «естественным состоянием», с той воображаемой исходной точкой всякого общества, отталкиваясь от которой человечество движется по пути прогресса к идеальным общественным отношениям в будущем. Кто-то, как Томас Гоббс, смотрел на это состояние с пессимизмом, представляя себе «войну всех против всех», когда жизнь человека «беспросветна, тупа и кратковременна».[28] Другие, подобно Жан-Жаку Руссо, воображали райскую жизнь в простоте, изобилии и согласии.

Гоббс и Руссо стали основоположниками противоположных политических традиций, но каждый из них выработал философию управления человеческими отношениями через все расширяющийся контроль окружающей среды.

Хотя Руссо – более очевидный источник модернистской зацикленности на восстановлении Эдема, Гоббс выступает в данном случае как его действующее исподволь подсознание, как железный контроль, скрытый за райскими кущами. Архитектура воплощает эти противоположности разными путями, распространяя свое влияние через впечатляющие формальные прототипы. Например, Хрустальный дворец, спроектированный Джозефом Пакстоном для Всемирной выставки 1851 года в Лондоне, – это гигантская, размером с торговый молл, структура, целиком выполненная из стекла и железа, в сущности гипертрофированная теплица, созданная для демонстрации достижений мировой промышленности. Историческое значение имела как величина закрытого, контролируемого пространства, так и его прозрачность. Прозрачная мембрана позволяла считать Хрустальный дворец зримым продолжением природы и одновременно давала возможность отгородиться от ее превратностей. В числе его наследников такие причудливые проекты, как идея Бакминстера Фуллера накрыть Средний Манхэттен куполом с контролируемым климатом, и менее известный проект «Город-лайнер» 1956 года французского архитектора Владимира Гордеева (Wladimir Gordeeff) – просторный обитаемый молл с кондиционированным воздухом, позволяющий белым колонизаторам с комфортом жить в Сахаре – хотя подобные торговые моллы, аэропорты и атриумы распространены сейчас повсеместно.

«Небесные пути» – это наследие еще одной фантазии о повсеместном контроле, возникшей в конце XIX века на волне широкого обсуждения того, каким надлежит быть современному городу. Вдохновляясь появлением небоскребов и продвинутых технологий движения, таких, как поезда, автомобили, лифты и самолеты, архитекторы и прочие визионеры пришли к картинам, в которых отразились их совокупные представления о «городе будущего», хотя у каждого конкретного автора эти представления разнились в интервале от оптимистических архитектурных утопий до мрачных, высокобюджетных голливудских дистопий (противопоставление, которое многим покажется бессмысленным). На практическом уровне эти идеи легли в основу большинства проектов регулирования движущихся потоков.

Картинка, складывающаяся из нового многообразия систем

движения и резкого увеличения числа скоростных аппаратов, подразумевала, что каждое средство передвижения действует на собственном горизонтальном уровне. Города представлялись слоистыми, так, чтобы каждый уровень лежал над или под другими. Метро располагалось под землей, пешеходы – еще выше, над ними – поезда на эстакадах, над теми проносятся вертолеты и автожиры, а над крышами парят самолеты и дирижабли. Городские слои соединяются лифтами, снующими вверх и вниз по башням, являющимся неотъемлемым элементом дивного нового города.

Логика подобной системы опиралась на убеждение, что различные виды движения пребывают между собой в постоянном конфликте, а задача планирования в том и состоит, чтобы резко сократить и зарегулировать возможность встречи пешехода, автомобиля и поезда. Это не просто гарантировало безопасность меньшего и менее энерговооруженного участника «конфликта», но и, при условии создания эксклюзивного пространства, позволяло каждому из них двигаться без помех. В целом такая схема не просто соответствовала парадигме эффективного движения, но придавала зонированию вертикальную логику, создавая город, стратифицированный по использованию и обладающий правильным доступом, город, который, казалось, мог доставить все и всех в нужное место во всех четырех измерениях.

Вторжение лифта перевернуло построение иерархий по вертикальной оси. В XIX веке верхние этажи – пятый, шестой – отводились для слуг (а также художников или студентов), ютившихся в каморках под крышей и вынужденных карабкаться вверх и вниз. Лифт не просто выровнял этажи с точки зрения удобства; произошел сдвиг в представлении о привилегиях, поворот от кинестетической к «телескопической» точке зрения, приоритет сместился от минимализации прикладываемого мышечного усилия к максимизации доступного обзора. Желанными стали панорамы и «командные высоты» – комбинация, замешанная на милитаризме, теологии, страсти к приватности и престиже. В городах, подобных Нью-Йорку, лучшее место для жизни в высоком здании – это пентхаус,[29] сочетающий удовольствия панорам с идеей частного дома на своей земле. Пентхаусы переопределили отношения жилища и участка, под это жилище отводимого, открывая в этом участке второй уровень. Контуры застраиваемого участка, «задавленного» близлежащими зданиями, снова стали пригодными для застройки.

Город может быть задуман иначе – скорее в духе пуэблос

каньона Чако. Если представить себе город с двумя основными уровнями – на крышах зданий и у их подножья, то окажется, что он выглядит совсем по-другому. Стоя на нашей крыше в Виллидже, я могу окинуть взглядом множество других крыш. Солнечным летним днем я часто наблюдаю людей, принимающих солнечные ванны прямо на том, что любовно называют «битумными пляжами», потому что большинство крыш вокруг «Аннабель Ли» (как и сама «Аннабель Ли») покрыты рулонами бумаги, пропитанной битумом, разогретой горелками и потом приглаженной специальными швабрами. Подобный метод «напластования» крыш недорог, весьма эффективен, но непрочен и чрезвычайно примитивен. Он подразумевает, что крыши большинства наших домов – это неприметное, невидимое пространство, простая защитная мембрана.

Но крыша невидима лишь потому, что мы привыкли смотреть на нее с улицы. Если бы кто-то облетел город на небольшой высоте, крыши оказались бы для него передней линией урбанистики. Именно это происходит, когда мы открываем для себя побочный способ смотреть на город, с вертолета или со спутника-шпиона, – возможность, приведшая в Лос-Анджелесе (и других местах) к тому, что на крышах стали рисовать огромные номера домов, чтобы облегчить работу полиции и координировать стратегию поиска и поимки преступников. Поль Вирильо утверждал, что вид сверху переконфигурировал саму эпистемологию пространства, превратил мир в мишень.

Но подумайте вместо этого о крышах как о парках – о том, что площадь, занятая домами, просто перенесена вверх. Подумайте о законодательстве, которое обязывало бы на сто процентов компенсировать застроенную территорию Нью-Йорка зелеными насаждениями. Сто процентов – это не просто озеленение крыш; потребуется также компенсировать площадь, занятую инфраструктурой – магистралями, железнодорожными путями и прочими площадями, которые озеленить невозможно. Возможно, требование удастся удовлетворить за счет сужения дорог, разбивки висячих садов или зеленых этажей в домах (наподобие технических этажей, которые есть почти во всех зданиях). Возможно, мог бы существовать рынок «зеленых прав» (как сейчас существует торговля квотами на сточные воды) или начали бы строить башни, специально предназначенные для обеспечения многофункционального зеленого пространства.

Если потом подобные воздушные парковые территории соединить мостами или более протяженными строительными формами, возникнет новая форма публичного пространства. Взаимоотношения верха и низа окажутся скорректированы. Утром

жительница подобного дома может отправиться по лестнице вверх, на второй уровень. Приятная прогулка по «верхнему парку» приведет ее на рабочее место или в квартиру друзей, где она снова войдет в здание и спустится вниз. Во время обеденного перерыва она может поступить в обратной последовательности: спуститься вниз на улицу и потом подняться наверх. Излишне говорить, что подобные фантазии требуют решительного переосмысления структуры собственности и самого характера вертикальных связей.

Хотя подобного двухуровневого города не существует, уже набралось достаточно картинок, чтобы представить себе, как он должен выглядеть. В ходе Второй мировой войны крупные промышленные объекты были закамуфлированы весьма правдоподобными вторыми уровнями на крышах. Делалось это для того, чтобы два уровня – пол цеха и его крыша – слились в один и летчик, прилетающий бомбить завод, принял сверху цех за продолжение окружающего ландшафта. Сады на крыше были также весьма популярны и у архитекторов-модернистов в межвоенный период. Прекрасный пример такого зеленого пространства на крыше – два самых низких здания Рокфеллер-центра. Правда, о них мало кто знает и мало кто имеет туда доступ, потому что это охраняемая частная территория.

Помимо возможностей передвижения второго уровня (где нас могут подстерегать те же риски, с которыми мы уже сталкиваемся на улицах), существует и множество других резонов озеленять крыши. Многие из них красноречиво защищал Корб.[30] Безусловно, такие сады могут быть прекрасны. В городе башен их может оказаться довольно много, и они могут предоставить зоны отдыха для жителей домов, над которыми они и разбиты. Еще они могут оказать благоприятный эффект для решения так называемой проблемы «городского теплого острова». Тепловые снимки, полученные с воздуха, показали, что над городом температура может быть на пять градусов по Фаренгейту (9 °C) выше, чем в пригородах. Причина – бесконечное излучение кирпичей и асфальта, которые собирают, поглощают и отдают тепло, не говоря уж про тепловые выбросы встроенных духовок, кондиционеров и других адских порождений топливосжигающей экономики. С помощью зеленых крыш (а также затенения улиц и расширения парковых территорий) мы можем обуздать термическое бесчинство городов и сократить свое участие в глобальном потеплении. Емкость того, что Олмстед называл «зелеными легкими» города, должна быть существенно расширена.

Собирая и аккумулируя дождевую воду, зеленые крыши могут

также исключить основной источник загрязнения и истощения подземных вод. Водоносные горизонты подпитываются дождевой водой, проникающей в почву. Поскольку наши города выстроены по большей части из водонепроницаемых материалов, у воды мало шансов добраться до почвы. Ныне применяемый метод преодоления этой непроницаемости – собирать сточные воды в коллекторы и сбрасывать их, часто через водоочистительные станции, в реки и специальные искусственные пруды. Но перегонять дождевую воду в реки – значит просто терять ее. Напротив, собирать ее на втором уровне или где-то еще – значит запасать ее и предохранять здания от затопления, что вполне актуально в таких городах, как Новый Орлеан и Мехико, выстроенных на осушенных территориях. Городской сток – это также весьма действенный сборщик разных токсичных загрязнителей с улицы. Вода, стекающая после ливня с улиц в городскую дренажную систему, увеличивает уровень загрязнения далеко вниз по течению реки, куда она сбрасывается. Зеленые крыши, работая заодно с местной дренажной системой, могут как сократить это загрязнение, так и послужить источником воды для деревьев, зелени и даже для нас самих. Уже существуют отличные органические технологии, подгоняемые под размер района, блока или здания, способные очищать собранную (или даже сточную) воду, которую потом можно использовать для душа, смыва или орошения.

Одно из общих мест, касающихся жизни в больших городах, – будто люди живут настолько разобщено и отчужденно, что даже не в состоянии узнавать своих соседей. В нашем доме мы знаем, кто живет во всех одиннадцати квартирах. Мы добросердечны со всеми, дружим с некоторыми и кое-что знаем о каждом. С большинством у нас мало общего, кроме места жительства, так что нас мало что объединяет, кроме обычной вежливости и борьбы с домовладельцем.

Пока Джейн была жива, наши соседи со второго этажа часто предлагали ей обед или свежий кофе, и они разработали для нее целую систему сигналов, включающую засунутую в перила лестницы газету, с помощью которых давали знать, что еда готова и можно забирать тарелки. В настоящее время особые отношения сложились у двух собаковладельцев – род социальной сети, включающей в себя регулярную болтовню на собачьей площадке на Вашингтон-сквер и весь комплекс межвидовых коммуникаций, имеющих место по пути туда и оттуда. Несколько гей-пар в нашем здании обмениваются политическими и общественными новостями. Жильцы с фиксированной арендной платой связаны

как сроком найма, так и другими жизненными обстоятельствами. Старейшие – в обоих смыслах – жильцы тянутся друг к другу благодаря длительности знакомства.

Спускаясь по ступенькам, я подмечаю, что происходит вокруг: у кого-то работают маляры, у кого-то новый кондиционер или стереосистема, у кого-то вечеринка или перебранка. Но отличительная черта добрососедского поведения – уважать право на частную жизнь. Даже сплетни выступают в роли фильтра, избавляя от необходимости прямого столкновения, смягчая непрошенную осведомленность, но, поскольку они все-таки основаны на правдивых сведениях, то позволяют осуществлять неформальный обмен взаимными претензиями. Недавно съехавший фотограф жил напротив нас на лестничной площадке с тех самых пор, как мы сами въехали в этот дом. И хотя все это время наши отношения оставались вполне дружелюбными, ни мы не были у него в гостях, ни он у нас – мы только стояли перед дверьми друг друга. Вообще-то мы мало в чьих соседских квартирах были, и еще меньше кто из соседей был у нас.

Отчасти это происходит оттого, что мы сами невероятно социальны и предпочитаем веселиться в городе, а не дома. И большинство наших соседей, хотя многие из них очень милы, не те люди, с которыми мы сами согласились бы жить вместе. Что у нас есть общего, так это сам дом и – как его расширение – квартал. Это и определяет главную арену пересечения наших общественных интересов. Мы дружно браним домовладельцев (которые со своей стороны в долгу не остаются), и, таким образом, наше взаимодействие в основном вертится вокруг коммунальных служб и ремонтов, вокруг того, что надо бы наконец устроить «забастовку» по поводу квартплаты, и вокруг самиздатовских листков, ехидно обличающих неуступчивость собственников недвижимости.

Еще нас объединяет привязанность к району, к его характерной физиономии, образу жизни и прямо-таки советскому чувству коллективизма. Не будет преувеличением сказать, что все мы съехались в Виллидж по собственному выбору (пожалуй, кроме Марго Вдомерожденной), хотя, пожалуй, кое-кто из самых старых жильцов, пользующихся фиксированной арендной ставкой, не совсем свободны в своем желании оставаться здесь. В какой-то степени к нам это тоже относится. Наша квартплата защищена «законом о стабилизации квартплаты». Когда мы въехали сюда, она соответствовала среднерыночной, но ее рост в последующие годы оставался в рамках, устанавливаемых каждые два года муниципальной комиссией, на слушаниях которой представители жильцов и домовладельцев сходятся лицом к лицу.

Так что, хотя нашу квартплату нельзя назвать низкой, она ниже, чем могла бы быть, если бы определялась исключительно рыночными механизмами.

Законы стабилизации и контроля арендной платы производят еще один важный эффект. Поскольку мы и наши соседи привязаны к дому экономически, мы чувствуем определенную социальную стабильность. С точки зрения местной политики и психологии вовлеченности это в высшей степени избирательное вложение приводит к положительному результату, укрепляя нашу заинтересованность как в доме, так и в квартале. А длительность присутствия произвела еще один эффект: мы все стали лучше осведомлены как об исторический перспективе, так и о самом месте нашего обитания. Стабильность ведет к повышению и упрочению чувства сопричастности, росту лояльности, цементирует общность.

Обстоятельства, благодаря которым мы въехали в этот дом, сделались (в первую очередь усилиями Джоан) самой популярной частью мифологии нашего брака. Мы перебивались временными вариантами и уже какое-то время искали постоянное решение. Я сосредоточил свои чаяния на гигантском лофте на береговой линии Бруклина – в районе, который сейчас очень моден, а тогда считался на отшибе. Пространство было абсолютно «сырым»: ни пола, ни водопровода, ни отопления – ничего, оно находилось далеко от маршрутов общественного транспорта, даже от магазинов. Однажды, когда мы пришли осмотреться, на первый этаж как раз вломились вооруженные грабители. Что тут прикажешь делать? Помещение было огромным, из него открывались панорамные виды на Манхэттен и Ист-Ривер. Но тогда у нас не было денег на перестройку, мои собственные строительские навыки были весьма ограниченны, к тому же неудобство расположения и пугающая бесконечность ремонта – все это ложилось тяжкой ношей на чашу весов моих неутешительных расчетов.

К счастью, меня уже почти удалось отговорить, и тут Джоан повезло наткнуться на объявление о квартире в «Аннабель Ли» – и она не мешкала. Свежеокрашенная квартира на верхнем этаже прекрасно расположенного дома приятно поразила нас, и я, не без сожаления, отказался от своих архитекторских амбиций довести до ума лофт «со свободной планировкой» – и мы подписали контракт. Мы никогда всерьез не задумывались о покупке собственной квартиры, хотя это оказалось бы разумнее. Денег у нас не было, и к тому же я, дитя шестидесятых, разделявший убеждение Прудона, что «собственность – это кража», просто (и как оказалось – глупо) не испытывал особого

желания становиться собственником. Квартплата в Нью-Йорке казалась относительно невысокой, я привык часто переезжать, и домовладельцы бывали лучше, бывали хуже, но не оказывались невыносимы.

За время, проведенное в «Аннабель Ли», мы многое узнали о социологии отношений с собственниками. С одной стороны, нам очень не нравится делать в нашей квартире дорогостоящие улучшения (мы без конца спорим о серьезном ремонте в ванной), потому что получается, что мы «дарим» их домовладельцу. Кроме того, мы (особенно я) лелеем все более и более необоснованную надежду, что скоро разбогатеем и переедем. С другой стороны, мы очень привязаны к нашему дому, соседям, району и его гражданской жизни. Вопреки широко распространенной республиканской риторике, мы собственники без собственности. Наши гражданственные и хозяйственные чувства возникают не вследствие владения собственностью, а вследствие привязанности, взаимодействия и социальной обратной связи. Защита со стороны городского законодательства о регулировании квартплаты помогает закрепить наше чувство коллективного на правительственном уровне – и укрепить ощущение, что идеи равенства по-прежнему определяют политику.

Бум недвижимости в последние годы лишь придал рельефности усиливающемуся пространственному расслоению города, так же, как непристойный разрыв в уровне доходов привел к тому, что все большее и большее богатство сосредотачивается в руках все меньшего и меньшего числа людей. Манхэттен стал огороженным сообществом, мягким белым центром города, все в большей и большей степени «сбрасывающего» проявления разнообразия на окраины. Это поднимает вопросы о том, в какой степени следует поддерживать доступность жилья и как оно должно быть распределено. При всем уважении к свободному рынку, у нас наличествует долгая национальная история субсидирования жилья, будь то уменьшение налогооблагаемой базы на сумму выплачиваемой ипотеки, прямые субсидии (Джейн Джейкобс предлагала обновить их), ваучеры на возведение общедоступных домов или же регулирование квартплаты. Политические резоны и риторические фигуры могут меняться, но необходимость вмешательства остается неизменной.

Нынешняя городская политика – переход от общей системы контроля за квартплатой и возведения социального жилья к модели «общественно-частного партнерства», в рамках которой государственные субсидии направляются прямо домовладельцам и застройщикам, в обмен на добровольное предоставление

доступного жилья. Позднее подобная политика получила название «инклюзивное зонирование» и стала осуществляться путем предоставления застройщикам возможности увеличивать площадь домов по сравнению с обычными нормативами в обмен на создание в ней определенного числа «доступных» квартир. На данный момент эта политика проводится с переменным успехом. Новые квартиры возведены, и их количество внушительно на фоне числа доступных квартир, выключенных из рынка. И несмотря на очевидные преимущества проектов домов со смешанным доходом, на практике многие из них спроектированы так, что оказались разделены на гетто, – доступные (и низшие по качеству) дома отделены от домов классом выше. Как и в случае с другими формами субсидий, основанных на неких бонусах, меняя одни блага, считающиеся исключительно важными – в данном случае, контроль над габаритами дома и доступ к свету и воздуху, – на другие, доступные квартиры, город разрушает собственную основополагающую парадигму хорошей городской формы.

Защищающий преемственность контроль за квартплатой – это своего рода социальный аналог охраны памятников. Из всех тем, постоянно возникающих на местном уровне, сохранение физической ткани нашего квартала является, вероятно, самой обсуждаемой. И тому есть много причин. Во-первых, городская ткань Виллидж ни на что не похожа и красива. Плотность вычурных улиц и исторических зданий здесь уникальна для Америки. Во-вторых, под видом сохранения исторической среды в Нью-Йорке (как под видом охраны окружающей среды – по всей стране) стали обсуждаться другие животрепещущие политические вопросы: кто должен отвечать за городское планирование? Чьи интересы должны при этом обслуживаться? Хотя Виллидж с лихвою наделен местными историками, которые могут рассказать о происхождении каждого кирпича, углового камня кладки, булыжника брусчатки, есть такое чувство, что сама ткань Виллидж – это не просто произведение искусства, а паутина культур и людских нитей, которые ценны сами по себе.

В настоящий момент самая ожесточенная борьба ведется вокруг нашей местной береговой линии, особенно вокруг нескольких чувствительных мест. Им грозит застройка огромными сооружениями, которые с точки зрения сообщества архитектурного надзора являются «нехарактерными». Первая ласточка – три смотрящих на Гудзон и горячо ненавидимых 14-этажных квартирных дома, все три спроектированы Ричардом Мейером в его обычной элегантной кристаллической манере.[31] Они сочтены неподобающими, потому что своими большими

размерами выбиваются из существующей застройки квартала, потому что их модернистская стилистика «сталь и стекло» неуместна на фоне остальных домов и потому что они нарушают равновесие прибрежной застройки, преобразуя живописное разнообразие нерегулярных, мелких ритмов во что-то вроде Риверсайд, Лейк-Шор-Драйв или Копакабаны[32] и подчиняя расположенный за ними квартал собственной логике.

Хотя об этом не говорится открыто (и это не всплывает на публичных слушаниях, призванных определить судьбу нашей набережной), существует сильное подспудное ощущение, что эти дома также расходятся с идеей Виллидж как чего-то вольнодумного, разнообразного, передового, как бастиона, стоящего на пути безжалостных «трендов» и «модности», вцепившихся в Нью-Йорк (и, все в большей и большей степени, в сам Виллидж) мертвой хваткой. Это тем более справедливо, что в мейеровы дома ринулись орды мировых знаменитостей, включая Марту Стюарт и Хизер Миллз, заселявшихся за бешеные деньги – благодаря чему цены на все остальное, от недвижимости до йогуртов, также взлетели в стратосферу.

Мейеровы многоэтажки и несколько соседних зданий (включая потешное, раздутое, гладко обструганное палаццо Чупи, возведенное художником Джулианом Шнабелем и населенное целым выводком сменяющих друг дружку звезд, многие из которых перепродавали свои квартиры за миллионы после краткого пребывания) ставят ребром вопрос охраны исторического наследия: одни ли физические объекты заслуживают внимания? В самом начале, отсчитываемом с проигранной в 1960-е годы борьбы за сохранение Пенн-Стейшн, такой упор на физическом здании был оправдан. Пенсильванский вокзал был существенным элементом наследия нашей гражданской архитектуры, огромным величественным зданием, разрушенным ради ужасной новой станции, ужасного офисного здания и ужасной спортивной арены – все лишь ради того, чтобы извлечь из этого места больше прибыли.

Но это событие взбудоражило всех и привело, во-первых, к дальнейшей разработке законодательства, касающегося зданий – «памятников истории и архитектуры» (landmarks), а во-вторых – к тому, что под защиту оказались взяты тысячи сооружений по всему городу, как по отдельности, так и в составе определенных районов, таких как Сохо, Дамская миля (Ladies' Mile) и большая часть Виллидж, получивших статус исторических. Институциализация самого понятия «памятник истории» оказалась также настоящей поворотной точкой для Нью-Йорка: он обрел статус города исторического, а не просто набора клеточек

для ничем не ограниченных бесконечных трансформаций. Появление памятников истории знаменовало собой эпистемологический прорыв, выход за границы беспримесной алчности, столь умиляющей тех, кто пишет о Нью-Йорке, восхищаясь чистотой выведенного Шумпетером «творческого» или «креативного» разрушения: роскошные дворцы баронов преступного мира обращались в строительную пыль, уступая место просторным апартаментам скромных миллионеров. Город, подобно акуле, должен был двигаться или умереть.

Результаты оказались смешанными. «Охрана памятников» оказалась негибким инструментом, потому что отождествляла город с застывшими формами, а не с происходящими в нем процессами. Конечно, охранное законодательство признавало непреходящую ценность достижений городской архитектуры, их уникальность и незаменимость. За века развития Нью-Йорк породил ряд выдающихся архитектурных форм, достигших настоящего совершенства. Подобно площадям георгианского Лондона, каналам Венеции и бульварам Парижа, ряды домов из коричневого кирпича восьмисотых годов на Манхэттене и в Бруклине, ступенчатые небоскребы 1930-х и глыбы квартирных домов, возвышающихся вокруг Центрального парка и вдоль Гудзона, – это наши естественные достижения, результат уникального процесса развития, несущего отпечаток особого социального, исторического, культурного и творческого характера Нью-Йорка. Город не может быть подобен дереву, вопреки знаменитому утверждению Кристофера Александера, его скорее можно уподобить лесу, проходящему разные стадии развития и самоорганизации.

В качестве основных городских элементов эти наивысшие формы достигли пика собственной утонченности. Их изобретение и признание их важности положило начало череде соглашений, негласно заключенных между городом и горожанами. Эти формы прямо-таки ощетинились подлинностью – можно сказать, «аборигенностью» – и, в свою очередь, создают идентичность города, задуманного некогда в качестве интеграла города как такового. Это объекты такой концептуальной мощи, что они создают нового ньюйоркца. Подобно сказаниям Джейн и Марго, эти здания эпичны, они сохраняют и передают общие ценности. Разумеется, в прогрессе тоже случаются тупиковые ветви; и доведенные до абсолюта трущобы, и тюрьмы следует сохранять в назидание, из любопытства или же адаптировать. И особняк Фрика, и безвестная трущоба в Нижнем Ист-Сайде – оба сейчас музеи.[33]

В той мере, в какой охрана памятников брала на себя задачу

представлять идею всеобщего блага и защищать особые права, она прекрасно вписывалась в политическую культуру города, основанную на духе соперничества. Нью-Йорк без конца переопределяет соотношение частных прав и общественных интересов, так что история города представляет собой, среди прочего, бесконечные поиски равновесия между одним и другим. Порою (а яснее всего, вероятно, это выражалось во времена Роберта Мозеса, с его грандиозными планами «общественных» работ) инициатива находилась в руках институций, номинально являющихся общественными. Чаще, однако, предпочитаемой моделью оставалось laissez-faire, т. е. политика невмешательства, когда муниципалитет доверял памятники, находящиеся под разными видами охраны, благодетельному попечению частных инициатив.

В наши дни эти отношения оздоровлены с помощью неизменного общественно-частного партнерства, призванного выровнять преобладание инициатив частного сектора и ту легкость, с которой государство идет ему навстречу. Наш мэр-миллиардер[34] – часть общенационального процесса обесценивания прямой общественной инициативы – рассматривает государственное вмешательство (по крайней мере в домашних делах) как сдерживающий фактор для чистого гения частного капитала. И впрямь, та зыбкая ответственность, которую логично было бы видеть возложенной на агентства планирования, вместо этого возложена на заместителя мэра по экономическому развитию, от которого и исходят все инициативы мэра, касающиеся физического облика города, и который является куратором не публичных, а частных проектов, кажущихся, ввиду их выгодности, интересными с публичной точки зрения. Дан Доторофф, покинувший в 2007 году сей высокий кабинет ради того, чтобы стать главой частной компании мэра Блумберга, – типичный пример этически двусмысленного сочетания интересов. В такой схеме департамент городского планирования принимает на себя роль разработчика урбанистического дизайна, добиваясь того, чтобы девелоперские инициативы хорошо выглядели, – или принимая для этого стратегические архитектурные концепции задним числом: зонирование, регулирование плотности застройки жилых кварталов или же увеличение ее предельного высотного режима. Нисходящая эффективность подобного «разделения труда» и возобновившийся интерес к масштабному городскому планированию при Блумберге оказались наиболее выражены в Вест-Сайд-Рейл-Ярдз на Манхэттене, Атлантик-Ярдз в Бруклине[35] и в Граунд-Зеро на месте ВТЦ; поскольку все три землеотвода принадлежат государственным структурам, система

регуляции там довольно запутана и менее чувствительна к попыткам поколебать ее со стороны оппонентов. Круговорот советов и увещеваний, которые экологические и урбанистические группы, «практики» городского права, транслируют чаще через протесты, чем через предложения, усиливается по мере движения сверху вниз.

Таким образом, здесь городское развитие тоже измеряется исключительно экономическими показателями. Мэр часто ссылается на стремительный рост цен на недвижимость как на мерило нашей успешности. Это республиканская логика:[36] высокая волна поднимет все лодки, а деньги сверху просачиваются вниз всем на пользу.[37] Увеличение стоимости недвижимости приводит, помимо роста уровня потребления людей с высоким доходом, к увеличению городского бюджета через налоги, которые, в свою очередь, могут быть использованы на благо тех людей, кого не затронула восходящая спираль развития. Вот вам и чудесная картинка: Манхэттен становится огромным огороженным сообществом, со все более сужающимся набором видов экономической деятельности и растущей недружелюбностью по отношению к тем, кто оказался лишен счастья купить себе этот сказочный образ жизни. Правда, в этих рассуждениях присутствует простая, но обидная ошибка: куда стекать деньгам, если повсюду одни миллионеры?

Это тот же ошибочный принцип, по которому-де нейтронная бомба все «сохраняет». Изучая несколько решений, принятых нашей Комиссией по сохранению исторических памятников для защиты зданий и кварталов, я был поражен однонаправленностью этого процесса. Привязанное исключительно к эстетическому лексикону, это сохранение перевоссоздает город как музей, как репозиторий себя самого. Право сохранять грозит «изъятием», входит в прямое противоречие с частным правом распоряжаться и отчуждать частную собственность. На практике эффект оказывается противоположным. Эстетическое сохранение повышает «ценность» недвижимости, привязывая права на нее к архитектуре. Таким образом, сохранение де-факто выдает мандат на джентрификацию.

Эта оторванная от корней идея «контекста» стала главной ценностью урбанизма. Любые физические добавления или изменения исторической структуры должны рассматриваться с точки зрения совместимости – концепция, понимаемая столь негибко, что исключает что-либо за пределами буквального прочтения. В масштабе квартала или района тест на соответствие контексту широко использовался, причем с величайшей архитектурной робостью и урбанистической брутальностью,

подавляя любое отклонение, возникшее в результате необычного пространственного решения, выбивающегося из общего цикла подъема и упадка. Мало кто думал о меняющемся контексте, способном дать импульс для более широкого понимания здания или настоящих составляющих квартальной жизни. Крайний случай – Виллетс Пойнт в Куинсе, прямо около стадиона Ши. Разбитые, широкие, наполовину замощенные улицы этого района со скудной инфраструктурой выглядят так, словно Виллетс Пойнт лежит где-то за границами развитого мира, словно здесь не ведутся десятки бизнесов, в первую очередь шиномонтаж и кузовные работы. Экология этого района – уникальна и симбиотична; он расцветает благодаря запущенности. Городские власти предлагают все уничтожить и построить новые дома «смешанного назначения». Хотя автомастерские нельзя счесть «наилучшим и наивыгоднейшим» использованием этой удачно расположенной территории, город не в состоянии предложить места, куда их можно перенести. Оказавшись экономически излишними, как жильцы в квартирах с жестко ограниченной квартплатой, они просто закроются.

В Сохо – «флагманском» историческом районе, показательном примере джентрификации, ставшем всемирно признанным символом успешного «адаптивного приспособления», тест на контекстуальность использовался для выравнивания карнизов, проталкивания убаюкивающей ретроархитектуры и даже – что уж совсем смешно – для высаживания на улице деревьев, хотя изначально их и близко не было. Что в Сохо действительно было – так это целый ряд видов деятельности, входящих сейчас в решительное противоречие с представлениями об «историческом» квартале. Тридцать лет назад, когда я въехал в лофт в Сохо – семь этажей пешком! – моя бабушка была удручена тем, что я выбрал такое место жительства, потому что она помнила его как район потогонных швейных мастерских. Она воспринимала выбранное мною место в контексте его «аутентичного» происхождения и не могла разделить мой архитектурный восторг от большой пустой комнаты. Для нее Сохо ассоциировался не с твердой изысканностью и ласкающими взгляд пропорциями чугунных фасадов, а с культурой его использования. Ей вспоминались молодые иммигрантки, часами стрекотавшие за жалкие гроши на своих швейных машинках. Красотки в «Маноло», перебирающиеся из клуба «Беллини» в ресторан «Чиприани», моей бабушкой в расчет не принимались.

Сохранение близоруко изгоняет этот аспект из своих расчетов. Никто не жалеет о потогонных лавочках, но многие жалуются на то, как быстро пришла в упадок промышленная

экономика города, нынче просто близкая к исчезновению. На улицах Сохо не было деревьев, потому что бессчетные грузовики и фургоны, сгружающие на улицу штуки ткани и ящики, просто не оставляли им шанса выжить. Странно сохранять и эстетизировать эту историческую данность, не задумываясь о последствиях такого историзма для бедных. В не столь отдаленной истории Сохо, безусловно, был момент – перед самым началом политических манипуляций, поддержанных деньгами, – когда первоначальная идея использования этого места могла бы трансформироваться во что-то по-настоящему ценное. Пестрая смесь художников, ремесленников, мелких производителей и экспериментаторов, а также владельцев магазинчиков, заточенных под их нужды, на короткое время оживила Сохо, пока «невидимая рука рынка», облаченная в данном случае в перчатку муниципальных властей, не вцепилась им в глотку и не поубивала всех ради обувных магазинов и модных загончиков для ребят, надутых доткомовским пузырем.

Не так дано я принимал участие в дискуссии на одной конференции и имел случай обратить внимание на то обстоятельство, что время уплаты налогов – это очень нервное время, потому что мы парадоксальным образом надеемся, что наш доход окажется достаточно низок для того, чтобы закон о стабилизации квартплаты продолжал на нас распространяться, поскольку иначе нам просто придется съезжать из квартиры. После пленарного заседания ко мне, пыша гневом, подлетел один из слушателей. Он как раз работал с недвижимостью и, начав с того, что безусловно уважает мое право на собственное мнение, заявил вслед за этим, что люди, подобные мне, которые «хотят ездить на “Кадиллаке”, а платить как за “Форд”», это и есть источник проблем для Нью-Йорка. Я начал было возражать, но этот мужчина был в такой ярости, что дискуссии не получилось.

Не оставалось никакого прохода к этому религиозному абсолютизму рынка, подразумевающему необсуждаемую веру в мудрость механизмов ценообразования. Наша квартира относительно дорога, будем ли мы исходить из доли в нашем доходе или же из средней квартплаты по стране. За годы нашего здесь проживания мы в совокупности выплатили больше, чем наш хозяин заплатил когда-то за весь дом. Конечно, «Аннабель Ли» прекрасно расположена, но годами содержалась в небрежении. Мы мирились с этим, до определенной степени, отдавая себе отчет в том, что квартплата, собираемая с жильцов, гораздо ниже той, какой она могла бы быть, если бы все квартиры сдавались по расценкам, близким к рыночным. Заставила бы хозяина бóльшая квартплата тщательнее содержать дом – вопрос открытый, трудно

оценить возможную взаимосвязь между ростом дохода и улучшением сервиса, особенно когда речь идет о низкой марже. В расчетах, касающихся недвижимости, цена не имеет ничего общего с имманентным качеством жилья или особенностями его обмена, а только с его модностью и дефицитом. Рыночная теория ценности товара или услуги мало что говорит о качестве и справедливости, а всего лишь описывает законную прибыль, которую рынок потянет.

А еще, в своей любви к абстракциям, человек из сферы недвижимости игнорирует историческую роль «общего пользования» в определении того, что считать справедливым, а что нет. Не имея закона, мы никак не смогли бы заставить нашего домовладельца залатать крышу после того, как нас замучили протечки (нам пришлось добиться предписания из департамента строительства, и на это ушло два года), или поменять древний бойлер, когда тот зафурчал и умер посредине зимы. Не говоря уж про то, что без законов о строительстве у нас никогда не было бы окон в комнатах, выходящих на воздушные колодцы. Наш домовладелец – классический экземпляр, он, похоже, начисто лишен альтруизма – поскольку это качество, в силу самой своей природы, не способствует заключению контрактов – и вообще не чувствует обязанности делать что-либо, что прямо не вменено в его обязанности. Подобно возмущенному участнику конференции, он старается «отжать» преимущества для себя без всякой этики или взаимности. С его – и рыночной – точки зрения вести себя по Гоббсу просто логично, вот и все.

С нашим хозяином можно быть уверенным лишь в одном: что в конце каждого месяца он просунет счет под дверь. Однажды он перепутал и подсунул под дверь счет нашего соседа, ныне съехавшего, с противоположной стороны холла. Поскольку конверт не был запечатан, мы, разумеется, открыли его, чтобы посмотреть, что́ платит наш сосед: в Нью-Йорке, где извлечение прибыли из недвижимости является основным производством, каждый житель зациклен на том, сколько платят за крышу над головой все остальные. Из-за негибкости городских законов о недвижимости, введенных в качестве меры военного времени в 1940-е годы, квартплаты могут отличаться разительно; и наш сосед, подпадавший под программу контроля за квартплатой, платил примерно пятую часть того, что платили мы – возможно, десятую часть «рыночной стоимости».

Но тем не менее в подобных отношениях мы надеемся на какие-то моральные принципы. Существующая система очевидно несправедлива. Люди со средствами пользуются низкой квартплатой, пожилые люди остаются в больших апартаментах, с

которыми они не способны справиться, а огромный класс людей, лишенный допуска к этим благам, вынужден полагаться лишь на милость рынка. Устойчивость этой системы связана отчасти с политическим влиянием огромного числа людей, наслаждающихся ее преимуществами, а отчасти – с извращенным представлением, что, в сущности, в самой основе своей эта система правильна, что она, по крайней мере теоретически, идет навстречу тому обстоятельству, что разные люди обладают разными возможностями платить за квартиру. Это – симптом того, что мы привыкли смотреть на город как на место, предоставляющее человеку площадь в зависимости от его достоинств и недостатков. Если вы можете себе это позволить – вы этого достойны, и наоборот.

Для бедных жителей города, каждый день вынужденных наблюдать ярмарку сверхпотребления, подспудное негодование – часть повседневной жизни. Но несмотря на это, они продолжают заниматься своими делами с редкостным хладнокровием. Нам тоже как-то удалось справиться со столбняком, который вполне мог нас охватить от осознания той вопиющей несправедливости, что наши соседи платят 20 процентов от того, что платим мы, и пользуются теми же благами. Отчасти нам помог истинно нью-йоркский élan,[38] непробиваемое самодовольство от того, что живешь в центре мира, а отчасти – наша предусмотрительная готовность изливать досаду в мечтах, а не в ярости – роскошь, позволительная нам, представителям среднего класса, благодаря комфорту, которым мы пользуемся: моя прогулка на работу – это совсем не то же самое, как если бы я гулял в Моррисании или в Ист-Нью-Йорке.[39] К тому же многие из нас по-прежнему мечтают сорвать джек-пот при найме недвижимости – а кому-то это и удается. Чем меньше терпимости к проявлениям подвижности и разнообразия населения выказывает наш квартал и сам город, тем труднее расставаться с этой мечтой.

Способность людей видеть светлую строну неадекватных обстоятельств имеет свои пределы. Живя в Виллидж, мы наслаждаемся доступом ко всему набору городских удовольствий и осознаем, что мы – в центре того, что является, по многим признакам, воплощением идеального городского окружения. Наше привязанное к регулируемой квартплате состояние приемлемо потому, что оно маркирует собой не просто невозможность переезда в другое место, а невозможность переезда в место, которое (даже если бы мы его искали) оказалось бы лучше. В трущобах долгое пребывание кажется не преимуществом, а наказанием. Мы восхищаемся цепкой взаимовыручкой в подобных местах и романтизируем

замешанные на отчаянии формы товарищества, – но они в корне отличаются от наших. Несмотря на все наши трудности, в целом мы в Виллидж воспринимаем свое окружение как принципиально положительное, а свою общественную деятельность – как путь совершенству. В трущобах совершенства можно достигнуть, только выбравшись из них.

Система взимания квартирной платы далеко ушла от идеи гражданственности и гражданства, добровольно взятых обязанностей. Наш домовладелец, подобно многим в городе, включая крупнейших, не несет никакой реальной ответственности за то, как его недвижимость вписывается в городской ансамбль. Его лишь недавно стало беспокоить, что наш дом – самый обветшалый в прекрасном блоке домов: эта мысль пришла ему в голову вместе с импульсом сделать ремонт и поднять квартплату или вместе с опасениями нарваться на санкции со стороны Департамента строительства. И точно так же, хотя поддержание тротуара перед входной дверью в городе, где тротуары по закону могут являться частными, а не общественными, вменено в обязанности домовладельцу, деревья, которые осеняют этот тротуар, оставляют его совершенно равнодушным. Передача гражданской ответственности за деревья и тротуары в руки владельцев близстоящих зданий приводит к смехотворному отсутствию зеленых насаждений даже на самых процветающих городских артериях. У меня желчь разливается, когда я прохожу по лишенным тени тротуарам мимо корпоративных небоскребов Мидтауна, потому что даже владельцы этих сооружений, стоимостью в миллиарды долларов каждое, так же равнодушны к общественным нуждам, как мой домохозяин. Какой контраст с такими уютными городами, как Париж или Ханой (на который в данном отношении оказали благотворное влияние колонизаторы). Отсутствие деревьев в Мидтауне объясняется теми же причинами, что и потрескавшиеся тротуары в Бушуике: [40] домовладельцы не вкладывают ни цента, а городские власти не считают нужным их заставлять.

Карл, наш бывший сосед с контролируемой квартплатой, был во многих отношениях показательным примером, но также, подобно нашему домохозяину (и нам самим) – порождением системы. Годами мы мало что слышали из его квартиры, разве что прыжки кота в холле поздними вечерами. О том, что это кот, мы догадались чисто умозрительно: несмотря на то что мы неоднократно слышали, как он носится туда-сюда на своих маленьких лапах, и порою видели в мусоре банку кошачьих консервов, он никогда не попадался нам на глаза и, сколько я могу припомнить, мы ни разу не слышали ни единого мяуканья.

То, что происходило за закрытыми дверями, оставалось в принципе недоступным нашему взору. Конечно, нам случалось бросать мимолетные взгляды, если наши входные двери открывались одновременно. Эти беглые обзоры часто поражали. Мягко говоря, Карл был клиническим барахольщиком. Разнообразный хлам начинался прямо от прихожей, старые газеты громоздились небоскребами до потолка – словом, полный беспорядок.

Я знал, что еще пара людей обладает подобными странностями. Честно говоря, такие люди меня пугают. С другой стороны, мое чувство толерантности говорит мне, что у себя дома каждый волен вести себя как ему вздумается. Пока это не начинает касаться меня. Оставляя в стороне мое беспокойство относительно состояния Карлова ума (если он находится в таком же беспорядке – не значит ли это, что сам Карл обернется маньяком с топором?), меня тревожило, что эти залежи мусора могут оказаться эпицентром и питательной почвой для проникновения вездесущих нью-йоркских тараканов. А больше всего меня беспокоило то, что наш сосед отказывался ограничить весь этот хлам своей квартирой. Годами весь этот сор норовил вывалиться в наш холл, в виде стопок бумаг и сломанной мебели, накапливающейся в конце коридора.

Мы перебрали разные средства, чтобы усмирить его наклонности. Я часто сгребал его хлам и складывал перед его дверью. Порою я выносил его на улицу. Я писал объявления, адресованные всем жильцам «Аннабель Ли», в которых растолковывал, как это небезопасно и не по-соседски загромождать холлы и как это раздражает нас, жильцов последнего этажа, вынужденных обходить все это. Совершенно никакого результата. Лишь когда домовладелец предупредил о предстоящей пожарной инспекции и пригрозил внушительными штрафами, это помогло. Эффект оказался незамедлительным, но краткосрочным, и скоро хлам начал снова пробираться в холлы.

Холл, называемый порой наполовину частным пространством, – прекрасное место реализации деликатных стратегий отношений, характеризующих общественную жизнь города. Наш конкретный холл ужасен и грязен; раз в неделю его символически протирают шваброй, и это все, что домовладелец может для нас сделать. Мерцающий свет, облупленная краска и общее ощущение упадка, похоже, его вовсе не интересуют. Мы, жильцы, разрываемся между возмущением безобразным состоянием нашего холла и чувством, что это не наша забота, а забота домохозяина. Это порождает парадокс. Мы используем холл не по назначению, потому что чувствуем, что он не по

назначению использует нас. Мы не участвуем в его содержании, потому что, делай мы это, мы давали бы хозяину что-то, что он сам должен давать нам. Мы вовлечены в то самое «иррациональное» поведение, в котором так часто упрекают жителей «социальных домов»: гадим в собственное гнездо.

Вопрос о собирательстве хлама заостряется еще и самой системой. Городские службы вывозят мусор с улицы трижды в неделю. Большую часть того срока, что мы здесь проживаем, мы выставляем наши мешки с мусором накануне вечером в холл и подсобный рабочий стаскивает их вниз рано утром. По идее, это должно означать, что мусор стоит в холле одну ночь. На практике, однако, мы вытаскиваем мешки в холл по мере наполнения, и это приводит к тому, что он практически никогда не свободен от мусора. В день вывоза перерабатываемого мусора дело обстоит еще хуже. Упакованные газеты, пластиковые пакеты, металлические банки забирают по пятницам, и в четверг вечером большой, грязный пластиковый контейнер от коммунальных служб появляется в холле первого этажа. Портье не стаскивает перерабатываемый мусор вниз, эта обязанность ложится на плечи самих жильцов. А это значит, что газеты начинают скапливаться в холле задолго до пятницы. Зачастую эти мешки, как и пакеты из магазинов, наполненные жестяными банками и бутылками, начинают свою миграцию к входной двери задолго до дня сбора. Мы в состоянии почерпнуть немало информации о наших соседях из этих археологических слоев (со второго этажа на этой неделе вынесли три пустых пакета вина…), но в целом они просто производят впечатление удручающего беспорядка.

Наши отношения с Карлом достигли кризисной точки пару лет назад. В предыдущие годы он не часто появлялся дома – переехав, как мы поняли, к своей девушке. И хотя сдавать квартиры с контролируемой квартплатой запрещено, он обошел этот запрет, пустив жильца под видом «товарища по квартире». Прошло несколько месяцев, прежде чем мы столкнулись с этим новым соседом, который уже успел проявить себя с худшей стороны, оставляя груды несобранного мусора на полу. Еще он слушал громкую музыку (первейший признак нецивилизованности в квартирной жизни) и круглые сутки принимал гостей – которые частенько звонили в нашу дверь вместо его.

Его поведение стало предметом пересудов на лестнице, нарушая сложившийся в «Аннабель Ли» принцип невмешательства «живи сам и давай жить другим». В силу нашей непосредственной близости к проблеме и всем известной добропорядочности, сложилось общее мнение, что это нам

надлежит что-то предпринять. Первое время дело ограничивалось стуками в стену, когда музыка становилась слишком громкой (сигнал, который оказывался прекрасно понят). Позднее я прикрепил скотчем сигаретный бычок, один из бесчисленных бычков, оставляемых нашим невидимым соседом и его друзьями, к его двери – и на следующий день обнаружил его на нашей собственной двери. Однажды мы завязали его мусорные мешки и выставили их аккуратным рядком – как пример. Он, вероятно, счел нас занудливыми дураками.

Предел наступил, когда мы оставили на его двери записку с перечнем его преступлений. На следующий день в нашу дверь постучали. Джоан была дома одна. Она спросила, кто это – и это оказался наш сосед, в неописуемой ярости: «Как вы посмели оставить мне такую записку! Это потому, что вы расисты!» Джоан отвечала, что это невозможно по той простой причине, что мы его еще не видели и понятия не имеем, к какой расе он принадлежит (оказалось, что он с Филиппин). Это его немного остудило, Джоан открыла дверь и строго с ним поговорила. Результатом стало незначительное, но отчетливое улучшение ситуации с мусором.

Но скоро он вернулся к прежним привычкам, и портье, в чьи обязанности ранее входило трижды в неделю стаскивать мусор со всех этажей вниз, стал отказываться иметь с ним дело. Мы начали засыпать жалобами хозяина, который выкрутился, заявив, что единственное, что здесь можно предпринять, это уволить Лестера, доброго пожилого чернокожего бедолагу, которому он недоплачивал и в чьи обязанности входил присмотр за холлами. Наш домохозяин – мастер «выбора Гобсона».[41]

Через несколько дней противостояния домовладелец нашел выход. В холле было повешено объявление, оповещающее жильцов, что хозяин не будет больше собирать мусор из наших квартир и что жильцы отныне обязаны сносить свои мусорные мешки вниз самостоятельно. Он снова выиграл, предоставив нам возможность или оставлять свой мусор на полу сколько нам вздумается (пока мы предпринимаем административные или юридические действия), или же спускать его по ступенькам самостоятельно.

Мы испытывали смешанные чувства по этому поводу. Если жильцы скооперируются, то добьются определенной эстетической и гигиенической выгоды, особенно мы, живущие на верхних этажах. С другой стороны, необходимость спускать мусор ко входу самостоятельно, несомненно, означала урезание оговоренных услуг – и это стало первым пунктом нашей дальнейшей борьбы. Мы воспринимали свои отношения с домовладельцем не просто как юридический, но как

общественный договор, в каком-то смысле даже как политический, и рассматривали подобное поведение не просто как возникшее неудобство, но как покушение на наши права жильцов.

Наши соседи со второго этажа (старожилы, с контролируемой квартплатой) предпочли, в качестве жеста непокорности, выбрасывать свой мусор в световой колодец, прямо перед конторой домовладельца в полуподвале, и это стало казаться хорошей идеей. В конце концов, почему мы должны хранить мусор на своей территории, если вывозить его – обязанность хозяина? Так что вполне справедливо и разумно, чтобы мусор собирался перед его дверьми, а не перед нашими. С того момента многие жильцы в те дни, когда мусоровоз не приезжал, оставляли свои мешки на верхней площадке лестницы, ведущей в контору домовладельца. Порою мы тоже так делали. Моя вина в замусоривании улиц смягчается тем, что мои мешки всегда были плотно завязаны, и тем, что я таким образом просто посылал хозяину сигнал – еще одно проявление нелепости нашей системы.

Если я уходил из дома около девяти, я порой сталкивался с хозяином, идущим в свою контору. Вообще-то хозяев было двое: Лу, с которым мы имели дело постоянно, и Роуз, его пожилая мать. Имелось и несколько «внештатников», включая бухгалтера и недавно присоединившегося к ним Джима, чуть более любезного и вменяемого, чем Лу. Личные качества последнего открылись нам сразу же, еще при заключении контракта. Мы подписали его в офисе Лу в Даунтауне, где он занимался адвокатской практикой по уголовным делам. Этот визит дал нам краткое представление о том стиле общения, который нам пришлось узнавать все лучше и лучше с ходом лет: постоянное прерывание на телефонные звонки (которым всегда отдавалось предпочтение перед сидящим перед ним людьми), беспочвенные обвинения в адрес других жильцов и ничем не сдерживаемое возвеличивание себя любимого.

С годами наши отношения приобрели психотический характер. Ему, кажется, доставляет удовольствие провоцировать меня, а я все меньше способен сдерживаться. Нашей постоянной темой стал жилец моего соседа напротив, который, по общему мнению всего подъезда, торговал наркотиками. Хозяин охотно вышвырнул бы нашего соседа – но совсем не по этой причине, а просто потому, что, когда квартира с контролируемой квартплатой освобождается, домовладелец по закону имеет право пересдать ее по рыночной цене, то есть по меньшей мере на три тысячи долларов больше, чем платил наш сосед. Хозяйская алчность (или деловая сметка, в зависимости от того, как вы на это смотрите) заставила его даже попытаться «завербовать» меня

дать свидетельские показания в суде и подтвердить, что наш сосед реально не живет в своей квартире. В качестве награды он предложил покрасить холлы (которые к тому моменту не обновлялись десятилетие), починить полы и избавиться от граффити в вестибюле.

Учитывая, как нам надоели обшарпанные, грязные холлы и вестибюль, предложение было соблазнительным. Но солидарность жильцов, нежелание стучать на ближнего своего (история в духе Анны Франк) и, главное, нежелание, чтобы хозяин получал дополнительную прибыль, перевесили. Я ответил, что не верю его обещаниям по поводу ремонта (добиться чего-либо в «Аннабель Ли» – это суровое испытание), так что пусть это он сначала обновит места общего пользования, а потом уже я, оценив такое проявление доброй воли с его стороны, вернусь к его предложению – как только здание приобретет пристойный вид. Лу согласился.

Хотя рожденный ползать мошенник никогда не сможет летать, это дало мне еще одну возможность указать нашему хозяину на его самовлюбленность и отсутствие гражданской сознательности. Эту высокую ноту я и без того брал довольно часто. Я втолковывал ему про историческое значение нашего квартала и про то, что каждый должен вносить свой посильный вклад в его украшение. Я вопрошал его, как он умудрился не приобрести никакого чувства гражданской ответственности, проходя обучение в юридической школе. Я указывал на другие здания в нашем блоке, содержащиеся в чистоте и идеальном порядке. Он находил меня смешным.

На сей раз я использовал представившуюся возможность и спросил, в ехидно-провокационной манере, что мешает ему самому разорвать контракт с человеком, занимающимся незаконной субарендой. Я подозревал, что он прекрасно осведомлен о наркоторговле и просто покрывает ее. Но оказалось, что он удерживался от того, чтобы отобрать квартиру, потому что Карл уверил его: и первый его жилец, и наркоторговец – это его товарищи, с которыми он делит жилье (его собственная игра с юридической системой). Я подозревал, что дело нечисто и на самом здесь скрывается что-то куда более серьезное, о чем я не имел представления. Хотя, скорее всего – ничего.

Ситуация становилась все серьезнее и серьезнее, пока наконец самому Карлу не пришлось «из-за сцены» вызвать полицию. Однажды я пришел домой и увидел, как Карлова «товарища» – который, очевидно, не только сбывал, но и сам изготовлял наркотики – выводят в наручниках. Ему следовало бы понимать, что первая заповедь наркодилера – вести себя как

можно незаметнее. Искрометное, но раздражающее поведение стало его ошибкой, и скоро на его месте оказались две очень скромные молодые женщины, новые «товарищи» Карла.

Самое наше яростное столкновение с домовладельцем произошло восемь лет назад. В то время я преподавал в Вене и ездил туда раз в месяц. После первой моей затяжной болезни я решил оставить эту работу, которая сделалась скучной и чрезвычайно изматывающей. Я спускался вниз по лестнице, с чемоданом в руке, чтобы оправиться в путешествие, которое, как я предполагал, должно было оказаться последним, – и первым с того момента, как я почувствовал себя лучше. Стоял чудесный весенний день, я был в прекрасном настроении. В вестибюле я встретился с Роуз, объявил ей, что еду в Европу, и мы поболтали с ней, европейской беженкой, об очаровании Вены, в особенности о выпечке легендарного кафе «Демель» (Demel), которую непременно стоит отведать. Мне не так часто выпадал случай поговорить с ней по-человечески, и я выходил с мыслью, что нам надо с ней и дальше вот так вот перекидываться время от времени парой слов.

По возвращении, однако, я обнаружил извещение – следствие того, что домохозяин уведомил городской департамент, регулирующий квартплату, о наличии у меня заграничного дохода, который, как он подозревает, я не указал в своей налоговой декларации. Логика его была проста. Согласно законам, регулирующим стабилизацию квартплаты, когда она добирается до отметки две тысячи долларов в месяц (как наша), доходы жильцов подлежат проверке. И если они составляют больше 175 тысяч долларов в год в течение двух лет подряд, ограничения по квартплате снимаются и она может быть поднята до рыночного уровня. Заслышав о моей работе в Вене, хозяин рассудил, что, возможно, зарплата Джоан, моя зарплата и доходы от моего архитектурного бюро (в действительности на протяжении ряда лет приносившего одни убытки) превышают эту сумму.

Но в тот момент я просто понял, что он обвиняет меня в мошенничестве – уклонении от налогов. Будучи чрезвычайно педантичным в таких вещах и годами аккуратно платя австрийские налоги, более похожие на конфискацию имущества (и будучи достаточно наивным, не указывая это в декларациях, хотя эти суммы вычитаются из американский налогооблагаемой базы), я пришел в ярость. Джоан тоже рассердилась такому коварству – использовать невинный соседский разговор, чтобы залезть к нам в карман! И мы ринулись вниз по лестнице.

Хозяин хорошо научился со мною обращаться. Я немедленно

впал в высокопарный тон, и его самодовольные ответы еще больше распаляли меня. Он начал подзуживать меня, говоря, что, раз я так взъелся, значит, он попал в больное место – еще одно доказательство его правоты. Я стал возмущаться: как такое ничтожество, как он, смеет обвинять таких добропорядочных граждан, как мы, в махинациях с налогами. Он перешел на юридический жаргон, провозглашая, что действует в рамках своих прав, и настаивая, что мой гнев – prima facie[42] – свидетельствует о справедливости его подозрений. Я повернулся к Роуз и заявил ей, как это мерзко – использовать человеческий разговор для того, чтобы потуже затянуть удавку на шее жильца. Домовладелец просто расхохотался, глядя на мою вышедшую из-под контроля, бессмысленную ярость.

Я просто кипел от гнева и решился на то, что казалось мне самым страшным оскорблением: «Люди, подобные вам, – оправдание антисемитизма!» Но моя попытка уподобить домовладельца Шейлоку не возымела ни малейшего эффекта. Под непрекращающийся смех я выскочил из конторы, открыв дверь пинком, и присел на крыльцо, чтобы остыть. Джоан, остававшаяся вне хозяйских насмешек, неожиданно сгребла все бумаги с его стола и выбросила их в окно. Столь шокирующее поведение человека, известного своими деликатными манерами, немедленно заставило хозяина замолчать. Потом он заявил, что ее поведение выходит за все пределы. Его – тоже, отвечала она. Он спросил, как я посмел поносить его религию, и она отвечала, что я пришел в такую ярость именно из-за высоких этических требований, которые я предъявляю к людям, разделяющим мою религию. Потом она вышла ко мне на крыльцо. Мы немедленно известили городские власти о том, что наш доход не превышает установленного лимита и что мы рассматриваем данный эпизод как еще одно подтверждение преследования со стороны домовладельца. На этом все и кончилось. На время.

В инцидентах меньшего масштаба недостатка не было. Однажды, сытый по горло ужасающим состоянием лестничной клетки, я вывесил письмо, адресованное хозяину, в котором спрашивал, когда он собирается вымыть и покрасить ее, а если не собирается в обозримом будущем, то я готов сделать это сам и приглашаю соседей присоединиться к этой авантюре в духе Тома Сойера. Никто из соседей не воспринял это предложение всерьез – кроме самого Лу. Он ответил угрозой привлечь меня к суду. Это едва не побудило меня немедленно приступить к малярным работам – настолько соблазнительной показалась мне возможность предстать перед судьей, который наверняка осудит не меня, а истца за нелепость возбужденного дела. Но приятель-

юрист объяснил мне, что проигравшей стороной, вероятнее всего, окажусь я, потому что жилец не имеет права покушаться на то, что, безусловно, является пространством хозяина.

Но благодаря Джоан мы добились некоторого прогресса. После того как количество протечек в нашем потолке трагически увеличилось и каждый прошедший дождь приносил с собой обвалившуюся штукатурку, лужи на полу, отошедшие обои и порчу самых ценных предметов обстановки, Джоан направила жалобу в комиссию по контролю за квартплатой и в департамент строительства. Те, в свою очередь, в надлежащий срок направили инспекторов, которые засвидетельствовали, что крыша и впрямь протекает во многих местах, а сверх того, что оконные рамы опасно прогнили. Домовладелец получил предписание починить и то и другое с четким указанием крайнего срока. Мы же получили небольшое, но заметное снижение квартплаты до того времени, пока неисправности не будут устранены. За день до истечения установленного срока кровельщики появились и приступили к работе.

Битвы эти шли бесконечно. Примерно десять лет назад наша домофонная система испустила последний вздох. На тот момент мы платили самую высокую квартплату в доме – и вообще-то жили на последнем этаже, так что нам было неудобнее всех остальных спускаться вниз открывать двери гостям и перехватывать почтальонов, которые, не дозвонившись, возвращались обратно в отделение – круговой маршрут протяженностью в двадцать четыре блока. Так что хозяин испытывал смутное чувство, что перед нами он несет несколько повышенные обязательства. Так вот: вместо того чтобы озаботиться заменой всей почившей системы, он попытался починить только наш домофон. Скоро выяснилось, что заменить лишь один кусок пришедшей в негодность проводки невозможно. Тогда он выпустил наружу из одного из прогнивших окон в нашей гостиной провод, ведущий по фасаду в вестибюль и соединенный с примитивным звоночком. Питалась эта конструкция от батарейки на нашем подоконнике. Подобная система не оставляла иной возможности впустить гостей, кроме как спуститься за ними самому или бросить в окно ключ в носке.

Конечно, система не работала: провод сдувало, контакты отошли почти сразу же. Десятки гневных звонков, писем-требований на протяжении месяцев. Наконец, через год подобных жалоб хозяин все-таки заменил домофоны. Но и теперь, в стомиллионный раз, в них тут же обнаружились различные неполадки, в одних квартирах они работали, в других – нет. Такую же борьбу пришлось вести из-за категорического отказа

хозяина провести в доме телевизионный кабель. Она шла годами (хотя Джоан «уела» его напоминанием, что провел же он в свое время телефонный кабель), а после победы продолжилась его постоянными проволочками и препонами при обновлении телевидения на цифровое. Монтажники разного уровня только глаза закатывали и тяжко вздыхали, выслушивая заявления домовладельца, что он понятия не имеет, где кабели входят в дом и как они по нему идут.

Хотя, возможно, Лу и Роуз – исключительные случаи, их поведение хорошо согласуется со структурой, определяющей их возможность извлекать прибыль из нас всех. Их поведение по отношению к нам и к своим минимальным обязанностям по поддержанию дома – это своего рода «наименьший общий знаменатель», определяемый буквой закона и их асимптомным отношением к его выполнению. Роуз и Лу – это едва ли не пародийное воплощение того, что зовется «буржуазной моралью». Их кажущееся наплевательским отношение к жильцам – это просто перенос «деловой этики» в область общественного поведения. Мы же ждем, что они будут вести себя с добротой и щедростью, проявят интерес к жизни всего района, и поэтому так настойчиво пытаемся говорить с ними совершенно несоответствующим языком, не имеющим ничего общего с контрактами и юридическими обязательствами.

Мы держим Лу и Роуз в ежовых рукавицах, потому что они – человеческие лица системы, замкнутой лишь на собственные интересы. Но они лишь мелкие сошки, обслуживающие интересы куда более крупных и безликих игроков. По истечении двадцати пяти лет мы рассматриваем их скорее в свете непростых личных отношений, нежели в качестве эмблемы порочности крупного города. Недвижимость – главная отрасль промышленности Нью-Йорка. Домовладельцы – всего лишь рядовые бойцы, грудью защищающие приоритеты ценностей частной собственности, правомочность взгляда, оценивающего каждое место, каждое здание с точки зрения выгоды, которую можно из них извлечь. Бизнес-модель управления, горячо принятая нашим мэром-миллиардером, подразумевает сугубо деляческий, прагматический взгляд, что гарантирует «правильным людям» возможность делать деньги.

Государство намерено все шире и шире разворачивать свою наиболее жестокую меру по поддержанию градостроительной среды – конфискацию, защищая интересы частных застройщиков, невзирая на кислые отклики остальных. Политики, оплакивая «культуру всеобщего благосостояния», урезают ее блага и в то же время делают щедрые «подачи» нуждающимся корпорациям,

субсидируя частные рыночные компании как через налоговые льготы, так и через щедрые бонусы и одновременно передавая ответственность из публичной сферы в руки частных игроков. Эта система обратила Манхэттен в зону бешеного строительного бума, задирая среднюю стоимость квартиры до заоблачных высей и порождая величайший разрыв доходов – и самый малочисленный средний класс – в истории.

И по контрасту, тот род драмы «жилец – хозяин», что разыгрываем мы с Лу и Роуз, в которой задействована их способность выжимать из нас небольшие суммы денег, и наши соответствующие усилия получить за них небольшие усовершенствования, – это, вероятно, извечная плата за богемность, за право принадлежать к маргинальной и при этом прославленной прослойке населения и вести ее образ жизни в центре города. И мы охотно, безропотно играем свою роль.

Крыльцо

К входной двери пристроено крыльцо. Его социальные функции многообразны. Во-первых, это превосходное фильтрующее, опосредующее пространство, обозначающее переход от публичной жизни улицы к частной жизни здания. Короткий подъем создает чувство, что ты прибываешь на место, поддерживаемое двумя ритуализированными пространствами: вестибюлем, «домом» для почтовых ящиков и дверных звонков, и входной дверью, местом особых приветственных действий, поиска ключей, первого взгляда на присланные счета, передачи сумок и пакетов из одних рук в другие, чтобы осуществить чаемое «ключ-в-замок» и толкнуть дверь. Благодаря этой короткой вынужденной паузе, а также благодаря тому, что все жильцы дома вынуждены проделывать здесь одни и те же действия, входя и выходя, крыльцо – это еще и место, где часто придерживают дверь, озирают незнакомцев, изучающих список жильцов, судачат с соседями, посматривают на детей, туристов и бомжей. Наше крыльцо особенно привлекательно для бомжей, поскольку входной вестибюль, в отличие от многих в нашем квартале, имеет только одну внутреннюю дверь и предоставляет им доступное защищенное пространство.

Помимо того что это место встреч, крыльцо – это еще и место наблюдения. Улица с рядом крылечек – это своего рода боковая трибуна стадиона, идеально подходящая для обозревания проходящих парадов, будь то «официальные» шествия, такие, как огромные Гей-прайд или парад-маскарад в честь Хеллоуина (пока их маршруты не изменили несколько лет назад), или более неформальные каждодневные сценки. Сидя на высоком крыльце, можно наблюдать за кружением (если угодно – «балетом Джейн Джейкобс») повседневной деятельности, подмечая все выходящее за границы обыкновенного и обеспечивая то «присутствие публики», которое и заставляет вести себя по-соседски – убирать за своей собакой, обмениваться приветствиями, заботиться о деревцах и просто хранить память об улице. Мы, жильцы «Аннабель Ли», разумеется, полагаем, что обладаем преимущественными правами на наше крыльцо, особенно во время парадов, когда борьба за сидячие места оказывается нешуточной.

Мы страшно возмущаемся, когда обнаруживаем, что кто-то пьет или спит на нашем крыльце, или когда оно перегорожено шеренгой курящих подростков, или когда люди, взошедшие на крыльцо, чтобы поговорить по сотовому телефону, оказываются

огорошены тем фактом, что вообще-то это не совсем общественное пространство.

Подобная территориальная принадлежность зачастую подчеркивается архитектурно. Здание, соседнее с нашим – кооператив, – отгорожено со стороны улицы чугунной решеткой с запирающейся калиткой внизу ступенек крыльца. Хотя эти ворота почти никогда не запираются, они ясно обозначают претензию дома на частное пространство. Еще в этом доме имеется не только внутренняя, но и внешняя входная дверь вестибюля, обе они, запертые на ключ, превращают вестибюль в небольшое лобби, закрытое от чужаков и обеспечивающее более комфортные условия для получения почты. К тому же запертый вестибюль не представляет соблазна для граффитчиков, в отличие от нашего, привлекающего их не только доступностью, но и своей убогостью и, словно в насмешку, своим беспощадным, слишком сильным светом ярко-желтой натриевой лампы, более подобающей тюрьме, а не тихой улице.

Мы с Джоан однажды подсняли у моего дяди Ральфа квартиру на Верхнем Вест-Сайде, в месте под названием Помандер-Уолк (по названию бродвейского спектакля, пользовавшегося в то время большой популярностью[43]). Это был проулочек, плотно застроенный в 1920-е годы маленькими домиками, специально спроектированными так, чтобы выглядеть по-диккенсовски. Все дома отделялись от проулка незапертыми воротами, через которые можно было подняться по длинной лестнице на высокое крыльцо. Местечко было просто волшебное и очень укромное, даже многолетние соседи и страстные любители архитектуры о нем не подозревали. У всех выходящих в переулок домиков (в каждом – по две квартиры) было свое крыльцо, и вереница этих крылечек образовывала несущую конструкцию для восхитительных летних социальных ритуалов, организаторами которых выступала группа давно живущих здесь пожилых вдов.

Это была ни больше ни меньше коктейльная вечеринка, перемещавшаяся от крыльца к крыльцу, которая часто затягивалась до глубокой ночи. Походив на эти собрания несколько недель (и встречая все более теплый прием по мере того, как вечер делался все более поздним), мы решили наконец, что нам пришла пора принять в них деятельное участие. Для своей инаугурации в обществе любителей крылечного заката мы приготовили большой поднос сэндвичей с огурцом, угощение, к которому мы тогда весьма привязались. К сожалению, мы еще недостаточно освоились с правилами проведения вечеринок на Помандер-Уолк и начали свою в 17:00 в такой день, когда никто их не проводил. Так что мы ходили туда-сюда по проулку и

задирали головы к окнам, пытаясь обнаружить какие-нибудь признаки веселья, и наконец позвонили в дверь миссис Рунштейн, обычного организатора.

Мы съели с ней несколько сэндвичей в ее ориенталистской гостиной, напоминающей о Максиме Дюкане, набитой восточными коврами, диванами, медными чеканками, забрали остальное для собственного обеда и приготовились попытать счастья в другой раз на этой же неделе. Разумеется, мы стали предметом пересудов, и наша неуклюжая попытка трактовалась как прекрасный пример добрососедства. Приятно, когда твои блуждания с подносом в тщетных поисках общения становятся предметом беззлобных шуток. Маленькое общество Помандер-Уолк, разумеется, является продуктом как исключительно схожих внешних обстоятельств, располагающих к ритуалам, так и близости, сложившейся за долгий срок жизни в общине. И те, и другие предпосылки – городские в высшей степени, они возможны в среде, размывающей границу между общественным и частным пространством, обеспечивая пластичный, приспособляемый набор условий взаимодействия. Проулок и крылечки – особое место, потому что это не общественный тротуар и не частный двор, а что-то между. Городские планировщики должны как можно серьезнее отнестись к мерами по созданию и защите таких мест с размытыми правами владения.

Домики в проулках, «мьюзхаузы»,[44] – редкость в Нью-Йорке. Несколько таких есть в Виллидж, включая один рядом с нами, раньше служивший конюшней. А я давно влюбился в так называемые лонгтанги, которые можно встретить в Шанхае и в других китайских городах. Это сложно устроенные ряды двух-трехэтажных домов, выстроенных вдоль пешеходных дорожек, вдали от больших улиц. Они не просто островки спокойствия; они – великолепные социальные конденсаторы. Проходя такой квартал насквозь, вы обнаружите там стайки играющих детей, стариков, увлеченных маджонгом, цветы в горшках по сторонам дорожек, птичьи клетки и вяленую рыбу, свешивающиеся с карнизов. Такой тип жилья возник в XIX веке как сочетание европейского и китайского стилей и может принимать самые разные архитектурные формы. К сожалению, сейчас они часто оказываются перенаселены, особенно те, что расположены в центре, и их сносят. Мои китайские друзья много раз хотели мне показать наиболее ценные образцы – и обнаруживали лишь дыры в земле и строительные краны. «Надо же, еще на прошлой неделе все было на месте!»

То, что жилье такого типа неизвестно Нью-Йорку, – результат

запретительной экономики, ведущей к раздуванию масштабов строительства, а также к гегемонии в архитектурной морфологии дорожного движения, отсутствия живой традиции возведения подобных сооружений и временно́го преимущества других прототипов. Ввести его сейчас в нашем районе – это значит усилить ту неоднородность, что составляет славу Виллидж, и при этом выставить напоказ доведенный до предела этос домов как окружающей среды, «оболочки». И для подобных сооружений любого размера, кроме самого миниатюрного, все равно придется расчищать место. Но сам по себе этот тип – восхитителен, и его совершенно необходимо ввести во всеобщий строительный репертуар. Он имеет право на жизнь в Нью-Йорке как часть «уплотняющей модификации» наиболее небрежно застроенных частей города.

Хотя мы с Джоан оба – дети пригородов, никто из нас не жил в них с того времени, как мы покинули родительские дома, чтобы отправиться в колледж, и оба мы вспоминаем их кошмарное отчуждение от городской жизни, их чрезмерную зависимость от автомобилей и пригородных поездов, к которым мы не питали никакого пристрастия. Лишь ненадолго мы вернулись в пригород, когда я преподавал в Остине (Техас) и мы жили в комплексе вроде мотеля на краю города. Нам обоим памятно ежедневное чувство смущения и острый приступ дезориентации, возникающий вследствие прямого, неопосредованного входа в нашу «квартиру». Достаточно было припарковать взятую напрокат машину напротив входной двери, провернуть ключ в замке – и вот мы уже стоим в гостиной. Мы так и не привыкли к обескураживающему отсутствию последовательного входа – вверх по лестнице, через вестибюль, потом по внутренней лестнице и, наконец, в квартирный холл.

Крыльцо «Аннабель Ли» годами оставалось особым местом для нашей соседки Джейн. Она жила в самой маленькой квартире дома, в задней части первого этажа, где не хватало света и не было никакого обзора. Поэтому, как только делалось достаточно тепло, она выставляла на крыльцо свой раскладной стульчик и с этой выигрышной позиции обозревала окрестности, решала кроссворды, наблюдала за входящими-выходящими нашего дома и всего блока, словом, вела чрезвычайно насыщенную социальную жизнь. Будучи одним из старейших жителей квартала, она знала всех, включая женщин и собак, и постоянно заводила разговоры с прохожими, частенько одаривая их своими энциклопедическими знаниями и последними новостями о квартальной жизни. Под рукой у нее все время был запас печенек для собак, которые натягивали поводки, таща своих хозяев к

лакомству.

Джейн представляла собой образцово-показательного «общественного гражданина» (или, в терминах Джейкобс, «общественный характер»). Она не просто жила в городской среде и жила ею; она была сущностно необходима для сохранения непрерывности нашего урбанизма. Благодаря своей важнейшей роли собирателя и передатчика местной памяти – ключевой позиции в сети локальной политики и сотрудничества, она сделалась нашим местным символом внутреннего обмена, щедрости и конгениальности. Она деятельно участвовала в судьбе коммунального садика у библиотеки дальше по улице. Она оказывала пристальное внимание состоянию уличных деревьев и насаждений по всему кварталу. Однажды – гласит легенда – она взлетела со своего складного стульчика, чтобы предотвратить ограбление на противоположной стороне улицы. Джейн умерла от сердечного приступа, верша один из своих любимейших городских ритуалов, – по пути на фермерский рынок на Юнион-сквер.

В один прекрасный день я сидел на крыльце напротив Джейн и обратил внимание на двух ребят, шедших по улице. Проходя мимо дерева Уилсона, у основания которого Джейн соорудила из проволочек что-то вроде ограждения, чтобы защитить цветы от собак и мусора, один из них нагнулся и снял клочок бумаги, наброшенный на календулы. Я обратил внимание, что в руке у него бумажный пакет из супермаркета, который он использовал в качестве мусорного. Потом этот человек перешел к другому дереву и повторил то же самое.

Меня это ужасно растрогало. Ведь именно череда таких мелких событий и делает городскую жизнь приемлемой, даже прекрасной, и спасает нас от гоббсовских джунглей, столь долгое время остававшихся наиболее подходящей метафорой для описания городской жизни. В своих «Путях в утопию» Мартин Бубер писал: «Порою я думаю, что каждый раз, когда в многоквартирном доме я ощущаю добрососедскую помощь, волну теплого товарищества… это увеличивает мировую общность». И впрямь.

Все мы видели это маленькое оповещение в самолетном туалете: «Для удобства следующего пассажира, пожалуйста, протрите полотенцем раковину». Самолеты – занятные теплицы цивилизованного поведения. Стесняющие и гомогенизирующие, лишающие вас возможности наведаться в туалет, не побеспокоив соседа, стискивающие без возможности поерзать, воздушные путешествия осуществимы лишь при условии заведомо хорошего

поведения. Формы этого добрососедства скрупулезно – в дюймах – просчитаны, в среде, в которой разделение публичного и личного сведено к минимуму в контексте пространства для ног и рук, деликатной необходимости спать рядом с чужим человеком, безусловном требовании держать место в чистоте и порядке, не обращая внимания на неотступный взгляд вашего соседа по ряду с угрожающего вида остроносыми ботинками.

Момент истины настал для меня несколько лет назад, когда я стоял в самолетной уборной. Я закончил мыть руки и протер бумажным полотенцем нержавеющую раковину. Я тер ее до тех пор, пока мокрые пятна не исчезли и с самой раковины, и со столешницы, а потом принялся за зеркало. Потом я обнаружил, что сижу на полу, со свежим полотенцем в руках и вытираю его досуха. Вдруг я осознал: я согнулся в три погибели в уборной «Боинга-767», в руке у меня бумажное полотенце и я натираю им пол. Неужели мой невроз нынче разыгрался сильнее обычного? Не думаю, что мой жест был проявлением чистого бессребреничества – ведь предназначался он не только следующему пассажиру, но и служил своего рода посланием пассажиру предыдущему, проявившему небрежность, хотя он никак не мог его видеть и оценить.

Самолетный туалет – миниатюрная поведенческая лаборатория, схема «стимул – ответ» высокой степени точности. Есть несколько побудительных мотивов: небольшая надпись, призывающая вас протереть раковину; сама ситуация уборной, ваше собственное чувство общности с другими путешественниками, природный альтруизм и, разумеется, вероятность того, что кто-то из следующих посетителей может прямо обвинить вас в нечистоте, даже если в этом нет вашей вины. В общем, система работает. Она может давать сбой в условиях перенаселенности, и туалеты в конце длительного путешествия широкофюзеляжного «джамбо» с детьми на борту могут выглядеть ужасающе, но очень часто люди ведут себя весьма разумно.

Но самым поразительным проявлением такого коллективного хорошего поведения является для меня воистину всеобщее принятие ньюйоркцами правила убирать за своей собакой. Хотя в Нью-Йорке закон, обязывающий держать собаку на поводке и следить за ее поведением, был принят еще в 1938 году, соблюдался он спустя рукава, но даже если соблюдался – не касался куч на улицах. В 1978 году штат принял «закон о собачьих отходах», требующий, чтобы в городах с населением свыше 400 тысяч человек жители убирали за своими собаками. Хотя гигиенические и эстетические проблемы, связанные с этой

формой загрязнения окружающей среды, были широко известны, закон вызвал ряд возражений. В том числе, что, будучи федеральным, он нарушает принцип муниципального самоуправления. На слушаниях одна собаковладелица заявила, что «собирается читать своему кокер-спаниелю Генри Торо и учить его гражданскому неповиновению» (я сам в ходе обсуждения этого законопроекта носился с идеей «дерьмопечатающего проекта», предусматривающего превращение раздражающего загрязнения с помощью формочки в виде звезды, насаженной на длинную ручку, в произведение уличного искусства – но проект удался лишь отчасти).

Конституционность закона также безуспешно оспаривалась в иске, выдвинутом группой набожных иудеев, провозгласивших, что требование каждый раз убирать за своей собакой нарушает их свободу вероисповедания, поскольку им запрещено собирать мусор в шабат. Отклоняя иск, суд постановил: «Истцы исходят из того, что соблюдающее религию лицо может мусорить в шабат, но его невозможно заставить собирать собственный мусор в шабат. Если в субботу разрешено гулять с собакой, то позволительно и не загрязнять улицу. Работы, выполняемые по необходимости, дозволены. Поскольку опрятность отвечает благочестию, вызывает сомнения, чтобы всеблагое и всевидящее божество могло допустить загрязнение общественных мест во имя набожности». И хотя я люблю собак, я не могу не вздрогнуть, завидев сошедшего с дорожки пешехода, с рукой, обернутой в пластиковый пакет, готового подобрать свежую кучку. Это только увеличивает мои восхищение и благодарность.

Самое удивительное во всем этом то, что подобное сотрудничество есть, в сущности, не плод полицейского насилия, а результат простого согласия с разумным законодательным актом – в отличие, скажем, от Сингапура, где исключительная чистота улиц поддерживается с помощью суровых запретительных мер и абсурдно жестоких наказаний. Но я в каком-то смысле понимаю иеремиады дядюшки Гарри[45] против жевательной резинки – до недавнего времени запрещенной, а нынче считающейся лекарством. Каждое липкое пятно на тротуаре или на платформе метро кажется мне не просто отталкивающим зрелищем, но и грустным комментарием к рассуждениям о солидарности и чувстве порядка, присущем горожанам.

Ключ к демократической гражданской урбанистике состоит в том, что соучастие достигается через выборность властей. Мы подчиняемся закону, потому что сами придаем ему форму. Принуждение, отличительная черта авторитарных режимов, – это не то же самое, что увещевание, демократическое средство

достижения согласия. Различение одного от другого само по себе может быть проблематично, поскольку демократия тоже может обернуться тиранией, не только требуя вынужденного согласия от диссидентов, но и приватизируя исключительность. Огромное количество «ассоциаций домовладельцев», присущее пригородам, – или же комитетов кооперативных домов, характерных для Нью-Йорка, – действует через различные ограничивающие уставы, созданные специально для того, чтобы принудить к узко очерченным «хорошим» формам поведения (никаких лиловых домов!) – или, что еще хуже, к тому, что только «правильные люди» могут войти в их сообщество: никаких черных, никакой богемы и т. д.

Часто замечают, что Диснейленд – это место, где люди ведут себя хорошо, и что он удивительно чист, учитывая количество людей, его посещающих. Отмечается также, что столь высокий уровень чистоты является скорее результатом деликатности публики, чем титанических усилий обслуживающего персонала. Среди посетителей Диснейленда негласно бытует убеждение, что они должны вести себя «наилучшим возможным образом». Отчасти это убеждение определяется, безусловно, самой средой, по которой сразу видно, что она поддерживается в порядке на базовом уровне: это место, которое уже чисто, которое отмывается до состояния непорочности каждую ночь. Что подсказывает посетителям: это место может быть чистым, и личное участие – выбросить обертку от мороженного в урну – произведет эффект, который сразу можно оценить. В отличие от голосования (которое на первый взгляд тоже представляет собой акт опускания бумажки в специально отведенное место), здесь никакого абстрактного мышления не требуется. Отказ от участия в голосовании незаметен на личном уровне, в то время как отказ донести фантик до урны выставляет человека на всеобщее осуждение.

Пляж – еще одно место, где очевидна связь между удовольствием, получаемым от окружающей обстановки, и нашей готовностью действенно защищать ее. В подтверждение своих слов я могу привести воспоминания о выходных, проведенных в разные годы в таких местах, как Файр-Айланд, Мартас Виньярд, побережье Джерси и Кейп Код.[46] Очарование этих мест возникает от красот самого пляжа, от мест отдыха и от того, насколько повседневные действия людей преобразуются этим окружением. Поскольку пляжи считаются «особыми местами» (как Диснейленд), поведение в них тоже становится особым, – пляжи включаются в ряд мест, поведение в которых строго

регламентировано, таких как церковь, библиотека и концертный зал. Как и во всех подобных местах, любезность на пляже более распространена и дальше простирается. Владельцы магазинчиков легко соглашаются на небольшой кредит, а покупатели всегда «доносят на следующий день» недоданные деньги. Двери оставляются открытыми. Смотреть за детьми в воде становится общей обязанностью. Люди охотнее и гораздо искреннее болтают с незнакомцами.

Одна из причин такой особости – то, что общество образовалось здесь по собственному сознательному, намеренному выбору. Редко когда мы столь близки к утопии, как на пляже (что нашло свое отражение в бессмертном лозунге мая 1968-го: «Под брусчаткой – пляж!»). Поскольку отдыхающие сами приняли свободное решение приехать в это место на короткий срок, у них явно присутствует общность вкусов и интересов, гомогенность представлений об основных свойствах окружающей среды и ее предназначении. Разумеется, в этом общем наборе представлений можно при желании вычленить классовое начало – включая его «эксклюзивный» компонент. Но принадлежность к тому или иному классу может проявляться разными путями, и не все они предосудительны. Несмотря на то что городской квартал должен быть открыт для представителей различных экономических и социальных классов, жители одного квартала объединены общностью частных интересов, самой идеей, что у места есть своя идентичность. Можно сказать, что они разделяют интересы одного класса, а можно – что они обладают одним классом интересов.

Пожалуй, можно даже говорить о чем-то вроде средовой или местозависимой концепции класса, где общность интересов хотя бы частично носит физический характер. Если место жительства когда-нибудь окажется избираемо исключительно сознательно и организовано по принципу «все включено», главным критерием выбора окажутся отличительные черты предлагаемого тем или иным кварталом образа жизни. Под «отличительными чертами» подразумеваются как сами люди и поддерживаемая в квартале общественная деятельность, так и физиономия самого места. Кажется полностью оправданным говорить о классе людей, предпочитающих деревенскую идиллию, о классе любителей обезличенного людского муравейника высоток или о тех, кому ближе буферная зона пригорода. Индивидуальные предпочтения – это амальгама удобств, желания найти себе подходящую компанию по вкусу и по интересам, а хорошие города и районы сами формируют и поддерживают разнообразные общины. Никакое идеальное, платоническое предпочтение – включая

описанные Джейкобс «кипящие улицы» – не может охватить реальных масштабов разнообразия: одним нравится жить в темном лесу, другим – среди белых стен. Желание – никогда не порок.

Другая причина особости поведения в таких местах, как Диснейленд и Файр-Айланд, – то, что мы рассматриваем их не просто как другое место, но как лучшее место. Каждый квартал является отличным по определению – то есть отличается от других районов. Но места отдыха имплицитно наделены ценными качествами, – раз уж некто специально уезжает в другое место, он уверен, что там все просто превосходно. Диснейленд как раз и кажется многим людям столь превосходным местом не просто из-за предлагаемых там увеселений, парадов и аттракционов, но и потому, что он предлагает, подобно Файр-Айланд, свое решение множества проблем, которые осаждают нас в «нормальной» жизни. В этом смысле истинные добродетели Диснейленда – не смех и радость, следствие множества развлечений, таких, как пешие прогулки, уличные артисты и шествия, уютный, «человечный» размер и тому подобное, составляющее, в сущности, обычный репертуар городской жизни. Скорее это фундаментальное отсутствие необходимости делать выбор, возникающее благодаря тщательному отсеиванию всего, что способно поколебать дозволенное поведение.

Сложности с поведением или с неукротимым нонконформизмом посторонних в Диснейленде (и в городах) отсекаются благодаря множеству фильтров: дорогой входной билет, контроль внешнего вида посетителей, неотступное наблюдение, численный перевес «добропорядочных» семейств и одержимость удовольствиями. Компания «Дисней» также является ведущим производителем чрезвычайно специфического вида развлечения, замешанного на ротозействе, и в нем соблюдаются чуть ли не пуританские ограничения – никакого секса, алкоголя, сквернословия и т. д. Исторические принципы студии Диснея – «дешево и сердито» – превалируют и в Диснейленде, определяя что-то вроде его конституции. Парк предлагает пассивность, способную доставлять удовольствие, территорию, где ответственность каждого человека сведена к минимуму: не мусорить, не лезть без очереди, и где хлопоты истинно политического участия отодвинуты в дальний угол. Диснейленд преобразует пространство повседневной жизни в место безудержных трат, запуская в нас наркотические механизмы отчуждения.

Но Диснейленд не добился бы такого огромного успеха, будь он просто мощной маркетинговой машиной шоу-бизнеса с

элементами культмассовых мероприятий. Гениальность Диснейленда, как уже отмечали многие наблюдатели, – в его урбанизме. Как нацию, нас очень огорчает то, что много удовольствий и еще больше коллективных чаяний городской жизни к нашему времени исчезли. Хотя Диснейленд изображает собой маленький городок, присущая ему плотность населения достижима только в наших крупнейших мегаполисах (только в рабочие часы, потому что на самом деле в нем никто не живет, и исчезновение всех «жителей» по ночам – часть очарования этого Зачарованного царства).

Диснейленд напрямую работает со множеством проблем, больше всего беспокоящих жителей крупных городов. Это место безопасно; и в том смысле, что оно буквально свободно от преступлений, и в том, что оно отфильтровывает, ценой и общепринятыми соглашениями, людей, потенциально могущих представлять опасность. Это место со всегда исправной инфраструктурой, где все что должно работать – работает. Оно безукоризненно чисто и безупречно упорядочено. И оно наполнено этосом утопии, тщательно разработанной репрезентации идеального общества. Это проявляется и в том, насколько выпячивается образ идеализированного, но очаровательного «маленького американского городка», и в том, до какой степени все здесь призвано обеспечивать всех универсальным счастьем, основывающемся на полном и – по большей мере пассивном – отдыхе: мир без трудов.

Упреки в адрес современной урбанистики в том, что она вся «диснеезирована», имеют под собой некоторые реальные основания. Не в последнюю очередь – стремление приспособить утопические идеи для коммерческих предприятий и подмена гражданственности потребительством. Отныне санкционированные развлечения производятся гигантскими корпорациями (Диснейленд стал образчиком глобализации, быстро гомогенизирующей планету), создающими замкнутые миры: голливудское кино, «Макдоналдс», «Кока-Кола», «Волмарт» и вся остальная инфраструктура международного капитализма. Нет никаких сомнений, что ее влияние подрывает само понятие «локальности», что семейные лавки уступают место сетевым магазинам, а накопление пространственных характеристик уничтожается на корню безжалостными императивами застройщиков и глобальных финансов. Дубай – это мир по Диснею.

Диснейленд – это еще и модель утраты прав на данной территории, место, слишком зависящее от многочисленной охраны, представляющее слишком мало возможностей истинного

выбора, слишком много пассивности – и демонстрирующее слишком хорошо различимую концентрацию власти и привилегий в частных руках. Даже Виллидж страдает от подобных неприятных симптомов. Местные предприниматели и старожилы вынуждены съезжать, не выдерживая роста цен, и на их место приходят сетевые магазины и яппи. И при общественно-частной модели общественных служб возникают свои собственные неровности и шероховатости. Восьмая улица, в течение долго времени выступавшая главной коммерческой магистралью Виллидж и некогда служившая сценой разнообразной розничной торговли, оказалась заполонена дешевыми обувными магазинами, продающими один и тот же товар, большей частью предназначенный совсем не для местных жителей. Позднее, впрочем, эти магазины пришли в упадок, будучи не в состоянии тягаться с общенациональными сетями, открывшими свои точки на Бродвее и на Дамской миле.

Несколько лет назад, стремясь улучшить положение на Восьмой улице, местные торговцы сформировали РРБ, «район развития бизнеса».[47] Такие распространившиеся по городу РРБ – существующие на собственные взносы частные организации, удовлетворяющие общественные нужды. В случае с Восьмой улицей – это починка тротуаров, высаживание деревьев, новые уличные фонари и скамейки и другое подобное развитие. РРБ также нанимает целую команду работников, которые, обряженные в красные комбинезоны, метут тротуары и опустошают урны. Хотя никто не подвергает сомнению благотворность подобных мер, а наш РРБ не вовлечен до такой степени в преследование и злоупотребления в отношении бездомных, как печально этим прославившийся РРБ, действующий в районе Центрального вокзала, все равно он знаменует собой упадок в публичной сфере.

РРБ и многие другие частные организации, озабоченные улучшениями в гражданской сфере, такие, как Общество охраны Центрального парка,[48] сосредоточены исключительно в местах процветания, где бизнес сам заинтересован в подобных формациях, существующих на добровольные взносы. Можно возразить, что Центральный парк – это общее достояние всех жителей Нью-Йорка, но справедливо и то, что окружен он самой дорогой недвижимостью в городе, стоимость которой сильно возрастает от близости к парку. Так что речь идет не о благотворительности, не об объединении усилий местных жителей, направленных на то, чтобы улучшить окружающую среду, а скорее о косвенной прибыли от такого гражданского улучшения. Подтверждение тому – небрежение к торговым улицам в более бедных кварталах и относительная нехватка

средств в других городских парках. Когда правительство уклоняется от своей выравнивающей функции, от своей особой роли по отношению к нуждающимся, и начинает действовать таким образом, что лишь усиливает неравенство, – это приводит к появлению еще одной формы зонирования.

Америку часто называют «общественно-частным партнерством», и она действительно таковым является. Демократия – это непрерывная работа по поддержанию в равновесии используемых средств и получаемого результата. В наши дни этот конструкт используется для того, чтобы оправдать усыхание общественной части этого договора и все большее усиление – даже не нашей индивидуальной частной жизни, но прав больших денег. Заслышав эту сентенцию, я хватаюсь за револьвер.

Блок

Спустившись с крыльца, я сталкиваюсь с моим первым за день выбором: направо или налево. На протяжении двадцати четырех лет, с тех пор как я завел себе рабочий кабинет на расстоянии пешей прогулки, я чаще выбирал лево, хотя оба направления имеют свои приятные стороны и расстояние в обоих случая практически одинаково. Правый поворот выведет меня к газетному киоску, где я смогу перекинуться парой дружественных слов с его владельцем-пакистанцем, который продаст мне мою «Таймс», а потом поведет через Вест-Виллидж с его занятными улицами и вычурной геометрией. Недостатком этого маршрута является то, что мне придется забраться достаточно далеко и идти или по Седьмой авеню, или по Хадсон-стрит, а обе они забиты машинами и не слишком-то привлекательны.

Левый поворот предоставляет более широкий и любопытный спектр вариантов, более пористую структуру улиц и, несмотря на сетку плана 1811 года, дает больше возможностей срезáть углы и двигаться ломаными линиями. А еще этот выбор дает мне возможность притормозить в кафе, где вот уже несколько десятилетий собирается одна и та же компания завсегдатаев – в которую и я вхожу запасным игроком. Маршрут, открывающийся вместе с левым поворотом, ведет меня мимо множества разнообразных мест: магазинов, парков, углов и фасадов домов, где живут мои друзья, которые и образуют культуру района, позволяют отрегулировать производимые обмены и дают возможность описать и уточнить целую сеть человеческих взаимоотношений, привязывающих меня к этому месту.

Прокладывать путь в Даунтаун – значит постоянно делать выбор, определяемый переменчивыми прихотями: скоростью движения, разнообразием точек, представляющих для меня в данный момент особый интерес, тем, какая сторона улицы солнечная, а какая теневая, и многими другими факторами. Я стараюсь придать моему пешему ходу концептуальности, воображая себе маршрут с высоты птичьего полета как последовательность промежуточных точек и векторов. Так, тихий квартал дает возможность широкой, эффектной диагонали через улицу, хоть ее и омрачают машины, слишком тесно припаркованные вдоль тротуара. Время года тоже немаловажно: выбор летнего маршрута сильно зависит от матрицы решений, позволяющих передвигаться по более затененной восточной стороне, а не по западной – более богатой возможными событиями, но бедной на деревья.

Прогулка неизбежно приобретает характер повествования. Мерный шаг настраивает на то, чтобы мыслить последовательно. Такой тип ментальной упорядоченности имеет самых разных исторических предшественников: от школы перипатетиков[49] в Древней Греции до Киотской философской школы в межвоенной Японии, от ежедневных методичных прогулок Канта, по которым соседи сверяли часы, до роскошных странствий английских романтиков по Озерному краю. Пешая прогулка не зря считается многими чем-то бóльшим, чем просто перемещением от точки до точки. Вы словно проникаете в строй мыслей других пешеходов. Порою мне приходит на ум Альберт Шпеер, ходящий кругами по прогулочному дворику тюрьмы Шпандау и воображающий себе, что он гуляет по всему миру, чтобы отвлечься от унылой действительности и заглушить память о своих преступлениях. Порою улица, по которой я прохожу, вызывает в памяти другую, по которой я ходил раньше: Макдугал-стрит напоминает мне о рю Муфтар,[50] по которой я любил гулять во время моего недолгого жительства в Париже.

Технология невероятно усилила взаимосвязь между движением и восприятием. О революционизирующем воздействии кинематографа на создание повседневного визуального нарратива написано уже очень много. Один из шедевров раннего кино, «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова, завораживал зрителей в 1929 году своей демонстрацией повседневных действий от рассвета до заката в современном городе, Москве, с точки зрения наблюдателя, проносящегося через разворачивающиеся сценки. «Я – киноглаз. Я – глаз механический. Я, машина, показываю вам мир таким, каким только я его смогу увидеть», – писал Вертов,[51] утверждая в полемическом запале, что кино совершило революцию восприятия, открывая мир заново, подобно микроскопу и телескопу.

Среди новшеств, предложенных кино, – монтаж, способность создавать смыслы через тщательно подобранное сочетание форм, мест, движений и событий. «Человек с киноаппаратом» полон ассоциативных склеек – глаз мигает и ставни распахиваются, кто-то моет голову и кто-то стирает белье, счастливая пара входит в ЗАГС, чтобы жениться, – грустная пара входит разводиться. Тем самым демонстрируется целый набор стратегий производства новых смыслов через визуальные соединения. Пионер теории монтажа – современник Вертова Лев Кулешов, создатель «креативной географии», при которой планы, снятые в разное время и в разных местах, монтируются так, что создается ощущение пространственной и временнóй последовательности.

Он продемонстрировал это в своем знаменитом «географическом эксперименте»: съемка человека, поднимающегося по ступенькам в московскую церковь, комбинируется с архивными съемками в Вашингтоне – и создается впечатление, что человек входит в Белый дом.[52]

Кинематографическая «креативная география» – симптоматическое проявление целого комплекса технологий и событий, коренным образом изменивших и то, как мы «читаем» город, и то, как он строится. Она служит мостом к идее психогеографии, к пониманию разрыва между ментальной картой города, которую каждый из нас носит с собой, прилаживаясь к нему, и физической картой, с точными физическими размерами и исчерпывающими характеристиками. Еще это предвосхищает свободу монтажа, которую нарастающая глобализация культуры допускает или предполагает. Всего несколько блоков Макдугал-стрит способны предложить французскую, турецкую, итальянскую, японскую, тайскую, китайскую, израильскую кухни, и все эти рестораны (включая вегетарианские) демонстрируют именно такую культурную подвижность. Диснеевская модель, монтирующая эрзац-версии рейнских замков, маленьких американских городков, Дикого Запада, пиратских Карибов и нашего старого приятеля – города будущего, доводит эту тенденцию до крайности, отказываясь от общепринятой идеи градостроения как составления объемов во имя креативной географии смонтированных симулякров, входящих в узкий мультинациональный набор.

Передвижение пешком – это не только возможность для наблюдений, но и аналитический инструмент. Как особый способ существования в городе чаще имеет место бесцельная прогулка – пеший ход, сознательно избавленный от необходимости прийти в определенную точку, еще один плод современности. Вальтер Беньямин много писал о типаже, сформировавшемся уже в первой половине XIX века, «фланере» или праздном гуляке, на что его во многом сподвигло чтение Шарля Бодлера, великого поэта перестроенного Парижа, гения толпы, равно как и чтение обширной литературы, посвященной описанию нового типа уличной жизни. Одна из причин, по которой подобное поведение так сильно ассоциировалось с Парижем, состояла в том, что в этом городе вот-вот должен был возникнуть новый тип улиц, большие бульвары, пробитые сквозь него легендарным префектом, бароном Османом. Хотя подобная система широких авеню, центральная для барокко, была известна и до Османа (например, ланфановский план застройки Вашингтона), именно

прокладка парижских бульваров совпала по времени с целым рядом других феноменов, переопределивших формальные и социальные отношения в городе.

Flâneur, «фланер» – это мужчина (женщина-«фланерка» просто невозможна, и о том, как трудно быть женщиной в городе «самой по себе», написано немало – достаточно вспомнить сам термин «уличная женщина»), которого можно назвать человеком толпы, который гулял для собственного удовольствия, отражая в этом бесцельном времяпровождении высокую степень отчужденности (психическое состояние, более всего присущее современной эпохе), и стремился лишь наблюдать. Его интересовали в равной степени люди и предметы, а одной из самых увлекательных задач для фланера было примечать аксессуары и ухищрения моды (вид деятельности, который в буквальном смысле создал почву для участия женщин в одомашнивании города – через шопинг). Все это стало возможным благодаря анонимности толпы, возникшей на только что расширенных тротуарах Парижа, в среде, где товары и люди оказались представлены одинаково широко: в модных лавках (бутиках), кафе, экипажах и на улицах, ставших подмостками для достигшей своего расцвета буржуазии XIX века.

Практика фланерства дошла до наших дней – и как часть нашего собственного чувственного багажа, и в более выраженном аналитическом виде. С конца 1950-х годов и до 1970-х энергичная, настырная, часто шутовская группа активистов действовала в основном в Париже, под флагом «ситуационизма». Ситуационисты, путь которым освещал их теоретический светоч Ги Дебор (вдохновляемый, в свою очередь, Анри Левефром и его исторической работой о «социальном созидании пространства», а также ежедневной политической практикой), преуспели в критике общества и представляли свое движение как «аккумуляцию спектаклей» – комплекс «симуляций», в которых время и пространство все больше и больше «отоваривались». Ситуационисты многим обязаны Марксу – и Карлу, и Граучо в равной степени, они охотно устраивали фестивалеподобные сборища и синтезировали пылкие лозунги. Еще они практиковали прогулки особого урбанистически-аналитического рода, dérive, то есть «дрейф», которые Дебор описывал как «технику быстрого перемещения сквозь разнообразные среды. Дрейфы содержат в себе игровое и конструктивное поведение, а также знание психогеографических эффектов и потому отличаются от общепринятых понятий путешествия или прогулки».[53]

«В период дрейфа, – как ни в чем не бывало поясняет Дебор, – одна или несколько личностей на определенный период времени

прекращают все отношения, бросают работу и прочую деятельность, теряют стимулы для активного существования. В это время субъект любуется окружающей местностью и наслаждается случайными встречами. При этом фактор случая играет не такую большую роль, как может показаться: с точки зрения дрейфа города обладают психогеографическими очертаниями с постоянными потоками, с исходными точками и завихрениями, которые сильно препятствуют входу в определенные зоны или выходу из них». Дебор причудливо формализует практику дрейфов, настаивая, что их лучше совершать в малых группах, что они должны занимать полный день и что затяжные дожди (а не какие-либо еще помехи) делают их практически неосуществимыми.

Подобно другим техникам наблюдения в современной художественной реальности, dérive – это попытка вытянуть нечто оформленное из бессознательного, прояснить ускользающие аспекты повседневности. Множество современных авангардистов старались раскрепостить творческий потенциал бессознательного, освобождая его от подавления, и dérive занял свое место, наряду со свободными ассоциациями сюрреализма, хипповским употреблением ЛСД и кинематографическим монтажом, в ряду тактик по преодолению раз и навсегда заданного набора идей логики и порядка. И подобно самому психоанализу, идея психогеографии, техническим инструментом которой иронично провозглашается «дрейф», представляет собой новый дискурс систематизированного изучения объекта, новый путь конституирования его.

Другой мыслитель, оказавший огромное влияние на Дебора, пионер французской социальной урбанистики Поль-Анри Шомбер де Лове, заметил в 1952 году, что «область города зависит не только от географических и экономических факторов, но и от представлений, которые существуют у жителей этой области и у их соседей».[54] Современник Анри Лефевра, Шомбер де Лове построил ряд диаграмм перемещений, чтобы изучить то, каким образом отдельные личности создают персональные «версии города», пропуская его через фильтры своих ежедневных маршрутов. Позднее идея «индивидуальной географии» была существенно расширена американским урбанистом Кевином Линчем, который для своей книги 1960 года «Образ города» попросил множество людей создать вербальную или визуальную карту собственного района. Карты эти представляли образы одного и того же места, разительно отличающиеся друг от друга: вариативность расстояний, порядка расположения объектов, приметных точек, настроений и значений была просто огромной.

Подобное же прочтение получает пешая прогулка в книге 1984 года французского философа-иезуита Мишеля де Серто «Изобретение повседневности»,[55] в которую он включает главу о «городских прогулках». В выборах и предпочтениях, находящих свое выражение в том, как люди бродят по городу пешком, Серто вычленяет набор «прогулочных риторических фигур», «повседневных практик». «Жизнь горожан протекает на земле, ниже порога обозримости, – пишет Серто. – Тела этих пешеходов, Wandersmänner,[56] следуя всем изгибам городского “текста”, записывают его, но неспособны прочесть; познают город вслепую (словно любовники – свои тела)».[57] Рассуждая о «пешеходных речевых актах», Серто текстуализирует пешую прогулку и другие ежедневные действия, ставит их в широкие теоретические рамки целого дня, подготавливая тем самым текстуальные и философские инструменты для городских нужд, и поэтому его книга вот уже давно пользуется особенной любовью в среде bien-pensant[58] урбанистов.

Каждый из нас создает свою собственную личную карту и обновляет ее всякий раз, выходя из дому. Эти карты определяют не только то, что мы чувствуем по отношению к городу, но и нашу способность в прямом смысле слова взаимодействовать с ним. В недавней статье в «Таймс» рассказывается: сканирование головного мозга водителей «черных кэбов», то есть лондонских таксистов, вынужденных разбираться в обширной и запутанной сети городских улиц, показало, что задняя часть гиппокампа – отдела головного мозга, в котором хранится пространственная информация, – не просто больше, чем у простых людей, но ее размер прямо пропорционален трудовому стажу данного таксиста. В отличие от нью-йоркских таксистов, как правило недавних иммигрантов, чье легендарное незнание города породило знаменитую мантру «дорогу покажете?», претенденты на работу таксиста в Лондоне обязаны первым делом пройти жесткий тренинг, известный просто как «познание» (the knowledge). Проходящих этот курс регулярно можно встретить на улицах Лондона верхом на мотороллерах – они постоянно сверяются с заламинированными картами, чтобы запутанные лондонские улочки отложились у них в памяти.

Мой собственный опыт проживания в Виллидж показывает, что буквально все, кого я здесь знаю, вне зависимости от того, насколько долго они здесь живут, не в состоянии показать дорогу в той части Вест-Виллилдж, где уличная сетка теряет регулярность. Выучить эту относительно небольшую территорию – это лишь малая толика того, что приходится запоминать лондонскому таксисту, и это не должно, по крайней мере

теоретически, представлять непосильную задачу. Моя теория заключается в том, что жители Виллидж сознательно отказываются от досконального знания, чтобы сохранить возможность слегка потеряться. Ведь одно из величайших удовольствий городской жизни – открывать для себя незнакомые места, дающие шанс случайной встречи. Слишком подробное знание исключает такую возможность. Мы чертим карту Виллидж более запутанной и большей по размеру, чем он есть на самом деле, чтобы укрепить его ауру и расширить его возможности. Нам нравится отправляться на поиск сокровищ.

Существует множество городов, куда больше похожих на лабиринт, чем Нью-Йорк, – таких, где четкая привязка к месту дается не геометрически, а относительно той или иной приметной достопримечательности, железнодорожной станции или главной дороги. Лондон – одно из подобных мест, Токио – другое. Нет такого лондонца, у которого не было бы личного «От А до Я» («A to Z») – городского атласа с алфавитным указателем улиц, привязанных к координатной сетке. В Токио не считается чем-то необычным послать по имейлу перед предполагаемым визитом карту с указаниями, как добраться от ближайшей станции. Распространение GPS-навигаторов сильно облегчило прокладывание маршрутов благодаря меткам в реальном времени. Но и GPS, и предшествовавшие ему более примитивные MapQuest исходят из идеи, что существует единственный правильный путь. А их отрицательный побочный эффект заключается в том, что отныне все знают, где вы находитесь, и вы никогда не слезаете с крючка власть имущих.

Вспоминая свое берлинское детство, Вальтер Беньямин писал: «Не найти дорогу в городе – невеликая премудрость. А вот заблудиться в городе, как в лесу, – тут требуется выучка».[59] Dérive, преобразуя движение по городу в состояние вечной неопределенности, представляет собой пример такой «выучки» в умении потеряться. Поэтому настоящему жителю Виллидж всегда не хватает нескольких улиц для полной картины – таким образом он оставляет возможность затеряться и, более того, сам ищет сюрпризы и открытия, усиливая способность города предлагать неожиданные удовольствия. Заявление Беньямина подновляет заезженную аналогию города и природы – уподобление, еще усиленное его знаменитым определением фланера как «ботаника на асфальте». Но природа – это не только сады и величавые рощи. «Каменные джунгли» несут менее ласкающие слух коннотации. Это место, где всякий случай – несчастный, а перспектива потеряться – пугающа. (Работы Дэвида Линча наполняют этот страх потеряться томительным

беспокойством.)

Современный город вырабатывает свой собственный страх потеряться, укорененный в особой форме отчуждения. Толпа, хоть она и может защищать, выступает также инструментом стирания личности и гомогенизации опыта, заставляя нас исчезнуть. Индустриальный город заменил старую парадигму пространственной неразберихи, головоломки лабиринтов, бесконечным морем регулярности, пространством, где все дома и улицы выглядят одинаково. Такова стандартная жалоба на современное городское планирование: дескать, невозможно отличить один жилой блок от другого! Среда просто воспроизводит самое себя снова и снова. Я слышал эти жалобы в Шанхае, Гаване и Нью-Йорке, и этот подход реализуется в разнообразных вариантах, от самого жесткого – проект исправительного учреждения – до более мягких пригородных версий, с бесконечным числом промежуточных стадий. Излюбленная антиутопия наших дней приобрела глобальный размах, одни и те же небоскребы и «Старбаксы» – в Абу-Даби, Куала-Лумпуре и Лондоне, одни и те же жилые пригороды – в Лос-Анджелесе, Алма-Ате и Пекине.

Ни в чем эта идеологическая геометрия не нашла такого полного воплощения, как в господстве правильной сетки в качестве инструмента организации пространства. Основанная на трех осях координат евклидовой геометрии, сетка чрезвычайно удобна в качестве измерительного инструмента, эффективного средства описания мира, организуемого посредством приращения собственности, – и в качестве символа «рационального» самого по себе. Это инструмент, посредством которого организован практически любой город Америки, и, в сущности, он выступил способом упорядочивания самой страны, – достаточно вспомнить знаменитую «континентальную сетку», проложенную на всей совокупности западных приращений территории США Томасом Джефферсоном. Эта континентальная сетка, возможно, величайшее произведение «лэнд-арта» всех времен – видна со всей неопровержимой четкостью с воздуха на тысячи миль.[60]

Несмотря на свой картезианский рационализм, сетка – это еще и паттерн колониальной трансформации. Не случайно ее тысячелетиями использовали завоеватели. В США она стала проводником идеи частной собственности, средством покорения и развращения чуждого местного населения и никому не принадлежащих ландшафтов. Она также выступила инструментом испанских колонизаторов (и их знаменитых Законов Индий), для которых основанная на кресте символика христианских миссий стала дополнительной статьей экспорта.

Сетка, без сомнения, одурачила индейцев, которые с трудом постигали идею подобного владения.

Внедренная в 1811 году система блоков и земельных участков выросла из ранней версии того, что сейчас нам известно как «девелопмент» – эффективная организация собственности, логично нарезанной таким образом, что размеры каждого участка отвечали преобладавшей архитектуре того времени. Эта архитектура подразумевала, что здания относительно невелики по размеру, что некоторое количество прилегающей земли будет использоваться для скромных огородных нужд, для обеспечения доступа солнечных лучей и свежего воздуха, в качестве буферной территории, отделяющей от соседа, и как миниатюрное «поместье» хозяина. Главное же достоинство блоков, организованных по сетке, – следствие их универсальности. Сам подход заключался в том, что предназначение сетки – выступать инструментом укрощения, упорядочивания природы и приспособления ее к нуждам человеческого общежития. Сетка просто накладывалась поверх существующей топографии, которая или сглаживалась, как в большей части Манхэттена (чье название предположительно происходит от алгонкинского «земля холмов»), или же сопротивлялась, причиняя огромные неудобства. Сравните, например, следующий рельефу план города в итальянских холмах с сеткой Сан-Франциско. Последняя наложена поверх холмистой территории без какого бы то ни было учета реального рельефа, что приводит к порою очаровательным, порою абсурдным коллизиям, серьезно осложняя доступность тех или иных мест для кого бы то ни было, кроме настоящих атлетов.

Несмотря на привязку к основным точкам, картезианская сетка слабо функционально связана с наиважнейшим жизненным устройством всей планеты: солнцем. Устанавливая буквальное и концептуальное равенство всех четырех сторон блока, вне зависимости от географической широты и климата, сетка создает четыре разных набора условий для домов, стоящих вдоль линий блока, этой сеткой создаваемого. В любом заданном месте предпочтительна будет та ориентация, что позволяет контролировать доступность прямых солнечных лучей, делая ее максимальной (или минимальной) в течение дня. Но на самом деле ситуация еще сложнее. Нельзя сказать, что архитектурное сооружение автоматически становится лучше или хуже в зависимости от того, на какой стороне блока оно возведено. Те, что стоят в ряду смежных домов, имеют передние и задние фасады, а отдельно стоящие здания могут открываться на все четыре стороны. Дома могут различаться по высоте, расположению комнат, по периметру и должны (хотя в нью-

йоркском законе о зонировании об этом ничего не говорится) сосредотачиваться внутри своего блока, чтобы по максимуму обеспечить доступ солнечных лучей на наибольшей площади внутри каждого здания, – своего рода «солнечный утилитаризм».

Сказав это важно, однако, добавить, что мысль о дневном свете не должна сковывать архитектуру (как это наблюдается во многих модернистских схемах, вроде маниакально зарегламентированных предложений влиятельного Людвига Хильберзаймера). Желательные уровни освещения меняются не только в зависимости от вида деятельности – художники предпочитают ровный, не дающий блика северный свет, а стремление избежать послеполуденного солнца исключает также возможность следить за багрянцем заката, – но и от климата к климату, от сезона к сезону. А еще же важны вопросы вкуса. Людей, испытывающих влечение к темному времени суток, не оставит равнодушными разнообразие иллюминации наших зданий. Подобно многим другим аспектам городского дизайна, свет может быть доступен в разных видах и может зависеть от разных контролирующих факторов. Но все зациклены на его доступности.

Одной из инноваций современного урбанизма стали суперблоки, намного бóльшие структурные единицы, чем традиционные городские блоки, включающие в себя такие элементы, как жилые дома, школы, магазины и спортивные площадки. Отчасти логика заключалась в том, чтобы освободить архитектурные формы от тирании периметра, позволяя им беспрепятственно ловить солнечные лучи и преобладающие ветры. Суперблоки проектировались так, чтобы создавать защищенное пространство для детей и пешеходов, направляя потоки машин в объезд, по внешнему периметру такого суперблока. Но с точки зрения оживленности улицы, этого тигля и главной артерии городской жизни, а также с точки зрения соседской общности, основополагающего фундамента местной городской политики и самоидентификации, суперблок нес в себе непоправимые врожденные дефекты.

Захваченный «эффективной организацией» и отравленный бесчувственной ясностью организационных схем, модернистский урбанизм оказался пропитан своего рода идеализацией роста городов. Суперблоки часто выступали в качестве морфологических инструментов тех «соседских единиц», о которых шла речь выше. Из них составлялись более крупные единицы – агломерации, организованные вокруг собственных центров, связанные скоростными шоссе и прочими инфраструктурными элементами в «суперсетку». Подобные схемы

выступают перспективными формулами гомогенности. И в то же время препятствуют возможности возникновения и выражения различий, душат перспективу самоорганизации – всего того, что образует самую сердцевину общинной жизни.

Соединив в себе особое предубеждение модернизма к отдельно стоящим «на природе» зданиям и его странный единодушный порыв, направленный против улиц – к которым Ле Корбюзье питал враждебность столь яростную, что она может быть объяснена лишь психоаналитиком, – суперблок стал превалирующим способом разрастания урбанистически организованного пространства. Его влияние можно проследить как в очертаниях многочисленных коттеджных поселков, так и в городах, построенных «в чистом поле», таких, как Бразилиа и Чандигар. Точно так же идея отдельного размещения офисных зданий на плазах возникла скорее из-за фиксации на автономности отдельных зданий, чем благодаря обсуждению их места в сложной мегаструктуре традиционного блока. Противоречие между идеями непрерывной уличной стены и отдельно стоящего здания положило начало дебатам о том, какую форму должен иметь хороший город, затянувшимся более чем на пятьдесят лет, и общепринятое мнение Нью-Йорка определенно качнулась ныне в «традиционную» сторону. Когда я учился в архитектурной школе, шло много разговоров о зданиях «переднего плана» и «заднего плана», причем разговоры эти велись в контексте буквального следования всем принципам модернистского планирования. В наши дни подобное различение часто служит для традиционалистов косвенным способом лишний раз высмеять чрезмерную артистичность поносимых ими «стархитекторов», архитекторов-звезд.

Значительная часть современной истории того, как Нью-Йорк обретал свою физическую форму, – это результат споров о свете и воздухе. Строительные законы и вводимые ими гарантии минимального доступа устанавливали регулирующие стандарты, которые отстаивали обеспеченность окнами и вентиляцией, комната за комнатой, в жилых сооружениях. К сожалению, большинство этих минимальных требований не применялись к коммерческой архитектуре. В европейских странах сейчас имеются регулирующие законы, устанавливающие стандарты по свету и воздуху на рабочем месте и требующие, чтобы каждый работник находился недалеко от окна, но в США нет ничего подобного (хотя многие сообщества в настоящее время работают над выработкой и внедрением «зеленых кодов»). Наши офисные здания по-прежнему сооружаются, исходя из «потребности» максимальной прибыли и размещения больших бюрократических

структур в смежных пространствах. «Эффективный» поэтажный план типичного американского офисного здания, таким образом, чрезвычайно раздут. Как правило, по периметру кольцом расположены внешние офисы, снабженные окнами и предназначенные для привилегированных сотрудников, а внутри находится лабиринт лишенных окон клетушек-кубиков для работников низшего статуса. Исторически повелось, что это женщины.

Еще более существенным для макрофизики города, чем доступ солнца к внутренним помещениям, является набор постановлений, регулирующих доступ солнечного света к пространству снаружи зданий. Толчком к его принятию послужило, в частности, возведение в 1915 году в нижнем Манхэттене Эквитебл-Билдинг.[61] Вознесшееся на 540 футов от тротуара на южной стороне Сидер-стрит, это здание стало одним из самых высоких в Нью-Йорке, и со дня завершения строительства оно возбуждает широкое недовольство из-за того, что целый блок к северу от него оказался погружен в вечную тень, а улица лишилась дневного света. Зародившийся в этот момент конфликт между частными и общественными интересами привел к принятию закона 1916 года о зонировании, который, казалось, решил проблему, введя регулирование размера и формы зданий.

Для того чтобы обеспечить проникновение солнечных лучей на общедоступные улицы, закон ввел определение «габаритов» – мысленного прямоугольника над данным участком земли, «внутри» которого башня может быть законным образом построена. Это ограничение сформулировало ряд «отступов», своих для каждой высоты. Здания стали строиться тем у́же, чем они выше; угол, определяемый этими отступами, высчитывался в соответствии с позицией солнца, и законом была предложена формула, продолжающая лежать в основе современных правил зонирования. В основание этой формулы положена ширина улицы перед возводимым зданием, так что более просторная улица способна «вынести» более высокий небоскреб (или первый отступ на большей высоте), а более узкая – более низкий.

Эффект от принятия закона оказался примечательным, прямо-таки гальванизирующим. Именно благодаря ему ступенчатые «свадебные торты» сделались превалирующим типом высотных зданий Нью-Йорка вплоть до 1961 года, когда восторжествовала новая парадигма: глыба, возносящаяся вертикально вверх позади открытой площади. С точки зрения архитектуры законы 1916 года примечательны тем, что в них удалось вывести логичную формулу того, как можно соблюсти общественные интересы, не зная при этом в точности, что́ именно

будет построено. К счастью, архитектурное сообщество, в первую очередь великий Хью Феррис, автор целого ряда влиятельных (и поразительных) исследований того, как на практике могут выглядеть словесно определенные «габариты», оказалось вдохновлено внутренней логикой этих накладываемых внешних ограничений и принялось проектировать и строить здания, составившие один из самых примечательных архитектурных ансамблей в истории.

Несмотря на то что из нашей квартиры открывается вид на целый ряд домов, чья форма точно соответствует законодательству, закон о зонировании не возымел непосредственного эффекта на блок как таковой. В нашем блоке – двадцать три дома (включая те, чьи главные входы смотрят на две ограничивающие его улицы с каждой стороны). В их числе – семь квартирных домов, десять частных домов (большинство из которых сейчас разделены на квартиры), два относительно низких квартирных дома с лифтами, небольшая гостиница, пользующаяся особой популярностью у зарубежных туристов, большая аптечно-мелочная лавка[62] со входом со стороны Шестой авеню и гораздо бóльший квартирный дом, выходящий фасадом на Вашингтон-сквер. Коммерция, согласно закону о зонировании, ограничивается здесь химчисткой, гостиницей с рестораном (с отдельным входом с улицы) и одной из самых изысканных городских едален – «Баббо» (Babbo Ristorante), наследником легендарного «Коуч-хауз». Это место в старинном стиле, с легким южным привкусом, отмеченное у Джеймса Бирда, [63] приметное благодаря ягнячьим отбивным и фасолевому супу, которые подает целый взвод пожилых чернокожих официантов.

Блок, в который встроена «Аннабель Ли», на востоке ограничен Макдугал-стрит (в этом месте она выступает западной границей Вашингтон-сквер и носит соответствующее название), а на западе – Шестой авеню. Эта авеню отделяет древнейшую, сложившуюся еще до провозглашения независимости, часть Виллидж от территории, получившей развитие несколько позже. Позаимствовавшая название у английского Гринвича отдельно стоящая деревня представляла собой скопление ферм и летних домов городской элиты, использовавшей их также для того, чтобы пересидеть городские эпидемии. В годы, последовавшие за эпидемией желтой лихорадки, унесшей в 1798 году жизни 1310 жителей, территория, известная нынче как Вашингтон-сквер, использовалась для захоронений – подальше от городских пределов.[64] После еще одной эпидемии, в 1822 году, многие из тех, кто «сбежал» из изначального голландского поселения на

северо-восток острова лишь на время, решили просто остаться здесь, и вскоре после этого Виллидж был включен в городскую черту. Городская планировка и Нового Амстердама, и Гринвича оставались средневековыми: нерегулярная сеть улиц, пересекающихся под неожиданными углами и создающих не похожие друг на друга блоки. Позднейшие кварталы уже пристраивались по планам, в основу которых были заложены прямоугольные сетки. Несколько таких кварталов сцеплялись в единый конгломерат наползающих друг на друга сеток – это характерная черта раннего периода развития Нью-Йорка.

В городе, организованном по сетке, блок приобретает особое значение как в физическом, так и в политическом и социальном планах. Со времен древних греков демократия имела пространственное измерение и, более того, линейный масштаб. В «Политике» Аристотель описывал размеры агоры, основополагающего элемента афинской демократии, как дистанцию, на которой может быть услышан человеческий крик. Это примерно расстояние одного современного городского блока. Платон считал, что полис, ячейка демократического общества, должен объединять пятьсот граждан. Подсчитав дома, непосредственно входящие в наш блок, я могу предположить, что число их постоянных обитателей как раз составляет платоновские пять сотен – размер, чрезвычайно подходящий для сообщества, пытающегося самовыразиться в ходе непосредственных встреч. Существует, однако, очевидная разница между таким видом рационального урбанизма, в котором размеры и численные значения определяются возможностями непосредственного участия, и «научным подходом», где числа – средство контроля.

Если вспомнить о том, в каком огромном городе мы живем, не говоря уж о все увеличивающемся количестве государственных и полугосударственных структур, с которыми мы связаны, важность любого отдельно взятого числа кажется иллюзорной. Но все-таки без этого внятного инструмента местной идентичности и без его ясной связи с большей сетью, определяющей наше чувство соседства, риск отчуждения и отстранения заметно возрастает. Хотя оценка этого предмета в современной политической теории колеблется от «нерелевантной» до «основополагающей», сам подход «лицом к лицу» как движитель коллективной демократии не подлежит обсуждению, а то и просто рассматривается как ее последний бастион в нашем мире, где политические связи все более и более виртуализуются. Блок, в своей пространственной определенности и очерченности, – наиважнейший, ключевой компонент и, в большинстве городов, – базовый орган соседского сообщества, сам по себе являющийся фундаментом, на котором

покоится городская жизнь как единое целое.

Неудивительно, что большинство политических и общественных организаций Нью-Йорка действуют на уровне блока – и мириады таких «блочных» ассоциаций взаимодействуют на разных уровнях местного активизма и выстраивают стратегические альянсы с другими блоками. Наша ассоциация, чьи собрания носят спорадический характер, выступает проводником политической цепи, посредником, обеспечивающим взаимодействие с другими соседскими институциями, включая местный совет, местных политиков, полицию, государственные агентства, а также с группами, созданными для решения более узких задач, таких, как охрана памятников, парков или социальные вопросы. Группы, с которыми взаимодействуем мы, конечно, сильно разнятся по значимости и влиянию; в данный момент «Общество Гринвич-Виллидж по сохранению исторического наследия» (Greenwich Village Society for Historic Preservation, GVSHP) благодаря своей сильной и четко выраженной лидирующей позиции играет особую роль в дебатах, касающихся будущности нашего района. Конечно, наши блочные ассоциации не совсем на уровне, скажем, кубинских Домовых комитетов по защите революции, но имеют перед ними то преимущество, что являются выборными, спонтанными и созданными для свободного обмена мнениями, а не для того, чтобы обеспечивать выполнение разнообразных запретов или наблюдать за соседями. Последнее – критически важно. В ситуации чрезмерно централизованной власти (еще усилившейся с началом «Войны с террором») и все более и более хищнического капитала местное сопротивление – последний рубеж гражданской защиты против тех глобальных процессов, что определяют нашу повседневную жизнь.

Блочные ассоциации обычно создаются не на основе «прямоугольных» блоков, то есть ограниченных двумя парами параллельных улиц, а на основе «уличных» блоков, так что дома на противоположных сторонах улицы объединяются, хоть они и принадлежат к разным «прямоугольникам». Это еще одно наглядное проявление принципа «лицом к лицу». Соседские чувства возникают благодаря прямому контакту, зримости, непосредственному опыту. Мы гораздо охотнее поприветствуем того, кто живет на нашей улице, чем того, кто живет с другой стороны нашего блока, нам проще вспомнить, где живет тот или иной из наших соседей, если мы видим их выходящими каждое утро из дома. Так что организующая логика, основанная на непосредственном опыте, перевешивает ту, что основывается на правах собственности. Прямая демократия домовых комитетов,

кооперативных советов и блочных ассоциаций осуществляется на таком домашнем, интимном уровне, что не нуждается в представительстве.

Ничто так не символизирует блочную культуру, как блочный праздник. Раз в год блок закрывается для автомобильного движения, и машины в нем заменяются разнообразной едой и народными промыслами. Улица приобретает праздничный, оживленный вид, привлекая людей в количестве, достаточном, чтобы создать толпу. Это вынуждает их двигаться по тротуарам и проезжей части неспешно, а кое-где и вовсе создавая заторы. Конечно, по совести говоря, нынешняя версия блочного праздника – не более чем бледная копия того, каким он был задуман изначально, и отражает превращение как сцены, так и самого формата общественной жизни в шопинг. В наши дни большинство из тех, кто продает бонсаи и фунтики с попкорном, – это ярмарочные продавцы, перемещающиеся в течение лета с одного блочного праздника на другой. Но осталось и несколько местных жителей, например, наши соседи со второго этажа, которые продают старинные вещицы как на ярмарке, так и на разнообразных местных блошиных рынках.

Очевидная важность таких ярмарок – не только в том, что благодаря им возникает чувство сопричастности, совместного проживания, но и в том, что улицы сами по себе начинают использоваться «неправильно». Все нарастающий коммерческий характер блочных праздников не в состоянии заслонить то, что они ритуально отстаивают право общественного владения пространством, которое в повседневной жизни служит лишь для проезда колесного транспорта. Улицы – наибольшая городская территория, находящая в руках общества. В Нью-Йорке они составляют примерно 15 процентов от общей площади города, не считая тротуаров. Такая диспропорция не лишена смысла. Эффективность передвижения критически важна для городской жизни. Если свобода собраний – ключевое пространственное выражение демократии, то свобода доступа – ее необходимый гарант. В этом смысле можно сказать, что блочный праздник – это осуществление общественного права в общественном месте, день, когда улицы принадлежат народу. Как тут не вспомнить старое правило: «Голосуй ногами – голосуй на своей улице».

Среди современных урбанистов Анри Лефевр особенно выделяется тем, какое огромное значение он придавал «карнавальности». В этом на него повлияли сочинения Франсуа Рабле, великого французского поэта XVI века, чей шедевр, «Гаргантюа и Пантагрюэль» – сущий манифест разгульного поведения, безостановочного праздника плотских удовольствий,

подытоженный яркими протохиппистскими лозунгами «Будь счастлив!» и «Поступай, как хочешь!». Увлеченность Лефевра Рабле, нашедшая свое выражение как в изучении этого автора, так и в урбанистической теории, рассматривающей празднества в качестве центрального пункта повседневной жизни, способного принести горожанам истинное удовлетворение, взялась не просто так. У Лефевра был влиятельный предшественник: Михаил Бахтин, русский критик «формальной школы» и автор книги «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса», в которой он отстаивал связь свободы и смеха – двух видов роскоши, опасных в сталинскую эпоху, когда эта книга была написана. Согласно Бахтину, «на карнавале все считались равными. Здесь – на карнавальной площади – господствовала особая форма вольного фамильярного контакта между людьми, разделенными в обычной, то есть внекарнавальной, жизни непреодолимыми барьерами сословного, имущественного, служебного, семейного и возрастного положения».

Два наших крупнейших районных празднества – Гей-прайд и парад на Хеллоуин – наиболее очевидные выражения народного права открыто радоваться в публичном пространстве. Парады часто испытывают пределы допустимого как для участников костюмированного шествия, так и для зрителей. Употребление алкоголя на улице, изрядная толика наготы, провокационные лозунги и шум – все это очень по-раблезиански и далеко за границами того, что считается общепринятым повседневным поведением. Знаменитые нью-йоркские «этнические парады» также испытывают на прочность идеи толерантности – уже с другой стороны. Например, представители гей-групп годами «бодались» с устроителями парада в день Святого Патрика за свое право тоже принимать в нем участие. Будучи выходцами из того же сообщества, что и прочие участники парада (ирландцы и католики), они долго не допускались на него за поведение, не одобряемое церковью. И этот запрет поднял фундаментальные вопросы о личной терпимости и о пределах допустимого личного самовыражения в публичном пространстве.

Ширина улицы в нашем блоке (включая парковочные полосы) составляет шестьдесят футов, а общая ширина тротуаров с обеих сторон – около двадцати футов. Мы привыкли считать такое соотношение действенным и логичным, хотя шестидесятифутовая улица (и стофутовая авеню) восходят к 1811 году. В общем случае люди, ответственные за городскую планировку и транспорт, склонны отстаивать необходимость расширения пространства для колесного транспорта, зачастую за счет пешеходов. Даже в Нью-

Йорке слабо этому противятся, хотя нынешний нью-йоркский начальник транспортного отдела – страстный велосипедист, и количество велосипедных дорожек наконец-то, похоже, стало ощутимо расти. Но главное, в чем Нью-Йорк противится автомобильной гегемонии, – это огромные, хоть и никогда не достаточные, инвестиции в общественный транспорт, в первую очередь в подземку. Для нашего genius loci критически важно, что мы пользуемся общественным транспортом несоизмеримо интенсивнее, чем где бы то ни было еще во всей стране. И одно из последствий – чрезвычайно высокая эффективность энергопотребления на душу населения, одна из лучших в Соединенных Штатах.

Местные изменения соотношений пространств, отводимых для пешеходов и автомобилистов, порою случаются. Официально – под вывеской «упорядочивания дорожного движения»: набор стратегий, направленных на уменьшение скорости дорожного движения и заторов, а также увеличение безопасности для пешеходов. В число этих стратегий входят создание на перекрестках (а порою и посреди улиц) «бутылочных горлышек», организация на улицах неудобного одностороннего движения и тупиков, управление временем переключения светофора и тому подобные мелкие манипуляции. Положительный эффект от введения подобных мер в Виллидж оказался весьма умеренным, а вот ярость приверженцев автомобилей – безмерной.

Сложность введения даже минимальных изменений еще больше увеличивается благодаря огромному количеству фантазий, сложившихся вокруг управления дорожным движением. Идеал планировщиков – плавный и все возрастающий поток машин, движущихся на высокой скорости, достигаемой как путем устранения помех (через синхронизацию светофоров, повышение дисциплинированности пешеходов, избавление от тихоходных устройств, таких, как велосипеды), так и путем постоянного расширения пространства, пригодного для автомобильного движения. Планировщики предлагают простую наивную формулу: чем больше места мы отводим потоку, тем плавнее и быстрее окажется движение.

Но формула не работает. И не только на городских улицах. Исследования показывают, что прокладка и расширение городских магистралей не только не разрешают те проблемы, которые они призваны решить, но и неизбежно усугубляют их. Рост возможностей порождает рост ожиданий. Несмотря на очевидность этого, убеждение, что прокладывать новые дороги необходимо, по-прежнему преобладает. Всякая попытка «облагородить» городские улицы, изменить характер дорожного

движения в пользу пешеходов или сузить концы улиц наталкивается на один и тот же набор возражений со стороны властей: это увеличит заторы, потому что городское движение – «игра с нулевой суммой». В одном месте убыло – значит, в другом месте обязательно прибудет.

Подобные утверждения ошибочны. На самом деле причинно-следственная связь прямо противоположна. Раз за разом сокращение пространства, пригодного для автомобильного движения, просто приводит к сокращению самого движения. Что, если избавиться от ложных рассуждений и узких интересов – и предоставить жителям блока право более полного управления своим городским пространством? И что, если переконфигурировать пригодное для перемещений пространство блока так, чтобы оно отражало иную иерархию предпочтений, нужд, способов использования? Много лет я провожу мысленный эксперимент – проект озеленения улиц. Идея его проста: если «изъять» одну автомобильную полосу в каждом городском блоке и вернуть ее пешеходам, это решит огромное количество городских проблем.

Я представляю себе, сколько всего хорошего можно было бы сделать на образовавшемся пространстве, если озеленить наш блок подобным образом. Поскольку это блок с чрезвычайно интенсивным пешим ходом (он соединяет пересадочный узел метро «Вест-Форс-Стрит» («Западная четвертая улица») с Вашингтон-сквер, Нью-Йоркским университетом[65] и Ист-Виллидж), здесь можно было бы расширить пешеходную зону. Дополнительный ряд деревьев существенно прибавил бы тени на обеих сторонах улицы и на тротуарах. На уровне улицы можно оборудовать стоянки для велосипедов – сущее благодеяние для тех, кто обитает в домах без лифтов. Новое пространство помогло бы также управляться с размещением и уборкой мусора. Твердые бытовые отходы – а Нью-Йорк производит их на уровне 36 200 тонн в год – в настоящее время обрабатываются удручающе примитивным образом. Трижды в неделю наш тротуар заставляется из конца в конец целыми монбланами пластиковых мешков с мусором, связками газет, старой мебелью и бытовой техникой. Омерзительно и неизбежно подтекающие груды часами валяются во всю длину улицы, затрудняя движение вдоль тротуаров и через проезжую часть, а дождь и снег усугубляют ситуацию.

Решение проблемы не требует разработки ракетных технологий. Оставляя в стороне как маловероятную возможность масштабных общественных изменений, которые уменьшили бы количество хлама, производимого нашей безумной одноразовой

культурой, следует немедленно создать промежуточные места для мусора. В Вене мы выбрасывали мусор в несколько больших пластиковых контейнеров, стоящих в конце каждого блока и занимающих пространство, эквивалентное паре парковочных мест. Контейнеры подразделяются на те, что предназначены для органических отходов, для прозрачного и цветного стекла, для металла, для пластика и для бумаги. Жители тщательно разбирают свой мусор, и мусоровоз, оборудованный автоматической системой переворачивания и опустошения контейнеров, регулярно приезжает, чтобы обслужить этот маленький склад. А сами контейнеры не то чтобы прекрасны, но не оскорбляют квартальный пейзаж.

Эта система, разумная и минималистичная, похоже, превосходит воображение и возможности большинства американских городов. На озелененной полосе Уэверли-плейс, воображал я, эту схему можно еще улучшить, приделав к корзинам закрывающиеся крышки, или даже пойти еще дальше, предложив более амбициозное техническое решение: упрятать весь набор мусороприемников под землю. Фантазию эту можно распространить еще дальше, присовокупив гораздо более сложные задачи: сбор утилизуемых или пригодных к повторному использованию элементов, починка и перепродажа мебели (что-то вроде этого регулярно устраивается в Японии), переработка органических отходов на компост для местных нужд и т. д.

Если рассматривать озеленение как единую систему (поскольку оно занимает улицу за улицей), его можно также использовать для создания городских садов, для хранения садового и прочего инвентаря, для небольших детских площадок, скамеек, шахматных столиков, ясельных групп и общественных «пятачков», найти им множество других применений. Еще благодаря подобной системе может запуститься механизм полной «муниципализации» существующих тротуаров и встраивания их в большую систему общественного пешеходного пространства, находящегося в общественном пользовании. Это ведь нелепо и ненормально – мы с легкостью тратим бессчетные миллиарды на создание и эксплуатацию проезжей части наших улиц, но оставляем ремонт и содержание наших тротуаров – и всю ту важнейшую конструкцию, которая благодаря им поддерживается, – на милость частных домовладельцев, которые не проявляют особенного рвения в исполнении этой наиважнейшей обязанности, а то, что зоны ответственности раздроблены на мелкие участки, приводит к тому, что тротуары ремонтируются неровно, без единого плана.

Разделение пространства между автомобилями и пешеходами

– это не библейская заповедь; нигде не сказано, что автомобилям полагается втрое больше места, чем пешеходам. Из четырех автомобильных полос две отведены под парковку. В нашем блоке, как и в большинстве блоков Нью-Йорка, нет паркоматов, действует принцип «кто первый приехал, тот и встал». На самом деле в моем блоке город отдает половину общественного пространства под хранение частных машин – числом до сорока, когда все места заняты. Использование общественного пространства – самой ценной недвижимости на планете – в личных корыстных целях – для хранения наименее эффективных и наиболее опасных средств передвижения в городе – входит в фундаментальное противоречие с реальными потребностями и привычками жителей Нью-Йорка, большинство из которых автомобилей не имеют.

Вашингтон-сквер

Свернув налево[66] и пройдя до конца блока, я попадаю на Вашингтон-сквер. Самое приметное сооружение этой площади – знаменитая триумфальная арка, спроектированная фирмой «Макким, Мид и Уайт» и водруженная здесь в ознаменование столетней годовщины со дня инаугурации Джорджа Вашингтона. В 1917 году Марсель Дюшан и Джон Слоан вскарабкались на ее вершину и салютом из игрушечных пистолетов провозгласили независимость «Республики Гринвич-Виллидж».

Вашингтон-сквер – наш районный парк. Помимо прочего, он служит центром нью-йоркской молодежной культуры, местом встреч подростков, музыкантов, мимов и пушеров. Обрамленный со всех сторон корпусами Нью-Йоркского университета, вперемешку с жилыми зданиями, церквями и внушительной шеренгой домов в «федералистском» стиле рубежа XVIII–XIX веков, он также де-факто выступает университетским внутренним двором. В то время как по периметру его оббегают любители бега трусцой, в середине тусят наркоманы и бомжи, многие из которых ждут бесплатных обедов из близлежащих церквей. Один угол принадлежит шахматистам, их столики с набором фигур и часами застыли в предвкушении нового Бобби Фишера.

Ближе к центру парка размещается собачья площадка (недавно разделившаяся на две части – для больших и маленьких собак) – место социализации и собак, и их владельцев. На южной стороне пара странных, специально выделанных бугров отданы во владение скейтбордистам. В ясные дни две элегантные огороженные детские площадки быстро наполняются малышами и их сопровождающими. Летом газоны сквера наполняются загорающими «солнцепоклонниками». Обширный круглый фонтан в центре площади (вода в котором появляется лишь спорадически) представляет площадку для разнообразных выступлений, как художественных, так и политических. Студенты-кинематографисты NYU постоянно здесь что-то репетируют и снимают на принадлежащие университету камеры Super 8. Рядом продают претцели и кныши. Неторопливо проходят полицейские. Здесь же – один из немногих общественных туалетов на много миль вокруг.

Одна из причин, по которой парк столь интенсивно используется, – его расположение в самом центре Виллидж. Другая причина заключается в том, что нижний Манхэттен – одна из самых «недообслуженных» городских территорий с точки зрения зеленых насаждений. Манхэттен в целом располагает

0,0025 акра[67] открытого пространства на человека, намного меньше половины средних значений для Бруклина, Бронкса и Куинса и меньше одной восьмой подобной величины для Стейтен-Айленд, где люди склонны обзаводиться собственными частными садиками. Нехватка на Манхэттене открытого пространства обусловлена причинами как культурными, так и историческими, такими, как быстрый рост населения, изменение использования земли, давление застройщиков, ну а кроме того, сама идея, что парки являются неотъемлемой частью городского пространства, укоренилась лишь в середине XIX века, уже после того, как Виллидж принял свои нынешние очертания.

В воскресенье 2 августа 1997 года (я хорошо помню точную дату, потому что это мой день рождения) Вашингтон-сквер и его парк оказались закрыты для посетителей. Стоял прекрасный день, неожиданно сухой и прохладный для влажного нью-йоркского лета – один из тех дней, когда так приятно гулять в парке и устраивать пикники. Но увы – у каждого входа стоял облаченный в черное охранник со свирепым взором, ни дать ни взять гигантская черепашка-ниндзя, и пресекал все попытки войти внутрь. Почему? Киносъемка! Казалось, весь квартал заполонили трейлеры, осветительные приборы, каскадерские машины и сотни людей, орущих в свои мегафоны, понукая зевак перейти на другую сторону улицы, «чтобы не мешать работе».

Конечно, многих порадовала перспектива оказаться в окружении кинозвезд (в фильме, среди прочих, снимались Роберт Дюваль, Тея Леони и Морган Фримен), но я был вне себя. К этому времени я уже успел возненавидеть вездесущих киношников, привыкших воспринимать город как съемочную площадку, в особенности наш район, такой живописный и такой наполненный тем, что мы связываем с Нью-Йорком. Я почувствовал, как у меня давление подскочило, когда я проходил мимо целой шеренги передвижных гримерок и технических фургонов – все с рычащими глушителями и воющими генераторами, изо всех сил старающимися охладить или согреть звезд (которым явно переплачивают). Меня бесили бесцеремонные ассистенты, просящие меня – а на самом деле требующие – перейти на другую сторону, чтобы ничто не могло помешать съемкам какой-то идиотской коммерческой туфты. Особенно меня бесили выставленные со стороны тротуара столики, ломящиеся под тяжестью сытных сэндвичей, на случай, если кто-то из числа вовлеченных в процесс съемок решит утолить голод; но для остальных – ничего! Мне такие ситуации всегда напоминали рейганомику – изобилие для избранных и фиктивное «просачивание денег» для всех прочих.

Любая компания, желающая снимать фильм в Нью-Йорке, должна получить разрешение из комитета мэрии по кино, театрам и телевидению, который и существует специально для того, чтобы поощрять подобное использование города. Для создания такого муниципального комитета было множество побудительных причин. Разумеется, Нью-Йорк – ведущий национальный центр по производству художественной продукции всех видов, и представать таковым и дальше очень важно и по сути, и с точки зрения имиджа. Но чаще встречающийся аргумент – экономический. Уровень городской безработицы колеблется в районе девяти процентов, так что создание рабочих мест – это главный приоритет, который доминирует в разговорах о городских улучшениях применительно не только к съемкам фильмов. Идет ли речь о «поблажках» зонирования, лишающих жителей неба, или лицензии на киносъемку, из-за которых прохожим отказывают в доступе на улицы или в парки, администрация всегда демонстрирует слишком узкое следование интересам общественного блага, понимая его лишь в терминах «доходности» – в том числе в виде обманчивого обещания доходов от повышения сбора налогов через много лет.

Какова природа общественного владения общественными местами? Где границы общественного права контролировать то, что находится или происходит в таких местах? Как далеко может заходить свобода самовыражения? Оставляя в стороне очевидную и общепризнанную ответственность правительства за стабильность доходов, идущих на общественные службы, и дополнительную обязанность стимулировать создание новых рабочих мест, первейший критерий, по которому следует судить государственное управление, – затрудняет ли оно или, наоборот, облегчает общественный доступ к общественным местам. Под этим понимается, что подобные места создаются в первую очередь и по всему городу – так, чтобы никто не оказался лишен доступа к ним по географическим причинам. Но подобное «право» на общественное пространство подразумевает наличие определенных общественных стандартов касательно того, какие виды деятельности приемлемы для сообществ – владельцев этих мест. Нетрудно добиться почти что всеобщего согласия относительно того, как ценно иметь возможность прогуливаться, сидеть на скамейках или купаться, но вопрос приобретает бóльшую остроту, когда речь заходит о полях для бочче,[68] крикета или, если кому-то это ближе, для бейсбола, требующих много места для того, что способно доставить удовольствие относительно малому числу участников (зрители не в счет).

Можно пойти немного дальше. Давайте прямо признаем:

«Столкновение с бездной», как и практически любой «художественный» фильм голливудской выделки, поощряет насилие и размахивание оружием. Имеет ли общественность право контролировать «самовыражение» или «художество», проявляемые в общественных местах? Виды деятельности, заведомо считающиеся преступными: продажу наркотиков, проституцию, кражу деревьев, – запретить легко. Другие же действия не так легко классифицировать. Например, как быть с подростками, продающими лимонад? Граффити, безусловно, «расставили ноги» прямо над запретительной чертой, и определить, что можно, а что нельзя, не так-то просто. Разукрашивать саму арку метками с помощью несмываемой краски, конечно, недопустимо, а как насчет «Тайной вечери», нарисованной разноцветными мелками на асфальте? Или возьмите представление, музыкальное или драматическое. Это – общепризнанные и всеми уважаемые формы самовыражения. Но только до той поры, пока не переходят номинальные границы закона. Например, когда музыканты начинают играть слишком громко, а актер срывает с себя всю одежду.

Законность подобного рода самовыражения в общественном месте определяется как природой самого искусства, которой присуще исследование границ допустимого, так и спецификой того места, где оно явлено. Поскольку Вашингтон-сквер исторически является местом протестов и выступлений, а к тому же и то и другое – эмблематично для Виллидж, на площади оказываются допустимы вещи, которые были бы недопустимы в других местах. Существует, однако, нечто весьма тревожное в том, что свободе слова, в сущности, выделяется некий специальный загончик, «уголок Гайд-парка», то есть возникает, как называл это Герберт Маркузе, «репрессивная толерантность». Одна из важнейших линий поведения в демократическом обществе – постоянная проверка, расширение и защита права подобного самовыражения. Часть такой проверки – своего рода исследование, изучение отношений собственности и места, ведущееся в Нью-Йорке постоянно как на индивидуальном уровне – теми, кто выступает, попрошайничает или просто спит на уличной или парковой скамейке, – так и более массовыми согласованными действиями. Частные интересы также постоянно контролируют границы общественной собственности – будь то пространство тротуаров, «отжатое» владельцами кафе под летние веранды и хриплоголосыми толпами под свои стихийные клубы, улицы, суженные праздно стоящими лимузинами, или фасады, закрытые рекламой.

В голову приходят два относительно недавних протестных

случая. Летом 2004 года, во время Конвента Республиканской партии в Мэдисон-сквер-гарден, организаторы протестного митинга подали заявку на проведение масштабной акции на Шип-Медоу (Овечьем Лугу) Центрального парка. Администрация Блумберга – формально республиканская – отклонила заявку на том основании, что большое скопление людей окажет разрушительный эффект на недавно высаженную траву лужайки. Это ли стало настоящей причиной запрета или нет, но как бы там ни было, в качестве аргумента мэр сослался на возникающий конфликт в осуществлении права на свободу собраний – по крайней мере, собраний политических, в партийном смысле. Таким образом, дело решилось с точки зрения простого числового большинства, хотя вопрос об ограничении числа людей, собирающихся на этом лугу на пикник, никогда не ставился.

В качестве альтернативы администрация предложила кусок скоростного шоссе на западной стороне Манхэттена – но этот вариант был отвергнут организаторами протестной акции как неудобный и маргинальный, расположенный далеко от потенциальных участников. Хотя этот отрезок шоссе вообще-то находится даже ближе к Мэдисон-сквер-гарден, чем Центральный парк, по своему символическому значению он заметно уступает главному городскому общественному пространству, то есть парку. Но с обоими местами была одна и та же трудность: они предназначались для других нужд – отдыха и автомобильного движения, – а не для больших митингов. То же самое справедливо и в отношении другого естественного кандидата на роль места для сбора большой толпы – Таймс-сквер. Самый знаменитый повод, по которому она заполняется людьми, Новый год, только подчеркивает исключительность этого случая, когда площадь на время перестают использовать по ее прямому назначению – для движения людей и машин. Подобно нашим местным парадам, протест против Республиканского конвента, в ходе которого часть общественности желала использовать городское пространство, предназначенное для чего-то еще, в качестве места резкого самовыражения, являет собой ярчайший образчик коллизии определения пределов публичного выражения в целом.

Что касается протеста по поводу конвента – компромисс был в итоге достигнут тем, что митинг заменили на шествие мимо Мэдисон-сквер-гарден, но без остановок для произнесения речей, чтобы избежать возможности возникновения неподвижной толпы – зафиксированного, пусть временно, собрания, определенно имеющего иной вес и значение, чем движущаяся толпа. А еще благодаря этому мероприятию неожиданно выяснилось, что в Нью-Йорке, оказывается, отсутствует обширная открытая

площадка, плаза, не обремененная другими функциями, такими, как дорожное движение или отдых, которая могла бы, таким образом, стать естественным местом для больших скоплений народа. Конечно, наличие подобных мест само по себе еще ничего не гарантирует. Достаточно вспомнить Красную площадь, пекинскую площадь Тяньаньмэнь или площадь Сокало в Мехико – места ожесточенных столкновений и убийств (в 1989 году в Китае и в 1968 году в Мексике). Но само существование этих пространств, исполняющих символическую общественную функцию почти что в чистом виде, постоянно напоминает об их назначении, чего Таймс-сквер не делает, кроме одного дозволенного раза в год. Какой позор, что Граунд-Зеро не осталось местом демократических митингов, окончательным ответом фашистскому террору: свободным собранием.

В Нью-Йорке существует группа велосипедных пропагандистов, именующих себя «Критической массой» (Critical Mass) и, в своем узнаваемом стиле, отстаивающих право на постоянный передвижной протест. Группа велосипедистов регулярно собирается для массовых заездов по городским улицам. Их процессия волей-неволей движется на скорости, уступающей «пределам» автомобильного движения, и потому является – в глазах полиции – дестабилизирующей. Множество демонстрантов часто подвергаются аресту – за то, что они, в сущности, осуществляют свое законное право, используя улицы по их прямому назначению: для передвижения с применением колесного транспорта. Введение скорости как категории, имеющей значение при определении допустимости того или иного публичного поведения, ведет к интересным (и до сих пор как следует не исследованным) последствиям для публичных собраний в целом, потому что требует очень четкого следования строгим и зачастую произвольным правилам. Сама идея, что демонстрация опасна тем, что она медленна, противоречит идее общественного собрания как свободного общения, чего-то истинного и самоуглубленного, как то было во времена греческой агоры. Есть что-то глубоко извращенное в усилиях, прилагаемых к тому, чтобы контролировать сообщества, устанавливать формальные рамки, отделяющие пятьдесят велосипедистов от пятидесяти школьников или туристов в автобусе. Стесняя символическое поведение, власти ограничивают пределы выразительности речи.

Пытаясь «стреножить» «Критическую массу», полиция Нью-Йорка вознамерилась требовать получение разрешений для проведения митингов группами велосипедистов в составе более двадцати человек, равно как и всеми велосипедистами или

пешеходами числом более двух, если те используют улицы для любой деятельности, входящей в противоречие с дорожным движением, как то: парады, пробежки, протесты или просто болтовня. Кроме того, полиция захотела требовать получения разрешений для групп в тридцать пять и более протестующих, даже если те стоят только на тротуаре. Отстаивая эти ограничения, полиция уверяла, что они «выработаны для защиты здоровья и безопасности участников групповых мероприятий на улицах и тротуарах общего пользования, равно как и обычных людей, оказавшихся в непосредственной близости от мест проведения данных мероприятий». Последовавшие дебаты сосредоточились на вопросе, обладает ли полиция полномочиями вводить подобные регулирующие меры без голосования в городском совете, и на очевидных ограничениях для выражения протеста, которые налагает введение этих мер. Нью-йоркский Союз гражданских свобод (New York Civil Liberties Union) заявил, что какими бы соображениями полиция ни руководствовалась, предлагаемые правила «входят в противоречие с принципами и ценностями права на протест, с которыми Нью-Йорк всегда ассоциировался». Полиции пришлось пойти на попятную.

Если и есть в Нью-Йорке место, исторически связанное с протестными митингами, то это Юнион-сквер, площадь, расположенная к северу от Виллидж, на 14-й авеню. Она выступает ареной многолюдных демонстраций с середины XIX века, а еще, вплоть до затмения, случившегося несколько лет назад, являлась центром квартала, в котором множество организаций левого толка, включая таких мастодонтов, как Коммунистическая партия, размещали свои штаб-квартиры, залы для собраний, книжные лавки и типографии. Юнион-сквер всегда была местом проведения традиционных первомайских демонстраций рабочих – к сожалению, вышедших из набора традиционных городских празднеств. Во время Второй мировой войны Роберт Мозес, в тот период – ответственный за парки, зашел так далеко, что запретил здесь все демонстрации. Затухающая популярность Юнион-сквер как места проведения подобных событий объясняется как общим организационным упадком левых, так и нынешним обликом самой площади, приподнятой, чтобы вместить станцию метро, и приспособленной скорее для индивидуального отдыха, чем для массовых собраний. Как и на других общественных пространствах Нью-Йорка, на площади разворачивается все больше видов деятельности, которые в строгом смысле общественными не являются. Включая планируемое открытие нового (частного) ресторана, вокруг которого велось много споров.

Но эхо от давешних митингов остается в городском бессознательном, и площадь продолжает привлекать множество небольших демонстраций и других политических мероприятий. После разрушения Всемирного торгового центра она ненадолго стала грустным, трогательным спонтанным алтарем жертв террористической атаки и местом сбора выживших – а также людей со всего города, ищущих возможность сообща излить горе. Друзья и родственники отчаянно подбирали слова в память об ушедших, и Юнион-сквер, первое большое общественное пространство к северу от огороженной территории, простирающейся вниз от 14-й улицы, стала основным местом, где вывешивали их фотографии. Хотя изначально эти душераздирающие фото – случайные кадры с пикников и выпускных вечеров, официальные портреты – появились для того, чтобы просто облегчить поиск информации, они быстро приобрели значение мемориала. Вереница лиц над площадью – как митинг призраков, многолюдная демонстрация утраты и горя.

Через несколько недель, однако, власти заключили, что подобное преобразование не соответствует выданному разрешению, и удалили все картинки, вернув площади ее привычное значение. Конечно, мало кто рассчитывал, что сотни тысяч фотокопированных изображений, оклеивших город, могут оказаться чем-то бóльшим, чем нечто временное, они явили собой спонтанное выражение чувств стихийного, но эффективно сорганизованного сообщества, причем выражение чувств необыкновенной силы. То, что развешивание этих изображений технически нарушало закон, не имело никакого значения по сравнению с их огромной важностью – та же формула, которая оправдывает «выламывающуюся из правил» ценность многих других публичных речей, сколь бы тривиальными они ни были. Эти изображения – не продукт какого-то одного дизайнера, и этот артефакт, выросший вне обычного контроля со стороны собственника, преобразил площадь. Помпезные, перегруженные и «принижающие» формы официозного поминовения бледнеют по сравнению с ними, кажутся абстрактными до банальности.

В определенных обстоятельствах, однако, абстракция может нести очень точное пространственное значение. В 1985 году город столкнулся с неоднозначностью, касающейся художественного использования общественного пространства, что привело к ожесточенным спорам относительно значения слова «абстракция». Пространство, о котором идет речь, – кусок государственной собственности, плаза между зданием суда и необыкновенно уродливым федеральным офисным зданием в нижнем Манхэттене. Несколькими годами раньше, в рамках

программы, предусматривающей размещение произведений искусства в объектах федеральной собственности, художник Ричард Серра был нанят для того, чтобы создать на площади арт-объект. В результате появился объект под названием «Опрокинутая арка» (Tilted Arc) – длинная, изогнутся стена из специально заржавленной кортеновой стали,[69] размещенная вдоль одной стороны площади в 1981 году. Это был типичный Серра, он уже создал и разместил много подобных изогнутых объектов, получивших широкое одобрение, во многих местах, как в США, так и за границей.

Мнения относительно данного объекта сразу же разделились. Кто-то счел его шедевром, другие же нашли его просто ужасным. Пока представители артистического мира в основном выстроились в очередь, чтобы поздравить художника с «Опрокинутой аркой», работники офисов, перед которыми она стояла, содрогались от отвращения. В их числе – федеральный судья, чья ненависть приобрела характер вендетты, так что местный администратор Федеральной службы принял решение убрать спорный объект. Вышел страшный скандал. Обе стороны осыпали друг друга громкими, но малоосмысленными обвинениями. Защитники арт-объекта заявляли, что чиновники ведут себя как филистеры, душащие свободу самовыражения. А еще, напоминали они, правительство само заказало это произведение и имеет контрактное обязательство не уничтожать его. Правительственные служащие вяло отвечали, что никто не собирается уничтожать «Опрокинутую арку» и что они будут счастливы передать ее в какой-нибудь загородный парк скульптур.

Это оказалось толчком к интереснейшей художественной дискуссии. Серра провозглашал, и небезосновательно, что его произведение является сайт-специфичным[70] и перенести его – значит уничтожить. Правительство утверждало обратное. Обе стороны, однако, практически упускали из виду самый важный и потенциально самый трудный момент. Дело не только в том, что множество посетителей – «пользователей» плазы этот арт-объект возмущал сам по себе; дело в том, что он «работал» очень определенным образом, создавая в пространстве площади вполне ощутимый эффект, против которого они и возражали. Во-первых, он очевидным образом блокировал свободный проход через площадь и под зданием суда (которое было вознесено на колонны). Во-вторых, вовлекая площадь в свой замысел, художник вытеснял прочие возможные варианты ее использования: высаживание деревьев, расстановку столиков для пикников, фонтаны и т. д.

Аргумент о привязке к месту был сформулирован в сугубо архитектурных терминах. Серра утверждал, что его скульптура не просто стоит сама по себе; ее задача – изменить способ использования пространства. Серра прибегал к этому аргументу, чтобы объяснить требование местоориентированности. Но, применив его, он тем самым признал аргументы своих оппонентов, утверждавших, что скульптура не просто уродлива, но лишает их возможности пользоваться объектом, являющимся частью нью-йоркской системы общественного пространства. В конечном счете их аргументация сводилась к тому, что публичный доступ к общественному пространству компрометируется тем, что это пространство используется для демонстрации сайт-специфичного произведения искусства. Тезис об усечении общественной функции снимал юридические вопросы. Но не вопросы социальные. Более того, занимая публичное пространство, арт-объект возбуждал вопросы относительно своей общественной значимости, категории, в которой зрительское удовольствие – не более чем одна из составляющих.

Но дело обстояло еще сложнее. Никто и не мечтал о том, чтобы снести воистину ужасное федеральное здание, наносящее куда бóльший урон визуальному всеобщему благу, чем когда-либо сумел бы нанести Серра. В действительности «Опрокинутая арка» приняла на себя удар за гораздо более серьезный художественный и средовой провал, потому что о присутствии или отсутствии скульптуры можно было спорить, а о здании не поспоришь. Подобная подмена типична для художественного и архитектурного разговора в Нью-Йорке. Критики без конца обсуждают тонкости отделки, но редко затрагивают вопросы использования (скажем, клетушек-«кьюбиклов», порожденных большими этажами) или более широкие вопросы урбанизма. Например, огромное здание, которое должно быть возведено по проекту Ричарда Роджерса в Куинсе у самой кромки воды, чтобы разместить киностудии, офисы, магазины и апартаменты. Оно будет построено в непосредственной близости от чудесного моста Куинсборо, и хотя сама архитектура – превосходный роджерсовский продукт, возведение здания в данном конкретном месте приведет к тому, что вид на мост со стороны Манхэттена изменится навсегда. Как оценить такую потерю?

После того как произведение Серра увезли (под покровом ночи), плазу реконструировал ландшафтный архитектор. Если работа Серра была выполнена в агрессивно-минималистическом ключе, то создательница нового проекта постаралась вернуть пространству более традиционный вид, вдохнуть в него

ощущение парка и в то же время прокомментировать его странность через ироничную сюрреальность. Обычные фонарные столбы вытянулись, как жирафьи шеи. Площадь усеяли забавные полусферические травяные клумбочки. Деревянные скамейки, по кривой огибающие все пространство, были выкрашены в кричащие оттенки зеленого. Сюрреализм стал китчем эпохи постмодерна, и хотя новая плаза, очевидно, мягче, добрее и нежнее, чем раньше, ей не хватает присущей Серра неукротимой амбициозности и ярости. Но амбициозность и ярость – это, возможно, не то, что нужно людям во время ланча.

Каковы бы ни были художественные достоинства дизайна, в солнечный полдень лавочки заполняются людьми, непринужденно болтающими и уплетающими сэндвичи. Проходимость места и ощущение его обозримости намного увеличились. Летом система орошения сохраняет прохладу. Коротко говоря, хотя речь шла об улучшении художест-венного наполнения плазы, она стала несравненно лучше исполнять функцию места ежедневного социального обмена. Вот та грань, за которой право художника на самовыражение обращается в неустранимую ошибку, мешающую общественности осуществлять свое право использовать публичное пространство привычным образом. «Опрокинутая арка» выставляла окружающее пространство в таком свете, что площадь становилась еще менее обитаемой, – такую серьезность по отношению к себе и к своему месту на площади она демонстрировала. Представляя собой что-то вроде санкционированного граффити, стена должна была нести полную ответственность за содержание своего послания, потому что содержание общественного пространства обязано постоянно быть приемлемым для всех – требование, которому свобода слова, во всей своей открытости и готовности столкнуться с противоположным мнением, удовлетворять не должна. Это неисправляемое препятствие, и по той же причине несколько лет назад из здания суда в Алабаме пришлось вынести высеченные в мраморе Десять заповедей.

Это может показаться несколько притянутым к съемкам фильма на Вашингтон-сквер, но речь идет об одном и том же. Бывают ситуации, при которых священная материя неприкосновенности высказывания может и должна становиться частью уравнения. Общественное пространство следует оценивать по тому, насколько оно отвечает идее возможности его использования все более и более разнообразными способами. Конечно, общество заинтересовано в создании культурной и артистической атмосферы, и подобная атмосфера может сложиться только в условиях свободы самовыражения. Но

общество столь же заинтересовано в воспрепятствовании некоторым типам высказывания (пропаганда ненависти, подстрекательство к преступлениям, крики «Пожар!» в переполненном театре) и в активном создании физических и выразительных пространств определенного типа. В это вложена куда лучшая идея: высказывание или конструкцию следует оценивать по тому, что́ с его помощью удается предотвратить.

Одна из причин сопротивления реновации или джентрификации – широкий спектр видов общественной деятельности, которые исчезают при физическом разрушении тех мест, где они разворачиваются, равно как и в результате «гомогенизации», когда из района при взвинчивании цен выдавливаются все, кроме богачей. Серра, похоже, угодил именно в эту ловушку: его произведение сужало возможности самовыражения намного большей части сложившегося вокруг площади сообщества, чем той, которую оно радовало. Киносъемка, с другой стороны, становится проблемой по иным соображениям: она лишает нас возможности посетить парк в чудесный день и поощряет такое высказывание, которое никак нельзя счесть отвечающим общественным интересам (вынося за скобки соображение, что свобода слова неделима). Кто-то может, конечно, заявить, что в частных запросах на общественное пространство нет ничего особенного, но нам-то известно, что это не так – как в старой шутке, что свободные СМИ, конечно, возможны, если вы владеете одним из них.

Недавно я посмотрел (в самолете) фильм «Я – Легенда», изумительную бредятину с Уиллом Смитом в главной роли, в которой Вашингтон-сквер отводится ключевая роль. Фильм посвящен Нью-Йорку, все жители которого (кроме зомби) оказались выкошены эпидемией, спровоцированной никуда не годным лекарством от рака. Персонаж Смита – ученый, у которого обнаружился иммунитет, он зарылся в роскошные норы Вашингтон-сквер и пытается найти противоядие. Открывающая фильм сцена: Уилл Смит мчится по пустынному городу (не считая оленьи стада) на крутой красной спортивной тачке в поисках зомби, чтобы испытать на них очередную версию вакцины. Манхэттен взят в карантин, мосты взорваны по приказу (несколько превосходных визуальных эффектов), и я, памятуя об окончательно проигранной борьбе со взвинчиванием цен на жилье, смотрел этот фильм как образчик кардинального решения вопроса.

Ударная сцена фильма – дом Смита атакуют шеренги зомби, преодолевая самодельные мины, расставленные Смитом по площади, чтобы задержать их. Мы все оказались свидетелями

деятельности высокоэффективной пиротехники во время съемок, растянувшихся на недели. Народ со всего города сходился пофотографировать свисающие с деревьев трупы зомби и вереницы сожженных машин, окруживших парк. В городе, отчасти знакомом с апокалипсисом – имея в виду и СПИД, и одиннадцатое сентября, – это зрелище казалось перебором, слишком уж метафоричным для простого смертного. А созерцание площади, обращенной в руины, заставило многих задуматься о неоднозначности ее только что затеянной реновации.

Эта реконструкция снова возбудила во всем квартале жаркие споры касательно общественной природы Вашингтон-сквер. Прежде чем стать в конце 1820-х годов парком, площадь претерпела ряд преобразований и превращений. Свою общественную жизнь она начала в качестве чумного кладбища, затем стала последним приютом для бедноты, некоторое время на ней возвышалась виселица. Позже она сделалась плац-парадом (что пришлось весьма по вкусу владельцам окрестных домов, стоимость которых заметно подскочила), пока наконец ее не решено было превратить в общедоступную площадь, в подражание площадям георгианского Лондона, которым тогда многие в Нью-Йорке завидовали.

Воплотившись впервые в качестве парка, площадь была весьма формально распланирована в геометрическом стиле. В 1848-м (революционный год!) ее оградили чугунной решеткой, а в 1852-м – украсили первым фонтаном. Входная арка была торжественно открыта в 1895 году. Хотя в настоящее время она является исключительно пешеходной зоной, дорожное движение просуществовало здесь почти сто лет и было, наконец, запрещено лишь в 1965 году. Дорожное движение – особенно деликатный вопрос, учитывая его основополагающую роль в жизни и характере города. «Перетягивание каната» по вопросу допуска транспорта определяет использование общественного пространства и базовую морфологию самого города. Здесь, как и в столь многих вещах, касающихся современной истории Нью-Йорка, ключевой фигурой является Роберт Мозес. Именно он попытался освободить город от чудовищных пробок и даровать ему ничем не затрудненные потоки машин. Еще в 1935 году он представил проект превращения площади в гигантскую транспортную развязку со схемой, получившей за свое сходство с предметом домашнего обихода название «план коврика для ванной». Проект не был реализован из-за противодействия местных жителей и начала Второй мировой войны.

Но после победы Мозес вернулся. В конце сороковых он

предпринял очередную атаку на Виллидж, которая, отличаясь в деталях, все так же предусматривала прокладку дорог прямо через парк. И в течение долгого времени через органы местной власти, продолжавшие тогда губить демократическое планирование, старался всеми законными способами обойти общественное мнение и настоять на своем. После войны его юридический, идеологический и экономический инструментарий получил две опоры – два акта федерального законодательства: главу I Федерального закона о жилье (Federal Housing act) 1949 года, первую ласточку урбанистической реновации, и закон о национальных федеральных и стратегических скоростных шоссе (National Interstate and Defense Highways act) 1956 года. Вместе они нанесли ткани американских городов урон, сопоставимый с тем, что мы нанесли немецким и японским городам во время войны.

Обе программы объединяло видение большого города как ряда отдельных городков, связанных скоростными шоссе, – видение, ставшее фирменным знаком модернистской фантазии на тему города будущего, нашедшей свое самое полное воплощение в созданном Ле Корбюзье образе «лучезарного города» (Ville Radieuse), столь подробно разобранного Джейн Джейкобс. Обе сопровождались безусловным правом принудительного отчуждения, позволяющим эффективно изымать недвижимость и отселять жителей. И обе оплачивались федеральным правительством. В случае с главой I федералы покрывали расходы по отчуждению и зачистке территории, а в случае с законом о федеральных шоссе федеральный бюджет брал на себя 90 процентов расходов по их прокладке. Готовность одного города за другим фактически совершать самоубийство, позволяя за эти деньги скоростным трассам и проектам реновации пройти через свое сердце, продолжает поражать и возмущать.

В случае с Виллидж идея Мозеса заключалась в том, чтобы расчистить трущобы к югу от площади, от Мерсер-стрит на востоке до Шестой авеню на западе, вплоть до того района, который сейчас известен как Сохо. Составной частью проекта стало также продление на юг Пятой авеню – прямо или путем раздваивания на Восточную и Западную. Проект Мозеса был сразу же принят в штыки. Угроза районам к югу от площади – в то время преимущественно итальянским – встретила серьезнейшее сопротивление, и в начале 1950-х годов территория, предназначенная под снос, оказалась уполовинена, чтобы сохранить густозаселенные жилые кварталы к западу от Западного Бродвея. Застройке к востоку от площади выпал худший жребий – она оказалась практически разрушена, а на ее

месте возникла целая серия классических модернистских башен: две 583-футовые пластины, вольно основанные на принципе Unités d'Habitation («жилых единиц») Корбюзье, и три высотные башни, все это – часть Нью-Йорского университета. В последующие годы NYU продолжал разбухать, и его современное процветание нашло свое воплощение в программе расширения, включая целую связку общежитий в Ист-Виллидж. Это сделало NYU врагом общества номер один в глазах соседей.

Проект прокладки крупной автомагистрали через площадь в конечном счете провалился. Сопротивление местных сообществ было поддержано в 1958 году пробным закрытием площади для машин, продемонстрировавшим, вопреки отчаянным предсказаниям городских планировщиков, что плотность движения от этого снизилась. В 1962 году проект прокладки через Вашинтон-сквер новой магистрали был официально аннулирован, а в 1965 году отсюда убрали разворотный круг для автобусов, и площадь впервые с XIX века обрела свободу от дорожного движения. Гарантией того, что площадь и впредь останется пешеходной, выступила сделка с Нью-Йоркским университетом, которому разрешили использовать сорок футов Западного Бродвея (этот кусок Виллидж, от Хаустон-стрит до самой площади, получил название Ла-Гуардия-плейс) для своей новой библиотеки. Это была пиррова победа – с того времени огромные (и отвратительные) кубы из красного песчаника постоянно отбрасывают на площадь свою длинную тень.

После того как Мозесова угроза оказалась отведена, парк подвергся перепланировке. Его нынешнее воплощение обрело свой законченный вид в 1970-е. Ландшафтный план оказался далек от неоднозначности. В действительности Джейн Джейкобс и прочим пришлось горячо вступиться, чтобы сохранить большой круглый бассейн в центре парка в качестве места для собраний и выступлений, а не превращать его в чисто декоративный фонтан. Это место остается одной из величайших в мире точек свободных собраний, сосредоточием смысла парка, ключом к пониманию его назначения. Но и это еще не все: фонтан, по иронии судьбы, недавно был разобран согласно еще одному плану переоборудования парка и перенесен на новое место прямо по оси арки. Яростное сопротивление этому идиотскому решению ни к чему не привело, несмотря на вымученные заявления о недопустимости влияния частных пожертвований на городской дизайн, упреки Нью-Йоркского университета в том, что он пытается подмять все под себя, и указания о смехотворности пристрастия современных дизайнеров к осевому расположению. Все эти аргументы исходили из того, что смысл и память парка

связаны с изначальным расположением и характером – привязкой к месту – фонтана.

Насилие, учиненное над фонтаном, – последнее в серии «улучшений» (от погоста через плац-парад к парку, затем к другому парку), призванных изменить назначение и понимание Вашингтон-сквер. В этой длинной череде действий и противодействий постоянным оставалось беспокойство: «Место используется не по назначению!» – шла ли речь об упокоении мертвецов или, наоборот, о том, что оно слишком оживленно. Кого-то всегда раздражали слишком вольные нравы парка, несущие, по их мнению, угрозу буржуазной собственности, буржуазным ценностям или, в более широком смысле, цивильному декоруму. И на самом деле, за свою историю площадь достаточно часто представала то наркоманским притоном, где к прохожим приставали с едва слышным шепотом «курить, курить…», то ночлежкой и туалетом для изгоев.

Пожалуй, самой неоднозначной составляющей нынешних усилий освежить парк (который и впрямь отчаянно нуждается в замене потрескавшегося асфальта, безвкусных фонарей и попорченных скамеек) является предложение обнести его решеткой. Оригинальное ограждение 1848 года было удалено в 1870 году, после того, как первый формальный дизайн парка, с его равнодушной симметрией, сменился более естественным, лучше отвечающим олмстедовским представлениям. Парк оставался без ограды в течение ста лет, пока вопрос о решетке не возник вновь. На сей раз побудительным толчком явно стало осознание того огорчительного факта, что парк кишит криминальными элементами и необходимо принимать срочные защитные меры. В качестве интеллектуальной поддержки использовалась книга, оказавшая большое воздействие на идеологию городской планировки, – «Защищающее пространство» Оскара Ньюмана, опубликованная в 1972 году. Это сочинение появилось во многом в связи с лавинообразным ростом преступности в муниципальном жилье. Не обращая внимания на то, что социальные патологии могут быть не порождены муниципальными домами-башнями, а отправлены туда «на хранение», Ньюман предложил физическое решение, сводящееся к установлению четкой принадлежности всех пространств тому или иному собственнику, уничтожению неопределенных (и никем не содержащихся) общественных территорий и замене их на частные дворы и более отчетливо структурированные среды.

На Вашингтон-сквер эта идея незамедлительно трансформровалась в более общее видение контроля над потенциальными злоумышленниками путем возведения забора,

специально сконструированного для того, чтобы от них отгородиться. Вспыхнули споры, питаемые как общей растерянностью перед высоким уровнем преступности и бегством капитала из города, так и деликатным, но настойчиво повторяющимся мотивом «мы и они». Решение о возведении ограды уже почти было принято, но тут возобладало мнение более трезвомыслящих людей, указавших, что уровень преступности в парке в действительности уступает среднему по Виллидж (и среднему по городу). Так что привычный домашний вид неогражденных кромок парка сохраняется и по сей день. В наши дни желание оградиться находит большее понимание (особенно если забор низкий), соответствуя озабоченности нового тысячелетия закрытостью и контролем. Вот уже несколько лет парк окружен полицейскими видеокамерами, и этому основательному всевидящему оку, несомненно, суждено остаться: его полезность подкреплена легко демонстрируемыми успехами в борьбе с оборотом наркотиков, как и общим желанием граждан после одиннадцатого сентября находиться под неусыпным наблюдением.

Характер Вашингтон-сквер определяется дизайном площади, ее «населением», ее границами и тем, какие ее части и как огорожены. Одна из особенностей Нью-Йорка – то, каким образом он порождает и организует множество разноплановых соседских отношений. Все города можно описать через бурный диалог между однородностью и исключениями. Уникальный баланс и определяет характер каждого города. Исключения могут возникать из-за целого ряда причин и проявлять себя разным образом. Бóльшая часть муниципального законодательства направлена на описание «неуместных» форм и видов поведения, то есть на определение границ исключений. «Неуместность» может быть описана формально, с указанием стилистических или размерных ограничений, или функционально, как ограничения, накладываемые на абсолютно или ситуативно предосудительные виды деятельности, будь то ночной клуб с громкой музыкой в жилом квартале, порномагазин по соседству со школой или же атомная электростанция в деловом центре.

Обобщая, можно сказать, что самые стилистически поражающие исключения Нью-Йорка, такие как Вашингтон-сквер, появились исторически в результате сдвига парадигм и возможностей с течением времени, а также циклической природы экономики строительства. Пестрота города – часть его genius loci, и, поскольку множество этих обескураживающих столкновений соседских масштабов возникли совершенно случайно, усилия по

их кодификации «задним числом» по большей части бесполезны. С другой стороны, принцип невмешательства государства (laissez-faire) – это рецепт современных моделей, чаще всего ведущих к единообразию наиболее прибыльных форм. Порою это приводит к фантастическим результатам. Нижний Манхэттен остается самой оригинальной «естественной» частью Нового Амстердама с его нерегулярной сеткой узеньких улочек. Но волны процветания вынесли наверх здания такого типа, который голландцы едва ли могли бы себе вообразить, то есть небоскребы. Лучшие из них в плане имеют основания нерегулярной формы (определяемые причудливыми формами блоков, в которых они возведены), ступенчатые силуэты, диктуемые законом 1916 года о зонировании, и тонкие, высокие «стволы», часто сориентированные в соответствии с регулярной сеткой Верхнего Манхэттена. Все это ради того, чтобы увеличить до максимума их площадь и поучаствовать в «танце статусов» на линии городского горизонта, как некогда в Сан-Джиминьяно. Многие из них превращены в элитное жилье, потому что узкие башни стали нынче слишком тесны для обширной инфраструктуры, считающейся необходимой в современном офисе.

В Виллидж расслоение еще более интенсивно, оно включает в себя большие территории с очень старой городской тканью, измененной кое-где, среди прочего, ночлежными и жилыми домами, вклинившимися сюда до эпохи зонирования и до эпохи сохранения исторического наследия, фрагментами складов у кромки воды, кусками, вырезанными в ходе городских реновaций, коридорами, пробитыми при прокладке авеню и линий метро, присутствием специализированных учреждений, а также эффектом неуклонного смещения центра города на север, включая серьезную интенсификацию коммерции в конце XIX – начале XX века. Его разнообразие также явилось побочным продуктом впечатляющего сдвига населения, волн богачей, иммигрантов, артистов, студентов, геев, яппи и прочих, внесших свой вклад в культуру Виллидж и повлиявших на его облик.

Поддержка как социальных, так и физических характеристик этого микса – главная цель районного активизма, и хотя битва за доступное жилье здесь в целом проиграна, у нас, в свою очередь, есть ряд возражений против проектов, слишком явно нарушающих масштаб или грозящих исчезновением реликтовых тканей. Две самые яростные недавние схватки произошли вокруг чрезвычайно высокого и нескладного общежития, возведенного Нью-Йоркским университетом (учебным заведением, которое в течение длительного времени проявляет удивительную тугоухость по отношению к озабоченности местных жителей его

расширением), и вокруг сноса всеми любимой старой церкви – католические инстанции продали это место под застройку. В других частях города, таких, как Нижний Ист-сайд и бруклинский Вильямсбург, джентрификация и поддерживающее зонирование породили множество башен, проклюнувшихся из малоэтажной застройки. Восхищаясь попадающимися мне время от времени прекрасно спроектированными «стволами»-небоскребами, взмывающими вверх из обыденности, я также осознаю, что каждый из них представляет собой опасность сложившемуся сообществу и грозит возможной перекомпоновкой, которая, вероятно, создаст более общие, и в целом менее счастливые условия жизни.

Ла-Гуардия-плейс

Добравшись до Вашингтон-сквер, я должен принять еще одно решение: по какой из четырех параллельных улиц двигаться на юг. Если я не хочу выходить на саму площадь, то должен свернуть направо на ближайшую улицу – Макдугал-стрит, самый коммерциализированный и загруженный из четырех возможных вариантов. Годами Макдугал-стрит остается бесшабашной студенческой улицей. Превалирование в домах маленьких витрин, выходящих на улицу, позволяет чувствовать себя здесь как дома мелким бизнесам, включая множество кафе, пиццерий и фалафельных забегаловок, кальянных лавок, газетных киосков, кондитерских, магазинов индийских украшений, баров и ресторанов. Параллельные улицы, Салливан-стрит и Томпсон-стрит, такие же, но немного тише и не так забиты торговлей. Каждая из них имеет свою физиономию, безошибочно виллиджевскую, и каждая стремится вниз к Хаустон-стрит, где вливается в Сохо. На Салливан-стрит есть несколько шахматных залов, и я люблю порой заходить в них, чтобы убедиться, что они по-прежнему на месте. Выживание подобных экономически маргинальных, но жизненно необходимых местечек – что-то вроде канарейки в угольной шахте: сигнализация против газа джентрификации.

Один из критериев при выборе маршрута, особенно важный летом, – возможность шагать в теньке. Поскольку в ходе моей утренней прогулки я двигаюсь на юг, тень, отбрасываемая зданиями (напомним, чрезвычайно невысокими) на восточную сторону улицы, исчезает уже рано утром. А значит, до предвечерних часов, когда принимаются за дело здания с западной стороны, тень на улице создают лишь деревья, распустившие свои кроны прямо над головами прохожих. Удручающе неравномерное распределение деревьев по городу, особенно их отсутствие на основных авеню, требует тщательности при разработке маршрута.

Из-за городской реновации и аномальных размеров муниципальной собственности на широкой полосе земли вдоль восточной стороны Ла-Гуардиа-плейс, здания между Западной 3-й улицей и Хаустон-стрит убраны далеко вглубь с улицы. Пространство между ними было отведено ландшафтному дизайну и по прошествии лет стало совершенно зеленым. Вдоль восточной кромки тянется торговая полоса – непрерывный одноэтажный стилобат с магазинчиками и ресторанами, а также, в соседнем здании, отдельно стоящий супермаркет – большая редкость в

городе, и сейчас к нему тоже тянет руки Нью-Йоркский университет. Сама восточная сторона Ла-Гуардии поделена на два суперблока, заменивших находившиеся здесь некогда девять обычных городских блоков, кусочек модернистской Бразилиа в сердце Нью-Йорка XIX века.

Летом температура вдоль этой зеленой полосы, образцового фрагмента «озелененной улицы», всегда немного ниже, чем на окружающих улицах. Зеленые насаждения, включающие в себя в одном блоке плотный плющ, а в другом – еще и квадраты общественного сада и «Пейзаж со временем» Алана Сонфиста, – прекрасное произведение искусства, ставящее своей задачей воспроизвести на небольшом участке нетронутый ландшафт, каким он был до прибытия белых поселенцев. Это произведение занимает значительную часть поверхности и очень способствует созданию благоприятной атмосферы. Оно даже испускает редкий и освежающий аромат. В нем с помощью малых архитектурных форм на протяжении вытянутого «линейного» ландшафта создается ландшафт искусственный, рельефный, способный частично выполнять даже функцию парка. В городе немало таких линейных ландшафтов, большей частью достаточно хорошо оформленных. Один из важнейших – парк Сары Д. Рузвельт,[71] разбитый на месте блока между Крайсти-стрит и Форсайт-стрит, на Нижнем Ист-сайде, соединяющий Хаустон-стрит с Канал-стрит.

Проект «Крайсти-Форсайт» возник в результате сноса жилых блоков между двумя упомянутыми улицами. Это классический мозесовский проект, один из тех – наряду с сотнями прекрасных парков, детских площадок, пляжей и 600 тысяч квартир, – что делает наследие Роберта Мозеса неоднозначным. «Крайсти-Форсайт» восходит к тем дням и к тому ощущению, когда модернистские идеи о создании «зеленых легких» города и избавлении от скученности путем тотального сноса трущоб принимались как должное. И впрямь, реализованная городская реновация к югу от Вашингтон-сквер, зеленые пространства между домами, зеленые полоски вдоль бордюров – последний вздох проекта городской реновации в своем классическом, незамутненном воплощении.

Вообще, в этой части города есть нечто особенно приятное. И это – высвобождение из нескончаемой сеточной конструкции. В Нью-Йорке найдется немало мест, в которых милосердная логика «проектов по расчистке трущоб» просто напрашивается – и имела бы смысл. Взглянув из сердцевины Нижнего Ист-сайда, ставшего ныне объектом беспощадной, зубодробительной джентрификации, в сторону Даунтауна, на юг, можно сквозь улицы, на которых теснятся душные ночлежки, разглядеть

превосходные жилые проекты, возведенные профсоюзами, и понять желание заменить нездоровые, плохо содержащиеся, перенаселенные трущобы щедро отмеренными и добротно выстроенными сооружениями, способными принимать солнечный свет и дуновение ветерка, а также интегрировать в них зеленые насаждения.

К сожалению, модели реконструкции были восприняты слишком буквально и были слишком ограничены идеей «игры с нулевой суммой»: сколько в одном месте прибудет, столько в другом убудет. Но, похоже, история города породила особую аутентичность, свой genius loci. Он реализовался через формальную гибридность, ставшую результатом длящейся столетие борьбы за первенство разных парадигм реновации, а также следствием того простого факта, что грифельную доску дочиста никогда не смоешь. Уникальный характер Нью-Йорка – продукт целой серии соположенных элементов, создающих непрерывную картину города, – города уличных домов и домов-башен в парках, города непрерывных стен и отдельно стоящих домов и т. д. Но все эти элементы распределены по городу как меньшие или большие фрагменты более важного целого. Будущее города заключается не в «протаскивании» следующей великой идеи через весь город, а во внятном артикулировании и ясном выражении разности уже существующих идей.

Череда пространств от Вашингтон-сквер до Ла-Гуардиа-плейс может служить напоминанием, что общественное пространство – это нечто досягаемое в равной степени физически и идеологически, скорее продолжение, нежели отрицание улицы. Подобное уточнение дает представление о коллективных намерениях и амбициях, равно как и намерении правительства их знать и охранять. К сожалению, историческая амбивалентность того, что относится к публичной сфере, вместе с навязшей на зубах мантрой, что обязательства перед частными лицами превыше всего, заставили увянуть идеологию распределенной ответственности и коллективной гармонии. Это увядание нашло свое выражение и в компромиссных гибридных соглашениях, подталкивающих даже весьма здравомыслящие институции к коварным «сбалансированным действиям». Что подразумевает: в утилитарных решениях «большее добро» всегда неизбежно сопровождается каким-нибудь «меньшим злом».

Например, Куперовский институт (Cooper Union[72]), известное ист-виллиджевское учреждение, предлагающее превосходное бесплатное высшее образование в течение более чем ста пятидесяти лет, оказался вынужден продать часть недвижимости в близлежащих кварталах, чтобы укрепить свои

поредевшие фонды. Хозяйственная логика настаивала на выборе того покупателя, который даст наибольшую цену, и как результат – напротив института вымахало одно из наиболее уродливых, неподобающих сооружений в этой части города – башня темного стекла для супербогачей, с гигантским банком на цокольном этаже. Точно так же, к северу от Виллидж, в Челси, занимающая целый блок епископальная семинария, включающая в себя величественное, хоть и обветшавшее здание в стиле неоготики, подверглась ожесточенным нападкам местных жителей за свои планы заменить одно свое (ужасное) современное здание относительно высоким кондоминиумом. Идея состояла в том, что новая структура позволит финансово обеспечить благоустройство всего остального кампуса. Спроектированное таким образом, чтобы вписываться в финансовый контекст, новое здание, однако, решительно не вписывалось в контекст физический. Недавно, впрочем, поступила благая весть: семинария согласилась на компромисс. Подобный же сценарий разворачивается сейчас вокруг планов заменить нашу местную больницу Святого Винсента на новое здание, с более щедрым финансированием, за счет передачи целой кучи старых сооружений, которые она сейчас занимает, застройщику, намеревающемуся выстроить на их месте обычные элитные кондоминиумы.

Город все больше и больше обустраивает свои дела в соответствии с «принципом Петра и Павла». С тех пор как он был впервые сформулирован в 1960-е годы в качестве неотъемлемого элемента политики зонирования, так называемая система бонусов превратилась в один из важнейших инструментов прямого субсидирования частной застройки муниципалитетом. Появившаяся изначально для поощрения особых проектов – парков, внутриблочных проходов, пассажей и аркад, эта система подразумевает формулу обмена некоего предполагаемого общественного блага (такого, как плаза) на общественное зло, почти всегда – какого-нибудь огромного здания, нарушающего правила зонирования. Подобный обмен по самой своей природе чреват последствиями: наносимый вред всегда изначально подразумевается в его изощренных формулировках, в которые облачено известное со времен царя Соломона прикидывание прибылей и убытков. Таким образом, система бонусов используется не просто для создания специфических форм общественного пространства, но для того, чтобы поощрять застройщиков развивать территории, признанные «увядшими» или недооцененными (вроде Таймс-сквер с Театральным кварталом). Подобные бонусы часто входят в большой пакет, включающий в себя освобождение от налогов, передачу

муниципальной собственности, усиление инфраструктуры за счет городского бюджета и свободную передачу прав на ограничение застройки соседних участков.

Современная вариация подобной системы, находящаяся все еще в зачаточном состоянии и как следует не отработанная, – вышеупомянутая идея «инклюзивного зонирования». По мере того как бедняки и представители среднего класса все сильнее выдавливаются из Манхэттена в другие места или вообще за пределы города, застройщики также активизируются в местах, ранее ими отвергавшихся. Множество мест в Бруклине: Хайтс, Парк Слоуп, Кэролл Гарденз – уже «манхэттенизированы», но все боро в большей или меньшей степени испытывают влияние этого огромного пузыря (хотя кризис высокорискового кредитования, опустошивший строительный рынок, здесь только начинает чувствоваться). Осознав, что город столкнулся с ситуацией значительной потери «доступного» жилья, городская администрация стала развивать новую бонусную систему: большой новый дом в обмен на «инклюзию», то есть включение в новый или какой-то еще проект известного числа квартир по низким ценам. Можно сказать, что речь идет о своего рода принуждении рынка, основанном на экономической теории рационального выбора. Вот что система должна предлагать застройщику, определенно рассчитывающему на большую прибыль, если он готов идти на бонусное соглашение.

Город сейчас вовлечен в обширный проект перезонирования, вызванный необходимостью разбираться с широкомасштабным давлением на застройщиков (и частыми провалами попыток существующей системы зонирования удовлетворить возникающие запросы или предотвратить появление обескураживающих последствий эксплуатации системы, которая не может больше соответствовать темпам городской трансформации). Конечным результатом окажется совокупное увеличение площади города в буквальном смысле, селективная защищенность определенных, особо ценных зон и полномасштабная трансформация обширных городских «пустошей», включая прибрежные зоны и некоторое количество остающихся сгустков промышленной застройки, в относительно нейтральные деловые и жилые кварталы. В такой попытке побудить рынок обеспечивать жилье людям с низким доходом, в которых он особо не заинтересован, присутствует определенная мудрость, но только время покажет, насколько серьезным окажется число доступных квартир и не увязнут ли переговоры о месте их нахождения, как и о структуре самой сделки, в бесконечной череде требований и уступок.

Та же самая идея частно-общественного партнерства была

распространена на парковое пространство. Согласно текущим муниципальным предписаниям, это означает, что парки должны содержать себя сами. Отчасти это наследство тяжелых дней муниципального банкротства («Форд[73] – городу: вытряхивайте покойников», гласил заголовок нью-йоркской газеты в то время, когда Нью-Йорк искал поддержки у федералов). Под вытряхиванием гробов здесь подразумевалась «отложенное» содержание буквально всего – от улиц до метрополитена и зеленых насаждений. Но в большей степени, однако, это результат сочетания общественной бережливости и республиканской идеологии, сводящейся к той идее, что всякое правительство – плохое правительство и ему не следует доверять свои деньги. Подобный отказ порою щепетильно маскируется взиманием денег в стиле «заплати по пути» и «брось денег в ящичек». Большинство недавно задуманных парков и общественных пространств проходят именно по графе «самофинансирование», и всем им в разной степени приходилось сталкиваться с противодействием местных сообществ.

При разбивке Бруклин-Бридж-парка (Парка у Бруклинского моста), сооруженного на фантастическом месте, там, где вдоль Ист-Ривер тянутся заброшенные пирсы, городским властям пришлось пройти через полный цикл протестов: люди возмущались, зачем это столько земли передали под возведение роскошных апартаментов. Выше по течению, в Гринпойнт, был разбит меньший по размеру прибережный парк застройщиками масштабного жилого проекта – в обмен на бонусы в зонировании. Главный предмет спора – в какой степени жители квартала, оказавшегося позади фаланги высящихся у воды башен, будут иметь доступ в новый парк и насколько справедливой платой за маленький клочок зелени окажется тень, накрывающая квартал во второй половине дня. Ближе к моему дому споры вспыхнули вокруг судьбы широченного пирса № 40 (в настоящее время – парковки и интенсивно используемой спортивной площадки), рассматриваемого городом в качестве краеугольного камня разработанной схемы, обеспечивающей самофинансирование Гудзон-Ривер-парка, тянущегося вдоль Гудзона на север от самого пирса. Застройщики борются за этот огромный общественный кусок, и исход борьбы пока не ясен.

Самые ожесточенные споры, однако, вызывает проект, предложенный для железнодорожной сортировочный станции в центре Бруклина застройщиком Брюсом Ратнером, который привлек архитектора Фрэнка Гери (как тут не вспомнить старую шутку: чтобы построить плохое здание, найми хорошего архитектора, но, чтобы построить отвратительное здание, найми

выдающегося архитектора!). В данном случае задача чрезвычайно вырастает в объеме и неизмеримо усложняется (претендуя на то, чтобы стать самой сложной задачей такого рода в стране). Если воплотить предложенный проект без изменений, здание будет возвышаться над малоэтажной окрестной застройкой и, вместе с профессиональной баскетбольной ареной, также входящей в проект, создаст значительное увеличение дорожного движения, загрязнения и нагрузки на муниципальные ресурсы, включая транзитный проезд и школы. В обмен общественность получит застройку и развитие незастроенного места, новый стадион и – относительно скромную парковую территорию, клочок зелени, которого едва ли хватит на тысячи новых жителей. Проект в целом, как и множество других, поддерживаемых мэрией Нью-Йорка, использует как преимущество тот факт, что большая часть предполагаемой площадки для застройки уже принадлежит городским властям, что поможет избежать серии обязательных публичных слушаний. Протесты оказались яростными (с приметным разделением между новыми, «джентрифицированными», местными жителями, и старыми, более бедными), и проект, вероятно, будет пересмотрен. Застройщики частенько представляют заведомо раздутые сверх всякой меры проекты, чтобы затем иметь возможность «ужать» их – правда, как правило, по-прежнему до неприемлемых размеров.

На протяжении почти всего XX века архитектура говорила в основном на языке функционализма, и даже в наши дни тот или иной вариант «полезности» продолжает оставаться ключевым для «рационального» истолкования смысла строительства. Всем известен знаменитый лозунг, приписываемый разным авторам: «Форма следует за функцией». Этот афоризм, предполагающий, что физическая форма здания должна в первую очередь определяться тем, для чего оно задумано, – главное требование архитектуры, желающей прослыть логичной и научной. Под функционализмом, когда он противопоставляется традиционным стилям, основанным на эстетических суждениях, понимается идея о том, что архитектура может быть предметом объективной оценки. Критерии, по которым оценивают здание, поддаются измерению с помощью научных мер измерения, таких, как эффективность, термальное поведение, психологический комфорт пребывания внутри и т. д.

Аналитика в позитивистском ключе предполагает не только то, что здание может быть описано через ряд достоверных измерений, но и, как принято в рационализме, то, что форма архитектуры может обрести универсальность. Знаменитая выставка 1932 года в Музее современного искусства в Нью-Йорке

оказалась кульминационной точкой кодификации определенного стиля. Именно после нее и появился ярлык «интернациональный стиль», с помощью которого описывали архитектуру, отличающуюся белыми стенами, великой простотой, определенным отпечатком технологичности при создании внешнего облика и конвейерным подходом к урбанизму. А еще подобный стиль был высшим проявлением менталитета колониального фундаментализма – убеждения, что подобная конкретизация присущей Западу формы и его социального порядка пойдут на пользу любому жителю Земли. Юмор заключался в том, что эта особая ветвь модернизма подпитывалась, в частности, призматическим вдохновением выбеленной архитектуры родом с обеих берегов Средиземноморья, европейского и африканского. Подобно «примитивистским» первоисточникам, столь любезным многим художникам того времени, она знаменует собой возвращение подавленного и угнетенного. Кто-то чувствует подобное напряжение в пугающей бинарности множества колонизированных городов, например, в Северной Африке, где «иррациональная» медина[74] дублируется неидентичным близнецом – построенным по сетке новым городом французских или итальянских сюзеренов.

Разумеется, реальный триумф этого минималистического стиля оказался более локальным, нежели его слава. Подобно искусству того времени, представителями которого в равной степени были и Мондриан и Джорджия О'Киф,[75] архитектура модернизма отличалась большим разнообразием. Победа минималистического стиля говорит о победе одного, особенно хорошо организованного лагеря в широком поле, лагеря, к которому принадлежали Антонио Гауди, Алвар Аалто, Мишель де Клерк и Фрэнк Ллойд Райт – и это лишь некоторые из большого числа архитекторов, предвосхитивших тот вид формальной пластичности и геометрической сложности, что так важны для сегодняшней архитектуры. Безусловно, победа эта оказалась возможной потому, что формы минималистического модернизма точно совпали с требованиями выразительности мирового капитализма, не говоря уж о различных модификациях кальвинистского «государства всеобщего благоденствия» и случившемся недавно триумфе американского стиля демократии и производства: что хорошо для «Дженерал Моторз», то хорошо для страны, а что хорошо для нас, хорошо для всего мира.

Греза о «плавильном котле» – вот гальванизирующая метафора американского опыта: e pluribus unum.[76] Идея

демократии состоит в последовательном стирании различий, пока все они не сведутся к самовоспроизводящемуся дистилляту американскости – рискованное предприятие, которое мы внедряем сейчас за границей, со столь катастрофическими последствиями в Ираке, где мы недоумеваем, почему это сунниты, шииты и курды, не желающие иметь между собой ничего общего, не могут просто жить дружно – под нашими прицелами. И хотя мы благополучно втюхиваем всем универсальность наших понятий, подобный процесс «очищения» практиковался и в тоталитарных системах, которые также пытались создать «нового человека». Рационализм и научное понимание сошлись с радикальными взглядами на природу равенства, породив идею всеобщего – и статистически проверяемого – субъективизма. Если нам всем предначертано иметь одни и те же потребности, вкусы, чаяния – кажется вполне логичным, что и наша архитектура тоже будет одинаковой. Система потребления легко примет поверхностные вкрапления местного колорита – в лобби дубайского небоскреба будут очень уместны ориентальные арочки, а большому гонконгскому начальнику придется весьма по вкусу зал заседаний, обставленный в соответствии с принципами фэншуй.

Экономические предпосылки торжества минималистского стиля слишком очевидны. Это ведь были годы фордизма, массового производства, расцвета тейлоровской системы организации труда и бесконечного приумножения и изучения переменчивости потребительских запросов. Еще это было начало эпохи, когда корпорации, самонадеянно примеряя на себе колониальные поползновения национальных государств первого мира, сделались беззастенчиво транснациональными. В минимализме видели как подходящее (и недорогое) выражение триумфа во всемирном масштабе (а не просто безликий «режим по умолчанию»), так и идеальный стиль для размещения (а впоследствии – пленения) всеобщей культуры и приумножившихся граждан государства всеобщего благоденствия. Ранние, «созданные прямо для вас», идеи рационализма, оказывавшие благотворное терапевтическое влияние, перемешавшись с тоталитаризмом и алчностью, ныне, по совести, переродились в «годный для нас» постоянный режим столкновения цивилизаций, идет ли речь о Багдаде или о южном Лос-Анджелесе.

Современность, под риторической облицовкой науки, всегда оставалась этической проблемой. То, что функционализм имеет нам сообщить, – это то, что инженеры и ученые зовут «элегантным решением»: убеждение, что лучшее решение

проблемы (идет ли речь о математическом доказательстве, о машине или о организационной диаграмме) – это всегда самое экономное решение. Подобное самомнение привело к коллапсу техническому, этическому, эстетическому, причем каждая составляющая усиливала изначальную идею экспоненциально. Постмодернизм, поднявшийся в контратаку с лозунгами амбивалентности, неопределенности, относительности и различности, оказался важной состязательной стороной, выступающей от имени подавленной части универсализма, но зачастую вставал на зыбкую этическую почву, подрывая идеи консенсуса, нанося слишком много нравственных ударов и слишком увлекаясь амбивалентностью высказывания. И к тому же дестабилизация, осуществляемая постмодернистской критикой, сыграла определяющую роль в нарушении рефлексивной связи между определенным видом архитектуры и выработкой конкретного типа общества.

Терапевтический эффект, производимый модернизмом, выражался не в том, что отделяло его от предшественников. А в его комбинации постпросвещенческой политики равенства, особой заботы о научной объективности и внимания к телу. Строго говоря, архитектура и архитектурная теория оперировали подобными идеями тысячелетиями, направляя свою мощь на просветление души, соразмеряя свои пропорции с нашими собственными, приводя социальные отношения в соответствие со своей структурой. Но подъем того, что получило название гуманизм, знаменовал собой фундаментальный эпистемологический сдвиг, новый инструментальный стиль, в котором архитектура стала в гораздо большей степени идентифицироваться с медициной, то есть разнообразными практиками, различающимися стилями и подходами, но отстаивающими общую концепцию «здоровья». (Возможно, будет полезным напомнить, что один из признанных отцов научной медицины в Америке, Бенджамен Раш, был маниакально зациклен на кровопусканиях.)

Усиление медицинского начала в архитектуре можно усмотреть в озабоченности санитарией, светом и свежим воздухом, преобразовавшей большие сооружения XIX века; в жарких дебатах по поводу идеальных тюрем и психиатрических лечебниц, способных оказать наиболее благотворное влияние; во внедрении защитных технологий пожарной и сейсмической безопасности; в выносе вредных производств – и в предпочтении простого, гигиеничного, белоснежного интернационального стиля в модернизме. С точки зрения современных идей и методов, многое из тогдашних подходов кажется одновременно и

привычным, и безумным. Как вспыхнувшие тогда и продолжающиеся поныне дебаты, этот стиль трогает своим сочетанием деятельного оптимизма, желанием пользоваться «разумом», чтобы «делать добро», и разочаровывающей верой в то, что Дэвид Харви называл пространственно-средовым детерминизмом.

Эта озабоченность воспроизводится как на уровне отдельно взятого дома, так и всего города, то есть тела человеческого и тела политического. Более того: современная архитектура видит себя как мост (тоннель) в природу и как ее часть. Размывание границ между архитектурой и природным миром выдвинуло на передний план «проницаемые» дома, позволяющие природе течь сквозь себя; дома, вознесенные на пилоны, дабы освободить землю под домом и не мешать природе; дома, сориентированные по солнцу и по преобладающим ветрам; дома, старающиеся слиться как можно незаметнее с природным или социальном ландшафтом. В наши дни интерес к подобным пересечениям перешел от простых символических жестов к целому движению «зеленой архитектуры», к домам с истинно научным пониманием ключевой роли, которую играет строительство в сохранении здоровья планеты. Что, в свою очередь, привело к возрождению интереса к разным видам традиционной геомантии, вроде индийского Васту или китайского фэншуй, отстаивающих наличие взаимосвязи с природой (та же гипотеза Геи), – являющих собой, скорее всего, удобные плацебо.

Во второй четверти XX века возникли два влиятельных вида современного урбанизма, оба – в результате слияния критики промышленного города и понимания того, что современный город являет собой пример резкого дисбаланса человеческих отношений с природой. Первый – это «город-сад». Эту классическую формулировку дал англичанин Эбенизер Говард в книге в 1898 года «Будущее: мирный путь к реальным реформам». Четырьмя годами позже эта книга была переиздана под названием «Города-сады будущего».[77]

Города-сады были призваны «излечить» проблемы промышленных мегаполисов путем радикальной децентрализации, предусматривающей создание целого архипелага маленьких городков, более напоминающих деревни, с низкой плотностью населения и окруженные полями и лесами. Благодаря своему деликатному масштабу и общей зелености, они, по замыслу создателя, должны были стать рассадниками гражданственности и здоровья. Конечно, идеи Говарда были во многом вдохновлены более широкой критикой современности, проводимой, в частности, Уильямом Моррисом и Джоном

Рёскиным, ратовавшими за восстановление индивидуалистической, аграрной, базирующейся на ремеслах культуры, которую они ассоциировали со Средними веками. Но именно идея города-сада легла в основание всех последующих попыток создавать компактные, устойчивые новые городки. Провидческой – как называл это сам Говард – оказалась также концептуальная проработка предстоящего организующего порядка, соединения этих городков транспортом и средствами связи – модель, исключительно созвучная нашим дням.

Вторая выдающаяся модель предполагала создание новых городов гораздо большего масштаба, но согласно неопровержимо рациональным планам. Классический пример – «Современный город-трехмиллионник» Ле Корбюзье 1922 года. Подобно городу-саду, город-трехмиллионник старался преодолеть отчуждение от природы. Но вместо распределения по компактным поселкам, основанным на традиционной деревенской архитектуре, город Ле Корбюзье помещает свое население в огромные башни, рассредоточенные, в точном соответствии с декартовой системой координат, по обширному парку. Каждая функциональная зона здесь четко определена, и жители обязаны шагать по своему бесконечному Эдему, чтобы добраться до офисных башен в центре города, отведенных для того, чтобы коммерция и социальная жизнь процветали здесь под сенью гигантского цоколя. Весь проект мог функционировать благодаря автомобилям (технологии, еще не существовавшей во времена Говарда), позволявшим жителям быстро перемещаться из одного места в другое благодаря системе скоростных шоссе (хотя Корб сильно недооценил необходимые инфраструктурные требования).

Корб воевал под знаменами своего урбанизма, вербуя сторонников благодаря блистательным статьям, полемике и своей ведущей роли в CIAM – Международном конгрессе современной архитектуры (Congrès International d'Architecture Moderne). Этот конгресс, основанный в 1928 году, более всего известен своим манифестом 1933 года «Афинская хартия», в котором кодифицированы элементы функционального урбанизма. В 1925 году Ле Корбюзье переложил свой «Город-трехмиллионник» в «План Вуазен» для Парижа – сверхпроект городской реновации, задумку насколько грандиозную, что Осман на его фоне показался бы мелочным. Корб предлагал расчистить обширную территорию существующей городской ткани и заменить ее новыми крестообразными башнями. Поскольку в этом проекте архитектурные идеи были тесно увязаны с социальными, Ле Корбюзье осознавал, что его практическая исполнимость прямо зависит от того, в какой мере он встретит понимание сильной

централизованной власти. (Это осознание сослужило ему очень дурную службу позднее, во время войны, когда он беспардонно подлизывался к вишистскому правительству.) Под влиянием синдикализма 1930-х годов, с его идеей о неизбежности появления «естественного» лидера, Ле Корбюзье считал себя самого кем-то вроде философа-архитектора-короля. Он прямо писал в 1935 году:[78] «Власть должна вступиться, патриархальная власть, власть отца, заботящегося о своих детях».

Ле Корбюзье продолжал защищать то, что он называл «лучезарным городом», до самой смерти, а в 1960-х опубликовал свои видения в законченном виде, отрисовав их с такой безумной и соблазнительной элегантностью, что они прямо-таки заворожили поколение архитекторов, преподававших в мои студенческие годы. Для них обладание рисунком или картиной Корба стало равносильно обладанию реликвией Истинного Креста. В своем финальном воплощении город Ле Корбюзье был организован посредством одиннадцати просторных жилых башен, вмещавших две тысячи семьсот жителей, каждому из которых отводилось четырнадцать квадратных метров жилого пространства. Оттуда они перемещались в зону офисных башен, предназначенных для трех тысяч двухсот работников каждая. Корб метко называл это «вертикальным городом-садом», подчеркивая неразрывную диалектическую связь двух противоположных концепций – города и деревни, доминировавшую к тому времени более полутора веков в трудах таких мыслителей, как Томас Джефферсон, Эбенизер Говард, Фрэнк Ллойд Райт и множество других.

В начале 1950-х Ле Корбюзье выпал шанс действительно построить город с нуля. Это индийский Чандигар. Имеющий ныне население более миллиона человек, этот город твердо следует модели «лучезарного города» – и категорически отличается от нее. Он организован в виде серии суперблоков 800 на 1200 метров, называемых «секторами», каждому из которых отводится своя функция в квартале. Подобное разделение позволяет и даже требует эффективного функционального зонирования. Сектор 17 – торговая зона, правительственные учреждения занимают особую территорию в «голове» города, а промышленные объекты где-то за горизонтом. Инфраструктура города подчинена изощреннейшей иерархии. Расселение производится согласно целому набору пространственных и имущественных классификаций, так что кастовая система начинает выглядеть республиканством. Пространство под движение выделено с ошеломляющей щедростью и организовано в семь полос (V1, V2, V3 и т. д.) в соответствии со скоростью каждого участника дорожного

движения. Позже последователями Корба была добавлена восьмая полоса, для велосипедов и пешеходов – способы передвижения, о которых мастер мало заботился.

Но в Чандигаре присутствуют по крайней мере две особенности, которых лишен «лучезарный город». Это бедная страна, и это Индия. А значит, улица отстаивает свою важность вопреки таким препятствиям, как ширина, разделенность на полосы и повсеместная торговля, с помощью хитрых и красноречивых уловок, особенно в зонах с высокой плотностью населения. Уличная жизнь в секторах, занятых огороженными виллами высокопоставленных чиновников, – во многом прерогатива их охранников, рассевшихся у ворот со своими допотопными энфилдовскими винтовками в руках. Хаотичная, шумная неразбериха индийского дорожного движения – хотя и в значительной степени разряжаемая безумной избыточностью полос – придает городу ощущение вечной суматохи, которое самого Ле Корбюзье, вероятно, ужаснуло бы. Как и все города, Чандигар «передан на испытание» заселяющим его людям, чьи традиции и устремления не задушишь и не убьешь одной архитектурой.

Но Чандигар, хоть и в редуцированном виде, сохраняет набор элементов «лучезарного города»: отдельно стоящие башни, зонирование согласно назначению, зеленый первый этаж, а замена сети улиц на систему скоростных шоссе лишь четче выкристаллизовала ту операцию, которая по всему миру произошла под разными личинами. Самая известная – «разрушить, чтобы сохранить». Таков посыл городской реновации: «Отсечь опухоль!» В Нью-Йорке частные застройщики таких кварталов, как Питер-Купер-Виллидж, Стайвесант-Таун и К°-оп-Сити,[79] равно как и сотни проектов жилищного департамента, – формальные адаптации ее чарующего лика. Еще они выступают в роли адаптаций социальных, потому что их население однородно в единственном смысле, имеющем значение в современную эпоху: класс, который, особенно в таком обществе, как наше, выражает тенденцию усугубления разделения, а не сглаживания его.

Вашингтон-сквер-виллидж, два длинных жилых блока Нью-Йоркского университета в квартале городской реновации к востоку от Ла-Гуардия-плейс, очевидно, вдохновлен еще одной знаковой идеей Ле Корбюзье, так называемой unité d'habitation, «жилой единицей», с помощью которой он возвел немало домов, самые известные – в Марселе. Такая «единица» претендовала на то, чтобы быть самодостаточным кварталом, вытянутой по вертикали сеткой городского ландшафта. Именно так Корб воображал себе город будущего. Воплощенные поодиночке,

«единицы» представляли собой великолепные, блестяще скомпонованные бетонные структуры, наполненные гениально спроектированными двухэтажными апартаментами, пересекающимися посекционно, чтобы обеспечить перекрестную вентиляцию с обеих сторон здания. Еще в них предусматривалась веселая игровая терраса для детей на крыше (на Вашингтон-сквер-виллидж осталась ее бедная копия – изогнутые замкнутые пространства с водяными баками и лифтовыми механизмами), а вся конструкция была вознесена над землей на пилонах. И еще они содержали такой элемент канона Ле Корбьюзье, как «небесная улица в небе» – его менее успешная попытка заменить настоящую улицу.

Корбово отвращение к улице переполняет его идеологию и спровоцировало крупнейшую дискуссию в урбанизме на долгие годы. «Небесная улица» должна была прийти на замену обыкновенной улице, обеспечивая необходимые услуги внутри отдельного здания. В «единицах» целый этаж, примерно по середине высоты здания, отводился магазинам и офисам, идея заключалась в том, что жильцы могли спускаться или подниматься из своих квартир, чтобы совершать ежедневные покупки в тиши этих специально отведенных мест, не испытывая необходимости покидать здание. Как и практически все «небесные улицы», эта идея потерпела крах как с социальной точки зрения, так и экономической. Главным образом потому, что исходила из глубоко ошибочной предпосылки общности интересов обитателей каждой «единицы», способной сплотить их в единое сообщество. Это был во многом продукт утопической социалистической идеологии, определяющей для Корба (и многих других) и позаимствованной, в частности, из трудов Шарля Фурье.

Фурье входил в то великое движение XIX века, представители которого намеревались перевести идеи социальных реформ в практическое русло, «вернуть на землю». Обобщая, можно сказать, что эти идеи породило то чувство пластичности общества, что взросло вместе с Просвещением. Личный вклад Фурье, внесенный им вместе с архитектором Виктором Консидераном, – это так называемый фаланстер, коллективистское сообщество, проживающее в отдельном доме. По иронии, в качестве образчика для этой идеальной архитектуры был взят Версаль, родной дом политической системы, выступающей полной антитезой фаланстеризму. Но Версаль при этом (прежде всего – сам по себе настоящая мегаструктура) выступал домом для «полного» сообщества, и приспособление его «дворцовой» и «элитистской» формы «для нужд народа» вызвало

сильный резонанс. Политики-революционеры испокон веков разрывались между стремлением жить в строгости, не щадя живота своего, и мечтою о том, чтобы в роскоши жили не одни хапуги-богатеи, но и умирающие с голоду бедняки. Идея построить совершенное общество с четко очерченными границами – это заманчивая идея, резонировавшая в западной культуре в течение всего XIX столетия. Демократическая страна-нация, город-компания, буржуазная идеализация домашнего очага, священного и совершенного, – все шло на пользу восхитительному проекту просчитанной и контролируемой гармонии (не случайно одна из самых знаменитых созданных коммун носит название «Новая Гармония» – Нью-Хэрмони в Индиане – и до сих пор физически существует[80]). Ле Корбюзье был глубоко впечатлен самой идеей, что обществом можно манипулировать, и внес в свою архитектуру величайшую историческую ошибку – убеждение, что переделка пространства может и должна вести к переменам в политике культуре и в самой душе. «Единицы» были заражены негибкостью такого представления, хотя и стали, помимо всего прочего, великолепно продуманным образчиком современного архитектурного типа – квартирного дома.

Корб был совершенно прав, полагая, что большой квартирный дом должен иметь множество назначений. Детские ясли, овеваемый ветерком парк на крыше или же стоматологический кабинет и бюро архитектора, внедренные в жилую ткань, – это логичная и жизненная добавка, противоядие против вездесущего однонаправленного зонирования. Но желание Ле Корбюзье полностью отвязать «небесные улицы» от городской системы улиц, наиболее полно реализующих общественный потенциал городской среды, было ограниченным, если не сказать «совершенно разрушительным». Хороший город – это всегда подвижный баланс между текучестью образующихся ассоциаций и стабильностью избранных постоянных союзов. Подобно обитателям «Аннабель Ли», жильцы «единиц» Ле Корбюзье не сплочены вместе какой-то предварительно образованной связью (кроме, может быть, общности архитектурного вкуса). Хотя они, как и я сам, охотно могут поболтать с соседом, столкнувшись с ним на улице или в мелочной лавке, никому из нас в голову бы не пришло совершать свои ежедневные дела в одной компании или предполагать друг в друге автоматическое совпадение вкусов или интересов.

Пожалуй, пора прояснить то, что может казаться противоречием в аргументации: моя симпатия к столь отличающимся друг от друга аспектам наследия Корба и

Джейкобс. В последние несколько лет наблюдается возрождение интереса к деятельности Роберта Мозеса (сильно развившего идеи Ле Корбюзье). Прошло несколько выставок, издаются книги, печатаются статьи с эффектными выносами о нем. Во всех текстах почти неизбежно провозглашается прямо-таки манихейская борьба между Мозесом и Джейкобс, они выставляются непримиримыми антагонистами, нацеленными на полное взаимное уничтожение. Взлет мозесовской репутации отчасти стал результатом зацикленности администрации на «больших» проектах, разочарованности обычных людей тем, насколько медленно осуществляются демократические процедуры при рассмотрении городских проектов в сообществах, общим впечатлением некомпетентности участников процесса со стороны муниципальных властей. Заново оказался оценен и конструктивный вклад Мозеса: парки, пляжи, детские площадки – и множество жилых микрорайонов. «Чуть-чуть побольше Мозеса, чуть-чуть поменьше Джейкобс» – таков стал общий глас.

Но что Корб в действительности думал о Нью-Йорке? В 1937 году он опубликовал «Когда соборы были белыми» – свой отчет о путешествии в США, предпринятом годом раньше. Книга эта откровенно лежит в русле тех сочинений, авторы которых, прячась под личиной наблюдения, страстно желают все переиначить в податливой плоти города. У французов особенно сильны такие традиции: от Токвиля до Корба, от Бодлера до Леви,[81] даже Серто. И действительно оба они, Серто и Ле Корбюзье, начинают свои наблюдения с того, что бросают взгляд на город с высоты небоскребов – самый избитый из аналитических тропов, который только может предложить наблюдателю наш Готэм. Серто использует этот ход для того, чтобы поскорее ринуться вниз, к земле, в пространство отдельных пешеходов. Взгляд Корба остается более рассеянным, и, восхищаясь динамизмом и вертикальностью города, его четкостью и его сеткой, он в то же время находит его плохо спланированным и приводит Нью-Йорк в качестве доказательства необходимости масштабной перестройки в соответствии с его теориями. И он надеется, что подобное предприятие окажется возможным в Америке – стране без прошлого, но наделенной первобытной энергией и наивной тягой к масштабным делам.

Корбовы предписания для Нью-Йорка были вполне предсказуемы: еще бóльшие небоскребы, автономные и сориенированные по декартовым координатам; укрепление фундаментов, позволяющее открыть цокольные этажи; разделение автомобилей и пешеходов для ускорения потоков; очищение живописных «романтических» аномалий исторического,

«временно́го» города; существенный рост населения. Каждый рецепт, впрочем, сопровождался отговоркой, что зачастую дело в деньгах. В таких главах, как «В городе нет деревьев» или «Полтора миллиона машин ежедневно», Корб пытается отстоять в первую очередь интересы людей, стоящих на ногах. Но его идея пеших прогулок по городу ничем не отличалась от походов по сельской местности, и подобное умолчание, подобное механическое смешивание города и деревни тесно увязано с основной модернистской проблемой городов. Корб мечтал, чтобы деревья образовывали почти непрерывные леса, а дома при этом оставались вынесенными далеко в сторону. Он полагал, что конфликт между автомобилями и пешеходами можно разрешить уничтожением верениц входных дверей на городских улицах (каждая – потенциальное место остановки автомобиля) и консолидацией их в огромных башнях, где тысячи входят через одну дверь. Подобные идеи разрушили бы Нью-Йорк. И придали логику действиям множеству тех, кто над этим упорно трудился.

Узкий интерес, который объединяет нас всех, жильцов «Аннабель Ли», – это стремление поддерживать здание в должном состоянии и непрекращающаяся борьба с домохозяином. За этими пределами – каждый выбирает свое. Но нас равно восхищает то, какое множество возможностей выбора предлагает наше соседство. Хотя я могу себе вообразить жизнь в среде, предполагающей более тесное, более насыщенное взаимодействие с ближними, – соглашение о «вместежитии»[82] или что-то даже еще более близкое к студенческому общежитию со своим собственным продуктовым кооперативом, в каком я жил в шестидесятый годы – этот выбор я хотел бы сделать сам. Но это, к сожалению, одна из многих опций, практически мне недоступных ввиду ограничений, накладываемых рыночной системой и моими собственными предпочтениями касательно того, где жить. Будь на то моя воля, я, разумеется, выбрал бы для проживания здание, в котором места общего пользования лучше содержатся, используются альтернативные источники энергии и применяется лучшая, более надежная система сбора и утилизации отходов. И город бы я предпочел такой же – гигантскую «единицу» Ле Корбюзье.

Но при всем при этом я настоящий фанат и Вашингтон-сквер-виллидж, и домов в образующем этот квартал суперблоке, известных как «Серебряные башни», Сильвер Тауэрз, – три превосходных бетонных квартирных дома, которые возвел И. М. Пей, явно вдохновляясь идеями Ле Корбюзье. Они нравятся мне как за собственные формальные достоинства, так и за широкое

зеленое пространство, создаваемое ими в плотной ткани Виллидж. Спору нет, путешествие вдоль и западного, и восточного края суперблока может навеять скуку, но зато они предлагают густую тень. Каждое здание Вашингтон-сквер-виллидж «приподнято» в двух местах, пропуская под собой существующие улицы, а дорожное движение ограничено машинами, паркующимися на специальном пространстве перед большой зеленой лужайкой, которую эти дома обрамляют. В частности, пешеходной является улица, продолжающаяся вниз от Юниверсити-плейс, от юго-восточного угла Вашингтон-сквер, идущая между библиотекой Нью-Йоркского университета и старым зданием, в котором нынче размещается бизнес-школа университета. Дальше эта улица проходит в арке под первым из зданий Вашингтон-сквер-виллидж, пересекает зеленое пространство между этим домом и его близнецом, затем – под вторым зданием, далее, за перекрестком, проходит мимо Сильвер Тауэрз и, наконец, пересекая Хаустон-стрит, перетекает в Вустер-стрит, где плотность Сохо и поражает, и стимулирует не только ритмичным чередованием нагромождений и пробелов в городской ткани, но и обилием пешеходов, спокойствием и богатством архитектуры.

Дома Вашингтон-сквер-виллидж и Сильвер Тауэрз – достойные музея образчики двух знаменитых типов квартирных домов современности: дом-башня и дом-пластина. Оба, будучи введенными в чистом виде в городскую ткань, показывают свои сильные и слабые стороны. Сложность с пластиной, гениально разрешенная Ле Корбюзье, – это противоречие между циркуляцией и вентиляцией. Наибольшей эффективности пластина достигает тогда, когда по ней можно двигаться вдоль длинной стороны. Эта длина часто оказывается чрезмерной, что удается исправить – пусть и со снижением экономичности – с помощью регулярных вертикальных «стволов». А наиболее эффективная система циркуляции, то есть организации доступа к помещениям, с точки зрения отношения общей площади здания к потенциально используемой – это двусторонний коридор, из которого двери ведут направо и налево. Это приводит нас к типичной планировке квартирного дома-пластины: комнаты квартир выстроены вдоль единой линии наружных окон, зачастую – со своим собственным внутренним коридором, параллельным общедоступному.

Спроектированный таким образом дом-пластина порождает очень длинный коридор – канонический современный образ отчуждения: бесконечная анфилада идентичных дверей в искусственном свете, всегда жарковато, душновато и странно

пахнет. Два лицевых фасада препятствуют появлению сквозняков в квартирах и подразумевают равенство обеих сторон как с точки зрения освещенности, так и панорамы. Чтобы функционировать как полагается, пластины должны стоять отдельно, так что суперблок и пластина – симбионты, один предоставляет необходимое пространство другому. В подобающих обстоятельствах пластина работает прекрасно. Здание ООН (к которому Ле Корбюзье основательно приложил руку) свободно стоит посреди собственного суперблока, и с одной его стороны открывается вид через Ист-Ривер, с другой – панорама Манхэттена. Но, однако, поскольку широкие фасады смотрят на запад и на восток, здание весьма страдает от прямых лучей солнца, особенно летними вечерами. Главное здание Рокфеллер-центра, вертикальная пластина, приближающая по своим пропорциям к башне, сориентирована боками на север и юг, предоставляя посетителям волшебный вид на Аптаун и Даунтаун. Южная сторона – солнечная, но, в отличие от секретариата ООН, окна здесь действительно можно открывать.

В Нью-Йорке нет буквально ни одного здания, которое было бы спроектировано с учетом специальных требований, предъявляемых ориентацией по солнцу. Это с неизбежностью приводит к появлению предпочтительной стороны (и не обязательно северная сторона предпочтительнее южной), что, в свою очередь, ведет к появлению избегаемой стороны, идет ли речь о солнце или об открывающихся из окна видах. Модернистская архитектура, особенно в виде своей эмблемы – наглухо запечатанного и запаянного со всех сторон стеклянного небоскреба, – продолжает изощряться, доказывая эффективность минимализма, этой эстетической настойки философского универсализма на бессознательном. Платой за это стала архитектурная забывчивость, пренебрежение как культурным, так и климатическим контекстом: парадигма герметически запечатанной башни с собственным микроклиматом, стабилизированным как по освещенности, так и по температуре, превосходящей фантазии об автономности фаланстеров и «единиц». Даже «зеленые» офисные башни нынешнего поколения в Нью-Йорке ничего не могут поделать ни с этим имиджем, ни с этим функционалом, но лишь пытаются использовать более практичные, жизненные средства, вроде двойного остекления, чтобы сократить теплопотери, но ни в коем случае не открыть окно.

Нигде это изощренное безразличие современной архитектуры к судьбам планеты так не бросается в глаза, как в Дубае, с его невероятными силуэтами. Взметнувшиеся из песка пустыни в

духе «Ученика чародея», стеклянные башни стремятся превзойти одна другую по высоте и формальной новизне, в то время как их внутреннее пространство и его функциональность абсолютно унифицированы. Чтобы охлаждать их в испепеляющей жаре, необходимо сжигать неисчислимые баррели нефти (в которой, впрочем, недостатка нет). А что более всего удручает в этом бездумном жертвоприношении, – в этом регионе в течение столетий выработали широкий спектр простых архитектурных решений, позволяющих отводить тепло вовсе без расходования невосстановимых источников энергии. Толстые стены, затененные внутренние дворики, маленькие двери, башни, ловящие ветер, охлаждающие бассейны, правильная ориентация по солнцу и другие совсем простые, логичные решения, которые не просто определяли подлинную локальную морфологию жилья, но также и поверяли и уточняли принципы устойчивого соответствия сооружения месту.

Привнесенная версия современной архитектуры, с ее социальным упрощением и технической изощренностью, двигалась ровно в обратном направлении. По-настоящему устойчивая архитектура должна начинать с простейшего (занавеси, перекрестная вентиляция, правильная ориентация по солнцу), но создавать самые сложные социальные отношения (разнообразие перед единообразием). Изобретения появляются не от игры чьего-то разгоряченного воображения, но от постоянного уточнения вопросов, возникающих на пересечении климата, культуры, технологии, политики и вкуса, из понимания, что архитектурные смыслы создаются, а не наследуются. На данный момент инновации в сфере «зеленой архитектуры» затруднены закостеневшими представлениями о том, что «по-настоящему круто», нежеланием пересматривать устоявшиеся формы и типологии и отказом приводить системы в соответствие с подобающим масштабом.

Один из самых популярных образов современной архитектуры – фотографии, запечатлевшие подрыв жилого комплекса Пруитт-Айгоу в Сент-Луисе в 1972 году – событие, преподносимое порой как символическая смерть модернизма и пришествие его же с приставкой «пост-». Снос Пруитт-Айгоу оказался первым в череде многих аналогичных событий по всей стране. Подобно тому, как городская реновация – это в первую очередь проекты новой застройки, и здесь проблему бедности снова пытались решить, снося дома для бедных. С точки зрения пропорций и исполнения дома Пруитт-Айгоу, спроектированные Минору Ямасаки, архитектором Всемирного торгового центра, почти идентичны домам на Вашингтон-сквер-виллидж, лишь

незначительно уступая им в деталях и отделке. Разница заключалась в двух вещах: первый комплекс был заселен матерями-одиночками без гроша за душой, а второй – хорошо оплачиваемыми и семейными профессорами из колледжей; а еще – первый стоял на отшибе, как будто в изоляции, а второй – в центре оживленного и разнообразного квартала.

Сильвер Тауэрз представляет собой другой высотный морфологический прототип – дом-башню, вертикально ориентированное здание, сердцевиной которого выступает лифтовая шахта. Подобные здания избавляют от необходимости прокладывать длинные коридоры и предполагают скорее четырех-, нежели двухстороннюю конфигурацию. В своей наиболее выраженной форме, как в случае Сильвер Тауэрз, или, как крайнее проявление, невообразимые «карандаши» Гонконга, весь путь лобби-лифт-квартира полностью исключает коридоры. Как я уже заметил раньше, переход из публичного пространства в личное всегда подразумевает разные промежуточные элементы, как физические, так и социальные. В Нью-Йорке этим фильтрам свойственно умножаться, включая в себя многочисленные дверные проемы, домофоны, консьержей, лестничные пролеты и лифты, коридоры, тамбуры, вестибюли, регламенты замкнутости пространства и его освещенности, протоколы идентификации, замки и задвижки.

И это напоминает нам о еще одном различии между Пруитт-Айгоу и Вашингтон-сквер-виллидж. В центре многочисленных дебатов середины века об урбанизме, в которых принимал участие не только Оскар Ньюман, но и Джейн Джейкобс, оказались не только альтруизм, но и преступность. С незапамятных времен привилегированный класс осознал опасность, исходящую от тех, от кого зависят его блага, и вся история государства и его институтов – это история того, как менялись средства, позволяющие с этой опасностью справляться. От рабства к крепостному праву, от минимальной зарплаты к социальному пособию – в любую эпоху риски, возникающие вследствие качественного неравенства, служили универсальными средствами описания самой природы управления, сделки, порожденной «общественным договором». Каждая из таких сделок привела к появлению собственных характерных институций, социальных и пространственных. То, чего послевоенные реформаторы-либералы пытались добиться путем создания проектов доступного жилья вроде Пруитт-Айгоу, более честные современные сторонники строгой дисциплины пытаются добиться путем увеличения тюрем.

Преступность – побочный продукт неблагоприятной среды,

будь то семья, район, школа или сообщество. Значительная часть дебатов между либералами и консерваторами в Соединенных Штатах ведется вокруг этиологии преступления, степени индивидуальной и коллективной ответственности за антисоциальные действия. Сдвиг соотношения между социальной терапией и полицейскими мерами знаменует прогресс в этих спорах и изменение понимания форм и установлений, подобающих хорошему городу. Не случайно резкий скачок строительства тюрем совпал со столь же резким скачком создания закрытых дворов, не говоря уже о нынешней навязчивой попытке обезопасить национальные границы от вторжения террористов и прочих «чужаков». По иронии судьбы, в городском планировании это снова вернуло нас к вере в физические формы, к стремлению их идеализировать, столь характерным для модернизма в его самом утопическом проявлении.

Самая успешная идеология планирования в современной Америке – так называемый новый урбанизм. Это движение, формализованное посредством хартии и конгресса, сознательно подражающих хартии и конгрессу CIAM, отстаивает возвращение к практике «традиционного» урбанизма и разделяет многие заповеди, связываемые с Джейн Джейкобс: блочная форма, малый масштаб, пеший ход и многое другое из того, что демонстрируют сейчас самые вдумчивые горожане. Теоретически, «новый» урбанизм идеализирует то же, что и Джейкобс: легко обозримое, «домашнее» соседство, урбанистика живой социальности, основанной на уличной жизни.

Но в центре внимания нового урбанизма – пригород; и его критика красноречива, хоть и не вполне оригинальна. Они проклинают неэффективность и отчуждение, возникающие в результате расползающейся застройки, обрушиваются на уродство «главной улицы»,[83] и призывают вернуть спальным пригородам облик маленьких городков. По всей стране они успешно убеждали сотни застройщиков переделывать типовые проекты, дабы создать более «плотные», как бы традиционные «общины». Но они почти ничего не сделали для того, чтобы преобразовать экологию пригородов, пересмотреть его социальное и экономическое пространство. Подавляющее большинство проектов застройки пригородов в духе «нового урбанизма» продолжают оставаться преимущественно жилыми, заточенными исключительно под средний класс, просто заменяя одну формообразующую парадигму другой. Вместо кривых улочек, тупиков и участков по пол-акра,[84] они предлагают сеточный план, тесно составленные дома с портиками, а вместо торгового центра – городской центр. Но содержащий те же самые

магазины.

Несмотря на то что на поверхностный взгляд такие застройщики в точности следуют заповедям Джейкобс, в действительности то, что они делают, – полная противоположность им. Подобные места, с их стилистическим единообразием, наложенными ограничениями и ассоциациями домовладельцев, – бастионы на пути разнообразия. Вооруженные против любой случайности, они в точности как те «оторванные от почвы города-сады», к которым Джейкобс питала такое отвращение. В своем первом шедевре, «Жизнь и смерть больших американских городов», Джейкобс выдвинула знаменитое утверждение: «Город – это не произведение искусства». Под этим она не подразумевала, что город не должен быть красивым, что проекты его украшения должны быть отложены. Напротив – она осуждала модернизм за ограниченность изобразительных средств и источников вдохновения и, шире, за убеждение, что город может быть сведен к какому-либо набору практик и техник – изучения, конструирования или участия. Конечно, Джейкобс роскошествовала в сложной и благодатной хореографии жизни своего блока, которую, без сомнения, можно посчитать урбанистической формой искусства, но «ее» город выступал также ареной острой конфронтации. Когда Джейкобс выхватывала микрофон или билась за дополнительное время на городских слушаниях, она прекрасно осознавала, что это тоже часть общего танца, часть никогда не прекращающейся борьбы, которая сама по себе – самая суть природы хорошего города. Это борьба за разнообразие, борьба за самоорганизацию.

Сохо

Пересекая Хаустон-стрит, Ла-Гуардия-плейс становится Западным Бродвеем, главной улицей Сохо, – аббревиатурой, образованной от South of Houston, «к югу от Хаустон-стрит», но с отчетливой отсылкой к Лондону.[85] История Сохо наверняка вам знакома, хотя, может быть, не в нью-йоркской версии, а в каком-нибудь местном похожем варианте. Сохо – это «ребенок с плаката», образцовая рекламная картинка джентрификации, место, прошедшее путь от полузаброшенного состояния через жестокую витальность к вершинам «трендовости» (со своими собственными представлениями о культурной «заброшенности») с невероятной скоростью.

С севера Сохо ограничен Хаустон-стрит, с востока – Бродвеем, с юга – Канал-стрит и Шестой авеню – с запада. Западный Бродвей (еще есть Восточный, в Чайна-тауне) – его главная магистраль. Кроме того, он выступает разделительной линией, отделяющей одну от другой две разные морфологические схемы, характеризующие квартал. К западу он всегда оставался жилым районом, амальгамой многоквартирных и частных домов, в течение долго времени – преимущественно итальянских, и остатки этой общины по-прежнему заметны у церкви Святого Антония и прилегающего монастыря. Легендарная пекарня «Везувий» (Vesuvio Bakery) пала жертвой недавнего повышения арендной платы, но ряд ключевых магазинов продолжает существовать, включая «Молочную лавку Джо» (Joe's Dairy), продолжающую каждый день предлагать нежнейшую моцареллу. Эта часть квартала продолжается по другую сторону Хаустон-стрит, в Виллидж. На всю территорию имел виды Роберт Мозес во время схваток в 1960-е.

Известное количество исконных обитателей Сохо продолжают населять его многоквартирные дома благодаря законам об арендной плате. Но, поскольку моложе они не становятся, их присутствие постепенно уменьшается, а их место занимают деятели с Уолл-стрит и кинозвезды. Признак упадка Даунтауна – публикация «карты кинозвезд», согласно которой их тут чуть ли не больше, чем в Беверли-Хиллз. Я часто вижу знаменитостей на улице (а недавно уселся на сиденье унитаза, хранящее еще тепло задницы Калисты Флокхарт). Хотя роль прямого экономического участия «людей старого времени» в жизни квартала катастрофически уменьшается, они продолжают играть свою роль в привлечении туристов. Из них формируются кадры уличных гуляк, скамеечных сидельцев и зевак, выглядывающих из окон –

модели социального поведения, воспетые Джейн Джейкобс. Их культурное наследие – регулярные визиты в церковь, общие привычки и воспоминания о рабочей молодости. Эти жители обладают более объемным и более привязанным к месту букетом привычек, чем их наследники-«бобо»,[86] кое-что у них, однако же, перенявшие. До своего закрытия в начале 2012 года «Одджис» (Auggie's), мое любимое в течение многих лет кафе для чашки капучино на середине пути, оставалось местом встречи старых жителей Сохо с новыми – связь, укрепляемая осознанием того факта, что немалое число «новых» теперь уже проживают здесь тридцать лет и помнят те дни, когда они сами были здесь в меньшинстве.

Часть Сохо, лежащая по другую сторону Западного Бродвея, отличается бóльшим своеобразием. Речь идет о двадцати блоках так называемого чугунного Бродвея. На рубеже XIX–XX веков это был промышленный район, и его возведение (и характер) совпало с широким распространением технической инновации второй половины XIX века – фасадов и колонн из литого чугуна. По структурным соображениям – литой чугун хорошо работает на сжатие, но плохо на растяжение – дома в этих блоках, как правило, построены из смешанных материалов, с боковыми стенами из кирпича и деревянными балками и полами. Чугунная технология позволяла не только отливать превосходные украшения, но и делать фасады чрезвычайно легкими и вставлять в них очень широкие окна. Еще в этих домах множество отличных образчиков знаменитых сквозных лестничных маршей. Практически полностью оставленные промышленниками, лофты были открыты в 50-е годы художниками, которые прибрали к рукам эти просторные свободные помещения – никого более не интересующие и потому относительно недорогие в аренде. За относительно краткий период артистическое сообщество расцвело во всей своей маргинальной и эфемерной красе в этой физической и экономической нише. Конечно, их объединяли культурные и поколенческие связи, а еще – азарт первопроходцев и быстро возникшее «осадное положение», спровоцированное тем, что их статус в общем-то был нелегальным (в то время данная часть Сохо не была зонирована для жилья). Позднее, когда жительство в лофтах все-таки признали законным и район начал расцветать, художников объединило сопротивление пришедшим сюда риелторам.

Разумеется, поначалу в Сохо развивались общественные институции, отличающие этот район как художественный. Некоторое количество баров, галереи молодого искусства, ресторанчик на паях под названием «Фуд» («Еда»), где великий

Гордон Матта-Кларк[87] трудился за стойкой, и других заточенных под искусство мест возникли одно за другим. Но в те блаженные времена их отличала умеренность как в количестве, так и в смысле амбиций, что способствовало укреплению благотворного чувства изолированности (пусть Виллидж и расположен всего в нескольких блоках). На самом деле в те ранние годы художественное сообщество вполне мирно сосуществовало как с оставшимися промышленными предприятиями, так и с уже имеющимися соседями. Как вдруг город взялся «рационализировать» нелегальный захват путем создания в каталоге зон специальной категории «художественной резиденции» (artist-in-residence), позволяющей сертифицированным художникам проживать в зданиях, не считающихся жилыми, – форма защиты, родственная, в сущности, законам об арендной плате.

Идиллия оказалась недолговечной, и историю ее болезни и разрушения нет нужды подробно расписывать. Чем больше процветало художественное сообщество, прибавляя в числе и в платежеспособности, тем больше галерей и ресторанов за ним следовало, привлекая внимание прохожих, туристов и новых жителей, валом поваливших «ловить волну». Эффект золотой гусыни (зарезанной, чтобы сразу получить много золота, не дожидаясь, пока она снесет много золотых яиц) сказался незамедлительно. Бум обогатил нескольких людей, но выдавил художников из домов, превращенных в кондоминиумы. Многие галереи тоже оказались проданы. Дешевые рестораны задавлены дорогими. Повсюду проникли обувные магазины и бутики. По выходным улицы оказались переполнены людьми, не помышляющими об искусстве, а просто пришедшими совершить покупки и пообедать – и посмотреть на других людей, совершающих покупки и обедающих. Мы привыкли называть эту как бы ярмарочную уличную толпу, осаждающую Западный Бродвей по выходным, «Фестивалем Святого Кастелли» – по имени главной галереи Лео Кастелли, в течение долгих лет остающейся самой престижной в районе.

Если Сохо и остается по-прежнему живым и привлекательным, то в основном благодаря своей изумительной архитектуре – и законам об охране памятников, требующим ее сохранения. «Чугунный район» не похож на остальные, и это проистекает из того, что он одновременно и уникален, и единообразен по масштабу. Если есть в Нью-Йорке место, напоминающее своими пропорциями о европейском городе XIX века, так это здесь. Пяти- и шестиэтажные сооружения, чьи крыши надстроены сверху четко выраженными и богато украшенными

мансардами-лофтами, создают ощущение фактуры и уюта парижских улиц. За счет величественных пропорций самих зданий и относительной узости улиц возникает чувство одновременно безопасного комфорта и достаточной защищенности от стихий. Учитывая международный характер большей части разворачивающейся здесь коммерческой активности, эту атмосферу легко сравнить, скажем, с атмосферой шестого округа в Париже, с его обитателями из числа крупной буржуазии, легким привкусом богемности и точно такими же магазинами и ресторанами.

Но Сохо, однако, сделался частью туристского архипелага – в котором каждая достопримечательность должна соответствовать набору все более и более обобщенных категорий. Люди путешествуют не для того, чтобы проникнуться теми или иными частностями географии, а для того, чтобы прильнуть к тому или иному образу жизни, четко определенному указателями в виде товаров и услуг. В каждом американском городе есть теперь свой Сохо. В Портленде это Перл («Жемчужина»), в Вичите (Канзас) – это Олд-Таун («Старый город»). Они отмечены в путеводителях как «места назначения» и зачастую оказываются самыми оживленными в городе, более всего нацеленными на уличную жизнь, монетизируя при этом свою ауру в цены на окрестную недвижимость и предлагая «альтернативный» стиль жизни (или по крайней мере проживания) в городах, где, за исключением нескольких домов, выбора-то особого нет.

Но что в точности представляет собой «туризм по образу жизни»? Вопрос этот приобрел для меня особенную остроту после одного недавнего случая. В очень людный день я пересекал улицу в Сохо, как вдруг двум туристам передо мной пришлось отпрыгнуть с перехода, чтобы пропустить несшийся дорогой «Мерседес» с нью-джерсийскими номерами. Они синхронно выкрикнули то, что и следует ожидать в такой ситуации: «Козел!» Я сам тысячи раз бормотал это специфическое словечко, и я заметил, что мне греет душу готовность, с которой эти двое приняли местную манеру выражаться. Эти люди уж точно знают, что мы произносим не «Хьюстон-стрит», а «Хаустон». Возможно даже, что, будучи в Париже, они получают особое удовольствие, выкрикивая: «Merde!» (как я сам делаю).

Несколько дней спустя я гулял неподалеку от этого места и чудом избежал того, чтобы пасть жертвой двух сдвинутых детских колясок от Макларена, толкаемых парочкой мамаш-яппи, не отрывающихся от своих сотовых. В то время как мои ноги совершали стремительный скачок в сторону, я обнаружил, что бормочу то же самое слово – «козел!», причем в данном случае

было непонятно, даже мне самому, к кому оно относилось. К счастью, я произнес его беззвучно. Путающиеся под ногами дети и дорогие собачки – это расплата за джентрификацию, и я просто (подумал я) переношу проклятье вверх по пищевой цепочке. Если бы меня услышали, то сочли бы нелепым чудаком средних лет, по-прежнему одетым как для колледжа, без какого-либо следа «Прады». Я же, разумеется, предпочитаю думать о себе как о «молодежи». Молодежная культура, как и модернизм, обусловлена историческими обстоятельствами, а не сединой.

Но в другом смысле собаки и дети – это знаки жизни города. Вопросы джентрификации столь сложны потому, что те качества городской жизни, которые она производит: оживленные улицы, обилие магазинов, сохранение и усовершенствование старых зданий, – все они очень желательны, и являют собой саму суть урбанизма. Проблема джентрификации – в ее частностях и в ее последствиях. У кого-то могут быть претензии с точки зрения вкуса к французским бульдогам и няням, носящимся с колясками, но реальная проблема не в тех, кто населил «облагороженные» районы, а в тех, кого они заменили, кого выкинули из полученной «пестрой смеси».

Несколько лет назад «Нью-Йоркер» разместил на обложке изображение Адама и Евы, которых нависший сверху разгневанный Бог выгоняет из Рая. Соль шутки заключалась в том, что они были изображены стоящими на манхэттенской стороне Бруклинского моста, готовые отправиться в изгнание из места, которое больше не могли себе позволить. Принимая во внимание астрономические цены на манхэттенское жилье, подобное наказание грозит теперь не только бедным – традиционным жертвам джентрификации, но и все увеличивающемуся количеству представителей среднего класса. Недавно проведенное исследование показало, что относительная доля среднего класса в общем населении Нью-Йорка – самая маленькая по всей стране. Бум не всегда признак здоровья.

Это нашло свое отражение в туризме – в изменении тех, кто и зачем приезжает в город поглазеть, в том, в какой стиль жизни они желают погрузиться. Модель для такого «туризма по образу жизни», получившего свое развитие с начала XIX века, когда прокладка железных дорог положила начало развитию дешевого массового туризма, – это вуайеризм, подглядывание за местной экзотикой, прославленное Ричардом Бёртоном в его знаменитой книге «Личный рассказ о путешествии в Мекку и Медину». Бёртон – англичанин, переодевшийся в арабские одежды, чтобы совершить хадж, и его записки послужили примером для тысяч других подобных документов (не последним из которых

выступает «Путешествие на восток» Ле Корбюзье), отображающих во всех деталях погружение человека Запада в восточную или южную экзотику. Еще это – всегда памятник (под маской уважения) тому, как восточный мир перерабатывает западные ценности. Эти путешествия всегда основываются на своего рода дисбалансе, выведении из равновесия, способности наблюдателя очаровываться инаковостью «развивающейся» культуры, которая казалась невинной и беззащитной перед натиском современности, считавшейся уже тогда врагом подлинности. Этот троп превосходства, обретенного в какой-то чужой традиции, – одна из наиболее раздражающих черт самосознания нового урбанизма.

Исключение, сделанное в правилах зонирования для «художественных резиденций», подразумевало, что любой человек, претендующий здесь на жилье, должен предстать перед комиссией и убедить ее, что он является художником. Недавно это правило оказалось продублировано – в фарсовом, хоть и исключительно серьезном виде, – что вызвало в Сохо большое напряжение. Годами в состав сообщества входили «уличные художники», продающие свой товар со столиков и стендов, выставленных вдоль тротуаров. В их числе как те, кто выставляют свои собственные картины, рисунки, фотографии и поделки, так и продавцы дешевой ювелирки, маек с рисунками, массовых безделушек и поддельных товаров известных брендов. Многие, включая «Альянс Сохо» (SoHo Alliance), администрацию местного РРБ и большое число владельцев магазинов, желали выпереть их отсюда, что полиция периодически и делала, применяя «закон двадцати футов», запрещающий торговать у входных дверей ближе указанного расстояния. В 2000 году городской совет принял закон, запрещающий всю уличную торговлю вдоль Принс-стрит и Спринг-стрит на ширине четырех блоков между Западным Бродвеем и Бродвеем, мотивируя это решение узостью улиц и опасениями – воистину оправданными, – что торговцы мешают движению пешеходов.

Центр усилий по контролю за уличными художниками переместился ныне на Западный Бродвей, более широкую улицу с более широкими тротуарами, где полиция появляется чаще и чаще гоняет тех, кто на ней расположился. Правило двадцати футов соблюдается с неукоснительной тщательностью, и все чаще художникам намекают, что скоро их и отсюда «попросят». Слухи об этом порхают там и сям, а одна местная газета цитирует такие слова полицейского офицера: «Нашему сообществу никакие художники не нужны. Сейчас не 1969 год, и никому не сдалась

эта публика под окнами миллионных апартаментов».

Существуют два объединения, представляющие интересы уличных художников: «Международный художественный кооператив Сохо» (SoHo International Artist Cooperative) и «Художественный ответ незаконной государственной тактике» (Artists' Response to Illegal State Tactics, A. R. T.I.S.T.). Первый ратует за лицензирование «мастеров изящных искусств» с целью исключения из их числа продавцов, не торгующих плодами своих рук. Второй, чей беззаботный лидер выступал истцом в знаковом процессе 90-х, отменившем ранее существовавшие лицензионные ограничения для уличных художников, выражает более широкие и более «соглашательские» взгляды касательно права художника на свободу слова. Его обвиняют в том, что он выступает подпевалой местной РРБ и главы муниципального собрания Алана Джерсона, который сам считается их марионеткой. Джерсон тем временем готовится предоставить пакет законов, призванных «смягчить перенаселение». Уличные торговцы разделились.

Вопрос этот важен, потому что касается того, чем люди будут жить, и, в более широком смысле, затрагивает свободу самовыражения. Хотя суды твердо склоняются в пользу гарантируемого Первой поправкой права художников и книгонош пользоваться общественными тротуарами для своих надобностей без формального лицензирования, они при этом ясно указывают, что это право может быть ограничено «временем, местом и способом». В случае с Западным Бродвеем при буквальном соблюдении двадцатифутового требования большинство продавцов лишатся своих мест по чисто геометрическим причинам. А еще это лишит улицу ее базароподобного вида и восхитительной диалектики высокого и низкого, возникающей от столкновения уличных продавцов, не платящих никакой аренды, и магазинов с дорогущей арендой.

Знаменитый лозунг Ганзейской лиги гласил: «Stadtluft macht frei» – «Городской воздух делает свободным». Это было буквально так – города гарантировали свободу крепостным, убежавшим с полей своего феодала, – и продолжает оставаться таким в более широком смысле: города исторически являются местами проявления свободы собраний и выражений. Если вам кажется, что я слишком зацикливаюсь на проблеме свободы слова, то это лишь потому, что, на мой взгляд, город был, есть и всегда должен оставаться ее главным проводником и выразителем, а вопросы пределов допустимого в этой области всегда должны ставиться и никогда не решаться окончательно. В ходе городского планирования постоянно пересматриваются соотношения

«общественных» прав и прав собственности, и улица – это то место, где частные граждане сталкиваются и оценивают уместность публичного поведения по миллион раз на дню. Эти маленькие обмены жизненно необходимы для того интенсивного взаимообогащения, которое Джейн Джейкобс определяла как «золотое правило» хорошо функционирующего города.

Джентрификация подавляет подобное взаимообогащение, потому что сужает правила формального и социального поведения, превращает кварталы в Диснейленд или в «Колониальный Вильямсбург»,[88] их жителей – в штатных сотрудников, а маленькие ритуалы повседневной жизни – в спектакли или трапезы для туристов. Когда городской проект все сильнее и сильнее превращается в производство утонченных стилей жизни, граждане вынуждены все глубже увязать в общественной жизни. Это больше не вопрос их права или сознательного выбора, общественная жизнь становится просто еще одним товаром. Как писал архитектор Чарльз Мур в 1965 году, воздавая иронические (но лишь отчасти) похвалы Диснейленду, «за общественную жизнь надо платить».

Но было бы ошибкой сводить проблемы «урбанизма принуждения», то есть уничтожения социально или коммерчески неприемлемых или нежелательных вариантов, к одной лишь джентрификации, «повышающей» рыночную стоимость. Джентрификация – термин, обозначающий искусственное упрощение, его не следует применять к местам, «оживленным» более сложным образом. В этом, в сущности, и заключалась идея Джейн Джейкобс об «интегрированном разнообразии». Кроме того, моя зацикленность на особенностях стиля жизни, определяемого моей культурой, вкусом и классовой принадлежностью, не должна заслонять наличие других систем с ограниченным выбором, будь то клонированные башни спальных районов, безликие пригороды или же кричащий вакуум возможностей в трущобах. Вопрос о том, сколько «Старбаксов» можно раскидать по району, бледнеет перед куда более серьезными проблемами: безработицей, нежеланием банков выдавать ипотеку в определенных районах, скудной торговлей по вздутым ценам, негодными школами, наркотиками, эффектом гетто, острой нехваткой государственных и частных инвестиций и прочими известными элементами патологии, держащей в плену миллиарды людей.

Споры о том, что такое общественное пространство и какова его природа, ужесточаются по мере усиления давления на общественную собственность и общественную сферу как таковую. Строгие меры безопасности после одиннадцатого сентября,

приватизация, джентрификация, глобализация и прочие растущие феномены – это лишь одна сторона медали. Признание того, что «общественность» в городах становится все разнообразнее, а в культуре все острее возникают вопросы политики идентичности, подразумевает, что борьба за сохранение и развитие пространств, предлагающих опыт коллективности, невероятно усложняется и приобретает чрезвычайную динамику. Кому-то подобная плюралистичность дает основание утверждать, что «традиционные» места общественных собраний и пересечений, такие, как улицы, площади, парки и т. д., – это не более чем обломки былого «неразличающего» взгляда, пагубного для разнообразия и излишне наивного в том, что касается запаса конструктивности, присущего коммерческой жизни. Возможно, это и так, но в подобных утверждениях игнорируется важность для общественной жизни накопленных форм и ритуалов. Превращая, в типично постмодернистском ключе, различия и подвижность в фетиш, эти утверждения низводят урбанизм до состояния моря фрагментов, тривиализируя понятие локальности. Города поддерживают много различных ценностей, но вес их не обязательно одинаков.

Успех лофтов в Сохо, полностью преобразивших жизнь целого района, это не просто казус времени, места и культуры. Он стал возможен вследствие распространения здесь очень специфического вида архитектуры – чугунного ангара. Типичное лофтовое здание в Сохо – это конструкция с брандмауэром общей площадью помещений около пяти тысяч квадратных футов. Поскольку в бытность свою производственными цехами эти помещения вмещали в себя печатные прессы, металлообрабатывающие станки или же ряды швейных машинок, чаще всего они были открытыми и неразделенными. И поскольку лофты тоже стояли в ряд, окон с боковых сторон в них, как правило, не было. Главный вход вел на улицу, задний – на тесный дворик. Подобная конфигурация обеспечивала некоторую вентиляцию, но солнечный свет проникал лишь через главные ворота и, в зависимости от их ориентации, оказывался порой сомнительного качества.

Но для студий они подходили прекрасно. Большие, дешевые, а главное – открытые для любых трансформаций, подходящие для художественных надобностей и для стиля жизни бобо, которым чрезвычайно нравилась величественность подобных «пространств», материализовавших их мечты («Сколько у вас футов?» – вот постоянная тема нью-йоркских разговоров.) Вскоре, однако, привлекательность жизни «нараспашку» для многих потускнела. Приспособление открытого лофта для повседневных

нужд обычной семьи оказалось непростой задачей и неизбежно породило необходимость разделения. Поскольку окна часто выходили лишь на одну сторону, выгораживание спален и прочих приватных пространств (с соблюдением выдвигаемых жилищным законодательством требований о доступе солнечного света) обернулось нетривиальным вызовом, порождающим порой поразительные изобретения.

Часть проблем, связанных с необходимостью разделения лофтового пространства, возникли из-за завышенных надежд на «гибкость», питаемых в архитектурной среде того времени. Начало 1970-х, когда я сам был студентом-архитектором, – последние дни гегемонии модернистской теории. В то время идее гибкости и пластичности пространства придавалось огромное значение. В частности, все грезили о пространстве, «демократизованном» благодаря передаче контроля за его конфигурацией потребителю. Пытаясь добиться «равновозможного» пространства (согласно термину, введенному Ренато Северино в книге 1970 года «Равновозможное пространство: Свобода в архитектуре»[89]), архитекторы выработали доминирующую парадигму гибкости: пространство должно быть настолько недифференцировано по назначению, «очищено», насколько это вообще возможно, дабы обеспечить возможность максимального выбора. Воплощением такого подхода стало Плато Бобур – под этим именем в то время был известен парижский Центр Помпиду.

Плато Бобур, проект Ричарда Роджерса и Ренцо Пьяно, победивший в конкурсе, подытожил движение, набиравшее силу с 1960-х. Он явно опирался на работы «Архиграма» (Archigram) – группы британских архитекторов, создававших ряд впечатляющих образов чрезвычайно механизированных и чрезвычайно «гибких» архитектурных объектов, способных не просто трансформироваться, но и, в своем более мобильном воплощении, двигаться в пейзаже и сливаться с ним. Еще члены «Архиграма» продвигали (подобно их соотечественнику Седрику Прайсу) лофтоподобную архитектуру, населенную машинами и модулями, пребывающими в постоянном движении и способными преобразовать его по первой прихоти. Центр Помпиду – классическое воплощение этой фантазии о гибкости. Все его службы (лестницы, трубопроводы, эскалаторы и т. д.) разнесены по периметру здания или утоплены в глубокие щели в полу, так что пространство размером с футбольное поле остается нетронутым, поощряя кураторов придумывать и возводить временные перегородки.

Но гибкость в подобном изводе слишком ограничена

неопределенностью конфигурации, жесткими границами и огромностью пространства, которое она должна покрывать. Яркий пример – современное раскатанное офисное здание, в котором ничего не сделаешь, кроме клетушек-кьюбиклов. Более плодотворную гибкость содержит идея такого лофта (архитектурной «стволовой клетки», которой предстоит развиться в любой орган, необходимый для жизни) – когда сначала в расчет принимаются специфические требования среды – освещенность, перекрестная вентиляция, виды из окон и т. д., а также самого помещения, его вместимости и размеров. Вместо метафоры дикой территории, которую требуется приручить и разделить, к недвижимости лучше применять метафору города как такового – уже существующей, неподатливой совокупности, где отдельные пространства и среды создаются путем присоединения и комбинирования, пересочинения и переконфигурирования элементов, способных реагировать, провоцировать и сопротивляться повторяющимся, бездумно позаимствованным решениям.

Другая модель гибкости, казавшаяся очень привлекательной в мои студенческие годы, – это «самоселы», сквоттерные поселения или фавелы. Их превозносили за «органичность», самоорганизующийся стиль роста, «полный контроль» со стороны потребителей, пластичность и техническую простоту, возникающие в них многолюдные сети и объединения – и за их незаконный статус, стоящий «визави» с официальными планировочными и законными нормами. Первым ответом архитекторов и планировщиков стали предложения как-то рационализировать эти поселения путем обеспечения их необходимыми службами и инфраструктурными элементами, а последующим – разработка простых и элегантных систем зданий, причем некоторые из них сулили куда большую продвинутость на основе уже доступных (хоть и не для всех «самоселов») дешевых технологий, таких, как бетонные блоки, гофрированный металл, древесина и т. д. Более поздней тенденцией, вдохновленной этими «неформальными» конструкциями, стала попытка перевести их приспособляемость и контроль со стороны потребителей на язык, пригодный для удовлетворения потребности в жилье индустриального общества первого мира.

Как результат – в изобилии стали возникать проекты зданий, предусматривающие возможность расширения: стены, способные раздвигаться, балконы, которые можно закрыть, внутренняя планировка, которую можно менять, ящики, способные вдвигаться внутрь помещения. Пожалуй, самым выраженным представителем этого движения стал архитектор Джон Хабракен

(немало потрудившийся в кампусе Массачусетского технологического института в мои времена), выдвигавший идеи касательно «поддерживающих структур». Работы Хабракена были весьма любопытны, но в них отразилось несколько фундаментальных парадоксов. Разрабатываемые системы стремятся свести пределы возможной гибкости к тем, что уже в ней предусмотрены. Альтернативность подобных систем в основном возникает за счет расширения внешнего контура здания, внутренней перепланировки и переоборудования механических систем, что привело к возникновению специфического словаря, в котором фигурируют такие понятия, как «подвижные стены», «свободные пространства для напорных труб», «кожухи» и «проводники», а также особого рода зонирование, только в масштабе отдельного здания, открывающее пространство для развития. Часть этих предложений немедленно устарела, и лишь немногие из них, подобно сходным архитектурным предложениям для самосельных поселений, предлагали большую гибкость на основе более конвенциональных технологий: невелика сложность – передвинуть гипсокартонную стену.

Однако эта работа показала важность, хотя бы временную, конвергенции двух глобальных идеологем, столь важных для архитектуры начиная с 1960-х годов. Первая – это старая модернистская мечта о промышленной архитектуре массового производства, отвечающей как желательной экономической логике, способной (как надеялись тогда) эффективно обеспечить крышу над головой для всего мира, так и неиссякаемому восхищению машинной формой и другими техническими структурами. Подобный интерес к «чистой» технологии, к объектам, идеально изоморфным своему назначению, – ключевая ценность функционализма, и более того – он остается родным языком архитектуры, ее бесспорным стандартом. Чувство цельности, невинности машинерии нашло свое явное подтверждение в растущем интересе к «местной» архитектуре. В 1964 году историк Бернард Рудофски выступил в MoMA (Нью-Йоркский музей современного искусства) куратором выставки под названием «Архитектура без архитекторов», прославляющей формальные достоинства многочисленных традиционных домостроительных практик, собранных со всего света.

Оставляя в стороне бесконечную запутанность, которой отягощен взгляд Запада на «примитивную» культуру, выставка послужила чрезвычайно конструктивным импульсом, поощряющим разнообразие форм как раз в то время, когда обычная архитектура сделалась безнадежно, близоруко

однотонной. Выставка показала, что «неархитекторы» способны не просто здраво оценивать свою среду, но и прямо-таки возглавить работу по ее перевоссозданию. Все всколыхнулось. Хиппи ринулись строить юрты в лесах, а профессиональные архитекторы сосредоточились на стратегиях, позволяющих конечным потребителям вносить свой вклад в строительство, и открыли для себя новые территории – бесконечное поле позаброшенных лофтов, фабрик и подобных структур – для архитектурной деятельности, по определению пропитанной духом гибкости. В ситуации, когда предустановленные структуры, будь то власть старшего мужчины, семья, коммунистическая партия, подвергаются постоянным атакам, вид открывавшихся новых границ опьянял. Архитектура отныне – не конечный продукт власти. Она должна сама стать властью. Она должна обрести гибкость! Весь мир – лофт, и граждане должны получить правильные инструменты, чтобы приспособить его под свои нужды! Давай, Витрувий, до свидания. Да здравствует «Всеземельный каталог»![90]

Если рассматривать лофты как способ размышлять о городе, самая большая их гибкость кроется не в их конфигурации, а в их использовании. Ключ успеха в переходе от производства к художественной студии и дальше к жилью – легко адаптируемое здание, способное реагировать на радикальные экономические и социальные перемены, а не одни только архитектурные. Подобная гибкость критически важна для идеи «города универсального назначения» – города, в котором такая крайняя мера, как зонирование, окажется излишней. В нашей ситуации нарастающего постиндустриализма необходимость разделять жилые и рабочие места перестает быть довлеющей. Напротив, связь жилья и работы может оказаться чрезвычайно гибкой и избирательной. В частности, это происходит в связи с изменением характера продукции, закатом нашей экономики производства и восходом «настраиваемой» продукции. Еще это побочный продукт революции пространственных отношений, возникшей в результате ошеломительного развития электронных технологий – компьютеров, интернета и прочих инструментов, дающих возможность мгновенно связываться с кем угодно, где угодно, когда угодно. Сопутствующая ей мечта о более открытом обществе, таком, в котором ничья раса, класс или место происхождения не способны больше повлиять на мобильность, также способствует развитию города, в котором что угодно может быть где угодно.

Но идея такого «вездесущего города» встречает и более негативное отношение. Жупел современного урбанизма

описывается то как «краевой город», то как «царство урбанистического нигде» (используя удачную фразу Мэла Уэббера из его известного эссе 1964 года, которой он обрисовывал опасно уравновешивающееся соотношение физической и виртуальной составляющей городов) или же как «универсальный город». Идея свободного расположения, «чего угодно где угодно», уже породила самый быстрорастущий компонент американских городов – пригород, существующий в состоянии полной независимости от традиционных центростремительных городов. В наши дни офисы, торговые центры, жилые дома и тематические парки могут возникать в любой точке, в которую ведет хорошее шоссе, оптоволоконный кабель, линия электропередачи и которая может предложить преимущества в вопросах цены. Подобное неиерархическое, но в высшей степени зонированное условие обозначает, что сегодня столько же людей могут ездить поперек этой пригородной (или киберпригородной) текстуры, сколько раньше, при более традиционных центробежно-центростремительных отношениях «пригород – центр», ездили вдоль. Еще эта форма «нового урбанизма» примечательна той чистотой, с которой она помечает рыночные силы в репертуаре «постурбанистических форматов» – офисный парк, скоростное шоссе, закрытое жилое товарищество, торговый центр – на податливой, безграничной территории, растянувшейся, кажется, на весь земной шар.

Подобный урбанизм угрожает более традиционным городам как в силу того, что является альтернативным паттерном застройки, так и тем, что этот паттерн воспроизводится на уже существующей городской ткани. Так, например, современная торговая улица в точности подражает веренице магазинов в любом торговом центре. Мы все чаще и чаще вынуждены «совершать транзакции» в той или иной международной брендовой империи, и всякий раз, проводя кредиткой по считывающему устройству, увязаем все глубже в паутине взаимного соучастия и надзора, отмечающих нашу принадлежность к однонаправленной культуре глобального капитализма. Система нуждается в различиях, чтобы побуждать к потреблению, но все время уменьшает их амплитуду.

В 1994 году на Западном Бродвее открылась маленькая будочка, немного больше телефонной. 1994-й – это год проведения в США чемпионата мира по футболу, и эта скромная точка выполняла роль билетной кассы, а также обменника, места, где туристы и футбольные фаны могли обменять свои франки и дойчемарки на доллары. Будка все еще открыта, и это просто

удивительно в свете того, что в наши дни большинству людей проще (и дешевле) получить наличные в одном из тысяч городских банкоматов – и это если они не пользуются кредитками напрямую (а во многих магазинах уже можно расплатиться евро).

Я думаю, этот киоск остается на плаву по той же причине, по которой туристы в Диснейленде меняют свои настоящие доллары на диснеевские, хотя эта операция не сулит никаких видимых преимуществ: ни выгодного курса, ни скидки, ни исключительного использования при покупке, ничего. И тот и другой обмен служат для того, чтобы удостоверить подлинность места через осязаемость денег, будь то замызганные и подверженные инфляции баксы или же хрустящие банкноты с мышонком, в мире нематериальных, обезличенных электронных транзакций. Мы знаем, что в Сохо живописно и аутентично, потому что туристам приходится менять деньги в обменнике, чтобы расплачиваться живыми деньгами – а чего мы еще ждем от «исторического» района, застрявшего в прошлом. В действительности такая необходимость едва ли существует. Наличные нужны разве что у лотков уличных продавцов да в нескольких загибающихся лавочках исчезающего этнического населения, которое предшествовало и художникам, и яппи и которое создавало то домашнее чувство Старой Европы, что новые учреждения столь отчаянно и безуспешно пытаются воссоздать.

Легкость перемещения на огромное расстояние, повсеместные банкоматы и мгновенное электронное соединение ускоряют то, что Маркс описывал как «уничтожение пространства временем». Привлекательность различных форм «сетевого гражданства», возбуждающего, как всякое воплощение сетевой «глобальной деревни», обуславливается скорее его способностью обеспечивать отношения, покрывающие первичные телесные потребности, нежели его способностью вытеснять их. Несмотря на изощренность связей и всю силу возможностей, используемых многими из нас, чтобы быстро перемещаться по земному шару, система в корне лишает подвижности. Это применимо как к «застрять перед экраном, нос не казать наружу» (как японские «никикомори» – ребята, годами не выходящие из комнаты), так и к «обезличенному» городу: как бы далеко физически ты ни забрался, вокруг все одно и то же. Именно такой род мобильности выступает сейчас доминирующей формой американского урбанизма. Мы вздыхаем и полагаем, что это неизбежно, что подобное бремя – то же самое, что традиция.

Мне же такая картинка представляется просто ужасающей. Эта «мобильность» безумно неэффективна с точки зрения

окружающей среды, полностью зависима от автомобиля, пожирает открытое пространство и абсолютно враждебна идее смежности (сменяемых границ разнородных участков); ее движущая сила – не ценность соседских связей и тесных отношений, а резервная армия незастроенных территорий и рабочей силы – дешевой, лучшей и доступной в мировом масштабе. Планета становится лофтом – текучей поверхностью с равными возможностями, готовой к тому, чтобы ее оборудовали равномерным климатом и культурно-индифферентной архитектурой. Это – предел капиталистического рационализма, враг демократического образа действий, основанного на идее локальности и обмена мнениями глаза в глаза, и уж точно антитезис того города, о котором мечтала Джейн Джейкобс.

Урбанизм свободного рынка «краевого города» – наследник того города, что был описан Жаном Готманом в 1957 году как мегаполис, или же срастание групп городов в непрерывную городскую «конурбацию», также воспроизводит сам себя в другом великом феномене урбанизма нового века – «мегаполисе», городе с более чем десятью миллионами жителей. Существуют по меньшей мере двадцать шесть таких городов (и более чем пятьсот городов-миллионников), большинство из них – в развивающихся странах. Характеризующая их черта – трущобы. Более половины населения Земли живет в городах (и относительная доля горожан постоянно увеличивается), и половина населения городов живет в трущобах. Хотя такие мегаполисы, как Мехико или Лагос, скорее стремятся быть плотной непрерывной застройкой, им свойственны многие эффекты краевого города. И для мегаполиса, и для краевого города вопросы размера и масштаба являются определяющими, и их протяженность вступает в противоречие с управляемостью, внятностью и возможностью выбора, которыми отличаются хорошие города. Все живые организмы ограничены масштабом. Достигнув своего эволюционного предела, они становятся недееспособными, теряют возможность совершать координированные движения. Слишком большие города точно так же становятся неуправляемыми и неустойчивыми.

Противоядие – ограничивать рост городов и бороться за то, чтобы городская ткань оказалась приспособлена к образованию сообществ и представляла возможности выбора. Это неизбежно породит необходимость создания множества новых городов, в гораздо большей степени соответствующих человеческим запросам и экологическим требованиям. Джейн Джейкобс порой грешит откровенной враждебностью к новому строительству и новым городам, и ее анализ выносят за скобки как затрудняющий постановку больших задач. Но этот анализ остается актуальным в

качестве справочного пособия – как перечень элементов, необходимых для демократической и добрососедской жизни квартала, так и набора сред, в которых они успешно реализуются. Смысл того, о чем она писала, – хорошие кварталы нельзя свести к архитектуре, но архитектура обладает способностью стимулировать разные виды ассоциаций «по интересам», в которых и заключается смысл таких мест.

Канал-стрит

Канал-стрит отмечает южную границу Сохо. Забитая транспортом днем и ночью, эта улица связывает тоннель Холланда[91] (и через него – Нью-Джерси) с Манхэттенским мостом и Бруклином, соединяясь с платной магистралью Бруклин-Куинс и с сетью общедоступных дорог на дальнем Стейтен-Айленд. В смысле кварталов, Канал-стрит соединяет расположенные к востоку от нее Чайнатаун и остатки Маленькой Италии через коридор Бродвея в центре острова с лежащими западнее Сохо и Трайбекой и береговой линией Гудзона.

Подобно другим основным улицам, тянущимся с востока на запад (Хаустон, Четырнадцатая, Тридцать четвертая, Сорок вторая, Пятьдесят девятая и Семьдесят вторая) Канал-стрит – это городской рубеж, демаркирующий границы, подобно авеню, самой своей шириной и интенсивностью использования. А еще она напоминает, что, хотя большинство людей сейчас представляют себе Манхэттен в терминах «Даунтаун» и «Аптаун», то есть по оси «юг-север», изначально это место воспринималось в поперечном направлении, от реки до реки. Гениальность естественной городской конфигурации как раз и заключалась в ее компактной двубережности, позволяющей возводить причалы с обеих сторон острова, удваивая его портовый потенциал. В лучшие времена береговая линия Манхэттена включала в себя также побережья Бруклина, Куинса, Нью-Джерси, Стейтен-Айленд и даже Бронкса – всего более шестисот миль, включая сам город. В годы, предшествующие Второй мировой войне, даже на маленькой Ньютаун-Крик – речушке, отходящей от Ист-Ривер, по которой частично проходит граница между Бруклином и Куинсом, навигация шла более оживленно, чем на Миссисипи. На протяжении значительной части XX века ощущение и энергетика Манхэттена оставались в большой степени «вторичными», и опыт судоходства, погрузки-разгрузки был повседневным для каждого жителя.

Добираясь до Канал-стрит, я на несколько минут погружаюсь в глубокие размышления о том, где стратегически правильнее его пересекать. Лучшей из представляющихся возможностей мне кажется Западный Бродвей. Это классический четырехугольный перекресток с «зебрами» от бордюра до бордюра. И хотя эти пешеходные переходы проложены по кратчайшей прямой, соединявшей две стороны улицы, преодоление их – непростая задача из-за краткости отводимого на это времени. В течение многих лет сигнал светофора переключается на «иди» всего на

четыре секунды. Это значит, что, если вы не стоите наизготовку на краю тротуара, преодолеть переход до появления красного сигнала просто невозможно. Столь ускоренный цикл стал предметом горячих переговоров властей с районными активистами, в результате которых длительность зеленого сигнала увеличилась на две секунды.

Столь скупо отмеренное время – отдельная проблема для тех, кто медленно ходит, отягощен ношей или детьми в колясках. Все эти категории пешеходов лишены возможности прибегнуть к одной из стратегий, традиционно используемых ньюйоркцами: завидя мигание светофора, сорваться на рысцу прямо посреди проезжей части, закладывая виражи между забившими перекресток машинами, или же совершать балетные прыжки между машинами движущимися. Большое количество дорожных инцидентов с участием пешеходов и велосипедистов показывает, что данный конкретный перекресток не очень подходит для этого, потому что он забит фурами, невозбранно использующими Канал-стрит для свободного проезда между мостом и тоннелем.

Одним блоком западнее пересечение улицы становится еще больше похоже на бег с препятствиями. Если я добираюсь до уютной Томпсон-стрит, которую я часто предпочитаю более широкому, шумному и безликому Западному Бродвею, то оказываюсь внутри геометрической фигуры, превращающей переход на другую сторону в логистическую проблему. Томпсон-стрит упирается в Канал-стрит примерно в том же месте, что и Шестая Авеню, а наползающие друг на друга уличные сетки Даунтауна (исторически сложившиеся из-за его неравномерной застройки) срезают геометрические углы – и поэтому перекресток заметно шире. Чтобы преодолеть его, необходимо прыгать с одного островка безопасности на другой, часто даже с одной стороны улицы на другую, – и все ради того, чтобы выгадать расстояние, подстроиться по времени под сливающиеся транспортные потоки, попасть на зеленый свет или же воспользоваться возможностью переметнуться на другую сторону. Ньюйоркцы склонны рассматривать переход улицы на неправильный сигнал светофора как свое богом данное право – не только в силу нашей нетерпеливости, но и потому что это как бы проистекает из нашего ощущения городской свободы. Другие смотрят на это иначе. Одно из моих живейших воспоминаний от годов преподавания в Вене – как я, приходя на перекресток, обычно оглядывался направо и налево и, не видя дорожного движения, шел на красный свет. Частенько у меня за плечами оставалась толпа австрияков, терпеливо ждущих правильного сигнала светофора. Я ощущал спиною их осуждающие взгляды и,

чтобы отогнать от себя неприятное чувство, пускался в мысленные рассуждения о культуре, запутавшейся в сети регламентации и буквального понимания закона. От этого я легко переходил к «мы просто исполняли приказы», то есть к Холокосту – достаточно серьезная интеллектуальное артиллерия для того, чтобы перейти улицу.

С другой стороны, подобная дисциплинированность в соблюдении закона позволяет системе общественного транспорта Вены функционировать так, как она, безусловно, никогда не будет функционировать в Соединенных Штатах. Трамваи, автобусы, метро в Вене работают на сознательности пассажиров. Билеты покупаются в специальном автомате – или на остановке, или внутри трамвая или автобуса, после чего их надлежит прокомпостировать в другом автомате, в салоне или на площадке. Время от времени билеты проверяют контролеры. Но их мало, и приходят они редко. Я всегда покупал билет. Проверили меня лишь однажды, относительно скоро после моего приезда в Вену, и с тех пор больше не проверяли. И хотя эта первая облава («Ваши документы!») могла породить некоторую боязливость, я думаю, что моя гражданская ответственность возобладала бы и так. У меня в мыслях не было бороться с системой, хотя я заметил, что некоторые из моих не столь дисциплинированных венских коллег, включая тех, кто аккуратно ждал зеленого сигнала на переходе, охотно ездили «зайцами».

В терминах рационализма того сорта, что любят теоретики так называемого «экономического анализа права» вроде Ричарда Познера и других деятелей из Чикагского университета, логичным экономическим поведением было бы просто не платить. Учитывая низкую частотность контролеров и диапазон штрафов (которые меняются в зависимости от места), «экономически целесообразно» было бы никогда не покупать билет, а просто платить штраф, когда – и если – это оказывается необходимо. То, что при этом австрияки практически поголовно покупают билеты, можно расценивать или как свидетельство законопослушности, или как признак гражданской зрелости. Очевидно, впрочем, что эти концепции взаимодополняемы: демократическое управление определяется тем, что сами граждане, уважающие феномен самоуправления, добровольно соглашаются соблюдать его правила. Поражаясь пассивности австрияков перед красным светом, я в то же время восхищаюсь их уважительным отношением к функционированию коллектива, включая необходимость платить за общественную жизнь.

Одной из отличительных особенностей венской транспортной системы является ее разнообразие. Подземка, пригородные

поезда, областные поезда и поезда дальнего следования, трамваи, автобусы, обширные пешеходные зоны и относительно скромные автомобильные пространства (с хорошо организованными и распределенными парковками) – все это смешивается в самых разных вариантах. Планировщики этой системы осознают, что ее эффективность определяется не исключительно автомобильной монокультурой передвижения, свойственной американским городам, а комбинацией разных способов, хорошо подогнанных, чтобы добиться максимальной эффективности каждого из них, а также предусмотреть возможность их продублировать и подобрать альтернативу.

С другой стороны, инженеры-транспортники, чей голос так хорошо слышим при планировке американских городов, – сами заложники ограниченной концепции, в рамках которой им приходится действовать. В их понимании городской перекресток, такой, как на Канал-стрит, это место, где возникает «конфликт», и поэтому они видят свою первейшую задачу в том, чтобы минимизировать столкновение между столь несхожими видами передвижения, как пеший ход и автомобильная езда, конструктивными или регулирующими средствами. Светофор для них – средство, уменьшающее конфликт, но не разрешающее его полностью, поскольку то одну, то другую сторону приходится периодически «обижать». Когда пешеходы идут, машины стоят, и наоборот. Это – сущее мучение для инженерного мышления, поскольку означает, что один из двух потоков всегда вынужден останавливаться, пропуская другой.

Много лет назад, после ряда поездок в Индию – страну, способную удивлять по разным причинам, – я начал размышлять о другой схеме городского движения, основанной не на разделении, а на сосуществовании. В Индии сосуществуют поразительно разнообразные способы организации движения. В большинстве индийских городов пространство улиц и тротуаров занято одновременно различными «системами»: пешеходы, автомобили, пешие рикши, моторикши, бычьи повозки, фуры, автобусы, слоны, велосипеды и, конечно же, неизбежные коровы – все перемещаются сообща. Вообще-то именно корову можно назвать концептуальным вдохновителем подобной системы. Абсолютная неприкосновенность этого священного животного позволяет ему шествовать (и отдыхать) где заблагорассудится. Чандигар с его восьмиполосной организацией движения и Нью-Дели с его широкими бульварами – исключения, квинтэссенция европейского ответа этой выставленной напоказ и способной свести с ума иерархии, корректирующая доза четкости для системы, основанной на неопределенности.

Что индийская «система» производит на практике – так это спутанное клубком и чрезвычайно медленное совместное движение, полная противоположность разделенных потоков, столь любезных большинству дорожных инженеров. Я не то чтобы предлагаю внедрить подобную систему в Нью-Йорке (хотя мне было бы очень любопытно взглянуть, что произойдет, если выпустить на его улицы несколько тысяч голов крупного рогатого скота), но меня восхищает, сколько разных нюансов нашли в ней свое выражение. Во-первых, подобное смешанное движение носит несомненно демократический характер: в ходе его приходится постоянно осуществлять то там то сям самые разные взаимодействия. Они возможны благодаря тому, что общая масса участников движения перемещается чрезвычайно медленно, предоставляя время оказывать друг другу знаки внимания. А еще подобная медлительность в значительной мере нивелирует преимущества, предоставляемые возможностью развить бóльшую скорость, в пользу, хоть и не в такой степени, бóльшего размера движения.

Когда я размышляю о том, какое развитие могла бы получить подобная система в нашем окружении, мне приходит в голову несколько соображений. Во-первых, ценность медлительности. Хотя мне не попадались толковые сравнительные исследования на эту тему, возможно, что резкое замедление скорости городского движения могло бы в действительности сократить время отдельной поездки. Эксперименты, исследующие этот эффект, проводятся сейчас в Нидерландах. Их начал ныне покойный Ханс Мондерман, визионер-планировщик городского движения (применительно почти к кому угодно подобное определение звучало бы оксюмороном). Его проект заключался в том, чтобы удалить с улиц целого ряда городов как можно больше дорожных знаков и светофоров, для того чтобы состоянием по умолчанию находящегося в движении объекта стало именно движение, не ограниченное навязываемыми внешней системой остановками, своего рода дорожный эквивалент первого закона Ньютона. Успешность такой организации дорожного движения оказалась обусловлена медлительностью, предупредительностью и осторожностью, а не полицейским контролем. Параллельно с этим в США идет процесс перехода от системы контроля воздушного движения с жесткой схемой коридоров, точек заданной траектории к системе «свободного полета», при которой индивидуальные пилоты сами прокладывают наиболее эффективный маршрут и берут на себя с помощью продвинутых технологий ответственность за то, чтобы держаться в стороне от других воздушных судов.

При индийском стиле медленного движения становятся возможными нерегулируемые перекрестки, где право на преимущественный проезд получается от других участников движения (или же предоставляется им) после надлежащих переговоров. Движение с малой скоростью, возникающее в результате, должно приводить, по крайней мере теоретически, к созданию гораздо более безопасной системы, такой, при которой все участники движения вырабатывают намного меньше кинетической энергии и, следовательно, риск летальных исходов несоизмеримо ниже. Меня очень занимают возможности такой системы, при которой максимальная скорость не превышает двадцати миль (чуть более тридцати километров) в час. Она могла бы создать зону относительной безопасности таких недооцененных способов городского передвижения, как велосипеды, скейты и скутеры. Еще одно основание подобной расстановки сил – преимущественное право на движение человеческого тела, альфы и омеги всего дорожного движения, которому должны уступать все остальные способы передвижения. И медленная система способна отражать ту скорость, которая действительно нужна городу.

Распространим умозрительно эксперимент немного дальше. Заново переосмысленное сочетание средств передвижения открывает путь для переосмысления городского транспортного средства как такового. Предпочтение, отдаваемое небольшим, тихоходным средствам, способно резко сократить энергию, затрачиваемую на передвижение. Легковые автомобили и другие устройства с двигателями внутреннего сгорания спроектированы с невероятным запасом мощности, позволяющим им постоянно тормозить и трогаться с места, быстро замедляться и разгоняться до очень высокой скорости. Система, при которой движение осуществляется более или менее равномерно и скорость остается невысокой, снижает необходимость борьбы с инерцией – основополагающей для нашего нынешнего способа передвижения. Мы способствуем таким образом уменьшению мировой энтропии.

Внедрение «телесных» систем передвижения способно также разительно повлиять на здоровье. Не так давно Центр контроля заболеваемости распространил доклад, согласно которому расползание городов напрямую связано с уровнем диабета и ожирения. Еще одно исследование связало ожирение в Нью-Йорке с бедностью. Хотя две эти напасти имеют совершенно разное происхождение, обе их можно назвать порождением телесного желания: желанием иметь автомобиль, которым охвачены буквально все жители американских городов, и желанием быстрого дешевого насыщения, заполнившим улицы

американских кварталов лавочками с низкопробной снедью. В обоих случаях отсутствие выбора подталкивает людей к моделям поведения, идущим вразрез с их же собственными интересами, но считающимися общепринятыми, во имя «скорости» и «сводного выбора» («сделайте это как вам удобно…»).

Система общественного питания, вредная для здоровья тех, кого вынуждают ею пользоваться, – это прямая параллель с городской системой передвижения. Свыше двух столетий, со времен промышленной революции, городам приходится играть в догонялки с городским транспортом, который все усовершенствуется, но совершенно без учета возможных последствий для уже существующей городской среды и городской жизни. Железная дорога резко «разрядила» города, давая им возможность расширяться без конца, а также опираться на отдаленные ресурсы, в результате чего они все меньше и меньше ориентировались на самодостаточную экологическую систему местного производства и сбыта. В наши дни ситуация становится гротескной: при доставке киви из Новой Зеландии в Нью-Йорк производится в четыре раза больше углекислого газа, чем вес самого фрукта; для перемещения сюда из Калифорнии головки латука тратится в десять раз больше калорий, чем получает тот, кто его съедает. Стать «местноедом», питаться местными продуктами – вот задача нашего времени.

Железные дороги вонзаются в податливую плоть города, создавая гигантские линейные барьеры, рассекающие его на зоны, а еще – ужасно загрязняя его дымом, шумом и страхом. Пугающих бедных кварталов «по ту сторону железнодорожных путей» не было бы, если бы не было самих железнодорожных путей.[92] Хотя социальные осложнения подобной демаркации характерны, как указывает Джейн Джейкобс, скорее для маленьких, нежели для больших городов, жизнь вдоль железнодорожных насыпей, траншей и эстакад – это повсеместный кошмар, особенно в эпоху угля и пара. Железная дорога – главный проводник концентрированной, широкомасштабной промышленной деятельности – привязывала заводы Викторианской эпохи и к поставщикам, и к потребителям и устанавливала набор пространственных иерархий, придавших функциональным и социальным различиям колоссальный размах. Поскольку речь идет о системе позиционного управления (скорость поезда определяется относительно большими расстояниями, необходимыми для разгона и торможения), железнодорожный состав (и шоссе с «ограниченным доступом») производит прерывистую структуру, еще усиливающую возможность разделения и установления иерархий.

Для решения проблемы Канал-стрит нужны решительные меры. Еще в начале 1920-х годов, когда тоннель Холланда только строился, идея сквозного проезда поперек Манхэттена находила много защитников. В 1929 году Ассоциация регионального планирования предоставила проект моторизации всего региона при помощи обширной сети скоростных дорог. В 1940 году Мозес, тогдашний царь и бог городских шоссе, предложил этот план мэру Ла Гуардия, и вскоре он оказался включен в городской мастер-план новых магистралей. Но все шло достаточно медленно до приятия закона о федеральных шоссе (Interstate Highway Act), после чего Мозес предложил не только проложить скоростную эстакаду вдоль Брум-стрит, двумя блоками севернее Канал-стрит, но и такие же скоростные шоссе на 34-й, 59-й и 125-й улицах. Масштабы необходимых разрушений трудно себе представить. Противодействие этим планам возникло быстро, и план Скоростной магистрали Нижнего Манхэттена оказался отвергнут Нью-Йоркской городской сметной комиссией в 1962 году. Но проект не умер. На следующий год Роберт Мозес снова представил его вместе с мэром Робертом Вагнером, и вдоль предполагаемых трасс началось отчуждение зданий. Борьба возобновилась – причем главенствующую роль в ней снова играла Джейн Джейкобс – и тянулась аж до 1969 года.

Стараясь сохранить проект в той или иной форме, его защитники выдвинули несколько интересных планов. По крайней мере два из них получили особый резонанс после одиннадцатого сентября, когда на короткое время открылись возможности для крупных инфраструктурных преобразований Даунтауна, способных спасти Канал-стрит. Первый план был выдвинут Американским институтом архитектуры: просто пробить тоннель из Нью-Джерси под Манхэттеном и вывести его за Ист-Ривер, прямо на Лонг-Айленд. Второй проект, изначально предложенный мэром Джоном Линдсеем, предусматривал прокладку скоростного шоссе по оконечности нижнего Манхэттена. След этого проекта – в возникшей на краткое время после одиннадцатого сентября, но наделавшей много шума идее соединить тоннель Холланда с тоннелем Бруклин-Бэттери, связывающим Нижний Манхэттен с Южным Бруклином. Потенциально этот проект мог быть расширен и мог включить в себя еще один тоннель, до Манхэттенского моста.

Самый безумный план спасения идеи скоростной магистрали Нижнего Манхэттена родился, однако, в голове архитектора Пола Рудольфа. По заказу фонда Форда Рудольф спроектировал гигантскую Y-образную конструкцию, соединяющую тоннель Холланда как с Манхэттенским мостом у въезда на Канал-стрит,

так и с Вильямсбургским мостом у въезда на Диленси-стрит многими блоками к северу. Этот проект, при всем своем щегольстве и формальном блеске, свойственным Рудольфу, превосходил всяческое разумение. Суть его была в том, чтобы заключить много слоев систем движения: скоростные шоссе, улицы, пешеходные дорожки, подземку, горизонтальные эскалаторы – в одну колоссальную конструкцию, включающую в себя также магазины, жилые дома, офисы и другие пространства. Несмотря на то он что проект был задуман так, чтобы соответствовать разномасштабным кварталам, через которые он должен был пройти, и включал в себя несколько фрагментов исторической архитектуры, им разрушаемых, сама предложенная схема представляла собой монструозную стену, многажды усиливающую разрушительный эффект скоростного шоссе, который она призвана была нивелировать.

Проект Рудольфа просто суммировал многолетние усилия модернизма, расширив старую «послойную» мечту об организации движения, структурированного вокруг пучка систем, разобранных по потокам. Еще этот проект отражает давний интерес к линейным сооружениям, возникший вместе с железными дорогами и вскоре ставший базой для авангардных фантазий, существующих до сих пор. Пальма первенства здесь принадлежит Артуро Сориа-и-Марта, предложившему для Мадрида в 1882 году линейное предместье вдоль линии конки и действительно построившему три мили – вместо предполагавшихся тридцати. Смысл был в том, чтобы, как писал он сам (задолго до аналогичного описания Эбенизером Говардом «города-сада»), «оприродить город и урбанизировать пригород». В проекте Эдгара Чамберлесса под названием «Роудтаун» («город-дорога»), опубликованном в 1910 году, описывалось бесконечно длинное здание шириной в две комнаты, сооруженное над трехуровневой железнодорожной подземкой – для местных, скоростных и грузовых поездов. В конце 1920-х годов Н. А. Милютин предложил Советскому Союзу соответствующий его масштабам план «линейного города», который, в духе риторики Сориа-и-Марта, мог одним махом разрешить старое марксистское противоречие между городом и деревней. «Алжирская схема» 1933 года Ле Корбюзье – скоростное шоссе, проложенное по крыше четырнадцатиэтажного здания, которое должно было тянуться на мили вдоль Средиземного моря, давая жилье 180 тысячам человек, – конечно, самый непосредственный предшественник «Городского коридора» Рудольфа. «Алжирская схема» остается, возможно, самой запоминающейся попыткой морфологически перевоссоздать город с учетом линейного

движения, реорганизовать цивилизацию как глобальную венозную систему, бетонную сеть движения капиталов.

С подобными мегаструктурами много носились в 1960–1970-е годы, делая города в духе Ле Корбюзье бесконечными, рационально продуманными репликами того, что было, в сущности, единым зданием – гипертрофированным потомком фаланстера Фурье. Архитектурная пресса лопалась от подобных предложений, в большинстве своем сопровожденных прогрессивистской риторикой. (Райнер Бэнем, историк мегаструктур, предлагал отличать их от «просто» больших комплексов присутствием «игрового» элемента.) Йона Фридман предлагал возвести над Парижем гигантскую структурную решетку, оставляя существующий город в неприкосновенности под ней. Паоло Солери опубликовал серию прекрасно прорисованных «архологий» (от «архитектура» + «экология»): гигантские ульи, вмещающие население целого города, оставляющие, благодаря своей невероятной плотности застройки и вертикальной ориентации, поверхностность земли относительно нетронутой. В Японии архитекторы-«метаболисты» предлагали накрыть Токийский залив огромной платформой и застроить ее решеткой гигантских идентичных задний. Все эти проекты игнорировали тот факт, что этим титаническим сооружениям потребуются столь же централизованная организация и управление, – то же странное высокомерие, что владело Робетом Мозесом, который в действительности предлагал проекты, превосходящие масштабами самые смелые архитектурные фантазии.

Вообще-то многие подобные мегаструктуры были в конечном счете построены. И продолжают строиться. «Хабитат» (1967) Моше Сафди сочетает линеарную форму с подходящей для собирания в компактные структуры модульностью жилых единиц, реализуя классическое представление о массовой продукции в архитектуре, воплощенное при этом в образе живописного «города на холме». Удачный с архитектурной точки зрения, «Хабитат» провалился как прототип. Его жилые единицы оказались просто слишком дороги, и массовое производство модульных компонентов, которое могло бы опустить цену, так никогда и не началось. Вариант экономной модели «Хабитата», однако, был к тому времени уже воплощен, пусть и не в столь зрительно эффектной форме, в пригородных домах конвейерной сборки вроде Левиттауна,[93] жутких панельных многоэтажках по всему советскому блоку, или же передвижных домиках – полностью собранных и снаряженных на заводе, транспортабельных модулях, которые выпускают миллионами

каждый год.

Идея мегаструктуры, с ее идеологией массового распространения и ограниченным набором формальных предпочтений, достигла своего максимума в 1960–1970-х годах. Ее применяли при строительстве научных институтов, больниц, жилых комплексов, в которых модные на то время брутальные, механистические вкусы сочетались с линеарной, ячеистой структурой. Среди примеров – жилой комплекс 1967 года «Брунсвик-Центр» в Блумсбери (Лондон) Патрика Ходжкинсона; Свободный университет Берлина Кандилиса, Йосича и Вудса (1963); колледж Скарборо в Торонто, спроектированный в 1964 году Джоном Эндрюсом; Центр Помпиду (1971). Подобно готическим кафедральным соборам, эти здания, поражающие концептуальной и формальной схожестью, быстро стали скорее типажом, чем принципом. Но если популярность типажа оказалась относительно краткосрочной, принцип продолжает жить.

Возможно, величайшим из всех мегаструктурных проектов стал план преобразования делового центра Форт-Уорта (Техас), предложенный в 1955 году Виктором Грюном, которого называют отцом торговых центров. Чтобы сделать центр города пешеходным, Грюн, бежавший из Вены, предложил «поднять» город с помощью ряда гигантских крытых парковок и служебных структур, оставляя его центральный (приподнятый) уровень свободным от движения. С формальной точки зрения подобная организационная схема остается «традиционной» – отдельные здания, сорганизованные вдоль сетки улиц, гигантский проект, лишенный эстетизации гигантизма, свойственной мегаструктурному академизму. Оставшись невоплощенным, он возымел колоссальное влияние, заметное в соединенных между собой, стоящих на общем подиуме сооружениях, от Кристал-Сити в Вирджинии до французского Лилля. Он также заинтересовал, что неожиданно, Джейн Джейкобс, которая подробно (и не без симпатии) писала о нем в «Смерти и жизни больших американских городов». Хотя ей много в чем можно было бы его упрекнуть!

Подход «всё в одном» – вот что отличает эти проекты от тех, что известны в истории уже больше тысячелетия. Оксфордские колледжи – и ткань средневекового города как такового, что в западноевропейском, что в исламском варианте – это очевидная мегаструктура, среда зданий, полностью и буквально соответствующих идее подчиненности отдельных зданий цельной городской ткани. В этом смысле все города суть мегаструктуры, отчетливые и, как правило, функциональные в своих

сочленениях, физически соединенные смежными стенами и дорогами, коллекторами и подземными переходами, административными и физическими границами. Разница – в том, как города «раздают» автономию, анализируют рост масштабов отдельных сооружений и как они становятся «завершенными». Споры могут вестись вокруг доминирования, адаптивности, разнообразия и консенсуса. Традиционная архитектура города складывается в результате диалога между формой и культурой, ведущегося поколениями. Соглашения – самая устойчивая форма архитектуры, – свойственные Нью-Йорку, подтверждаются их адаптивностью, устойчивостью, а также способностью поддерживать комплекс ощущений и видов деятельности, связанных в нашем сознании с городской жизнью. Великие города могут быть сооружены в спешке: Санкт-Петербург, Бруклин, Майами-Бич возникли очень быстро. Проблема мегаструктуры не ее протяженность, а отсутствие выбора, жестокость, с которой она обрушивается на хрупкую, но необходимую социальную и пространственную экологию.

Трайбека

По телевизору крутят рекламу нового японского внедорожника «Субару Трайбека»: «Конец внедорожника каков он есть и начало внедорожника каким он должен быть». Имя, выбранное для автомобиля, мало чем отличающегося от других, кажется чудным, и реклама делает его еще чуднее. Пересекая Канал-стрит, я попадаю в настоящую Трайбеку (TRIBECA – TRIangle BElow CAnal, «Треугольник ниже Канала») – квартал, ставший брендом внедорожника. Некогда – место оптовой продажи масла, яиц и овощей, причудливая смесь офисов, лофтов и остатков жилой застройки, разраставшаяся в течение двух веков. Теперь – один из самых трендовых и дорогих районов города. Роберт Де Ниро, кажется, уже скупил его половину,[94] повсюду выросли лощеные рестораны, и район уже наполнили безошибочные метки джентрификации – магазины элитной мебели и ларьки всяких экзотических цацек.

О чем они думали в рекламном агентстве, выбирая имя для автомобиля? Значит ли что-нибудь слово «Трайбека» в пригородах, где внедорожник, по идее, должен продаваться? Если да – то какие позитивные ассоциации должен вызывать этот район роскошных лофтов у потенциальных покупателей машины? Существует ли связь между городской тканью и престижностью автомобиля? «Субару» полагает, что да. Реклама показывает «Трайбеку» крупным планом на фоне разных фрагментов как бы городского пейзажа, напоминающих скорее Лос-Анджелес. Машина мчится по шоссе, минует пригородные дома и проскальзывает «городские улочки» с тротуарами и тенистыми деревьями, высаженными вдоль массивной стены белого камня – лос-анджелесская Банкер-стрит, надо полагать.

Название «Трайбека» ласкает ухо, как дюжина других сгенерированных на компьютере неологизмов, которыми сейчас величают азиатские седаны. Какой смысл несут названия «Элантра», «Камри», «Акура» или «Мурано»? Кроме того очевидного факта, что присутствие непроизносимой японцами буквы «р» вестернизирует их. Подобные имена намекают на техническое и эстетическое совершенство, мир камер наружного наблюдения, электричества, аккуратности, венецианского стекла (метонимически символизирующего роскошь?) и т. д. (Может ли название Murano, произносимое как «марано», обозначать по созвучию марранов, «тайных евреев», намекая на сокрытое в гаражах сообщество автомобилей или же на их невидимый с улицы ход по тоннелю Холланда под водами Гудзона? Или

должно, более извращенным образом, напомнить о Венеции, единственном городе в мире, полностью свободном от автомобилей?) Трайбека выглядит как искусственное название, потому что это и есть искусственное название, простой и понятный акроним. Не исключено также, что рекламное агентство попыталось вызвать ассоциацию с кампанией «Американ Экспресс», в которой Роберт Де Ниро рекламирует свой кинофестиваль «Трайбека».

Городская номенклатура не впервые появляется в автомобильной промышленности. «Крайслер Нью-Йоркер» и «Бьюик Парк Авеню» – символы лимузинной роскоши и изысканности; «Понтиак Паризьен» намекает на игривость и стильность, предполагаемую женственность, которой отличается водитель (-ницы), и, очевидно, такое название призвано приглушить избыточную связь с топочущими бизонами, грозными силами природы, покоренными индейцами – и покупателями-мужчинами.[95] Но Трайбека?! Впрочем, почему бы и нет? Это слово прозрачно намекает на деньги, лоск, россыпь конфиденциальных сведений, на джентрификацию саму по себе: движение вниз по Манхэттену как квинтэссенция продвижения (на четырех колесах) вверх по социальной лестнице. Жду не дождусь повстречать первый «Субару Трайбека», чтобы крикнуть водителю: «Козе-е-ел!»

Город не чужд этой игре «как вы яхту назовете…». Разделы газет, посвященные недвижимости, изощряются в создании и перемещении этих имен-мест, пытаясь набить цену за счет ауры названия. Так Нижний Ист-Сайд стал Ист-Виллидж, Грамерси-парк расползся на много блоков вокруг этого скромного клочка зелени. Последний полет фантазии одарил нас такими названиями, как Нолита, СоБро, Дамбо и СоХелл,[96] а страницы недвижимости «Сандей Таймс» стали подлинным атласом этих географических открытий. Словечко «прилегающий» превратилось в средство искусного растяжения ауры, позволяющее раскатывать границы ценной территории немного дальше в направлении периферии – ныне безымянной или же (обычная история) такой, чью изначальную идентификацию следует заменить.

Мастерская в Трайбеке, которую я снимал шестнадцать лет, выходила (обратите внимание на прошедшее время – я уже три года как оттуда съехал) на место, бывшее некогда, в начале XIX века, одной из первоклассных жилых площадей. Подобно Вашингтон-сквер, Хадсон-сквер моделировалась по лондонскому образцу и относилась к владениям Тринити-чёрч, церкви Святой Троицы. В то время они простирались далеко на север, аж до

нынешнего Рокфеллер-центра, но и по сей день эта церковь остается одним из крупнейших собственников округи. Не располагая более недвижимостью непосредственно на бывшей площади Хадсон-сквер, «Тринити Реал Истейт», управляющая компания церкви, снова в маркетинговых целях пустила в оборот это название – единственное, связывающее ее недвижимость с местом и с его духом.

Церковь Троицы существует давно (освящена в 1697 году) – и так же давно заигрывает с Мамоной. Историческое церковное здание, возведенное великим Ричардом Апджоном в 1846 году (это уже третье здание – два предыдущих погибли в пожаре и в метели), стоит прямо на бровке Уолл-стрит, и его мрачная готическая башня выступает прекрасным символом того протестантского менталитета, который Макс Вебер воспевал как необходимую этическую предпосылку, дающую возможность расцвести духу капитала, столь откровенно явленному на улице, отходящей вниз от церкви. Ее неф и прилегающее кладбище издавна оказывали радушный прием капитанам промышленности, потому что церковь Святой Троицы, подобно другим религиозным институциям города, с самого начала жирела на играх с недвижимостью, проявляя при этом упорство, вгонявшее в краску многих светских конкурентов.

Центр интересов холдинга Святой Троицы – территория вдоль Канал-стрит и несколько блоков к северу от него, в основном к востоку от Варик-стрит. Прямо посередине этого участка – остатки площади, но теперь это не более чем пространство, организованное таким образом, чтобы направлять автомобили, прибывающие с разных сторон, в устье тоннеля Холланда. Когда я попытался несколько лет назад пересечь его пешком, полисмен, регулировавший движение медленно ползущих автомобилей, остановил меня словами, что в этом месте переходить улицу запрещено. Так что тротуар с одной стороны этой «площади», похоже, не более чем ностальгическое украшение. Еще здесь стоит небольшая греческая православная церковь, с сократившейся, но активной общиной, обреченная на слом ради какого-то более высокого предназначения (и строения). [97]

Настоящая (бывшая) Хадсон-сквер – это большее пространство к югу от Канал-стрит, тоже приспособленное для автомобильных нужд и служащее для распределения машин, выныривающих из тоннеля Холланда, по разным румбам городского компаса. Ее тоже невозможно пересечь (разве только вы сильны духом или под сильным градусом), а недавно Портовая администрация[98] провела здесь реконструкцию, в результате

которой исчезла аллея, одна из самых больших в Нижнем Манхэттене, и появилось много нового заасфальтированного места. Целью подобного обновления было провозглашено улучшение ситуации с пробками, но ощутимого эффекта оно не возымело – дымящие легковушки и фуры все так же день-деньской стоят здесь в очередях на въезд в тоннель и на выезд из него. Окружают это «улучшенное» место несколько нелепых скамеек (с одного бока) и фонарей, отдаленно стилизованных «под старину».[99]

Годами озирая это пространство сверху из окна моего кабинета, я чертил в уме самые фантастические планы его благоустройства, все – направленные на то, чтобы вернуть его в обращение местного сообщества, людей, приходящих сюда на своих двоих, но оттесненных ныне автомобилями. Опять-таки здесь могут быть разные договоренности. В некоторых из моих мысленных схем люди и автомобили делили парк между собой. Ведь для того, чтобы вернуть людям южную оконечность этого пространства, достаточно было бы слегка скорректировать траектории дорожного движения и немного поэкспериментировать с улицами с односторонним движением.

Одна из самых интригующих возможностей для парка следует из близкого расположения (позади прекрасного неоклассического домика Первого полицейского участка в юго-восточном углу площади) конюшен конной полиции. Когда открываются ворота, виден двойной ряд стойл, в которых стоит около дюжины холеных лошадей. Порой сладкий запах навоза неожиданно вырывается на тротуар, на котором лежат брикеты сена или соломы. Часто можно наблюдать, как лошадь вводят или выводят, то и дело поглаживая по носу, – напоминание о некогда распространенном на городских улицах способе общения с природой. Мои схемы для Хадсон-сквер обязательно включают в себя загончик для лошадей, с травой под копытами.

Самый радикальный умозрительный план подразумевает полный запрет автомобилей. Но другие схемы, впрочем, признают наличие автомобилей, выскакивающих из тоннеля и направляющихся вдоль Канал-стрит на восток, как данность. Сейчас Хадсон-сквер служит лишь для замедления, распределения и парковки этих автомобилей. Но они могли бы с такой же легкостью сразу сворачивать на выезде из тоннеля на север или на юг, в Аптаун или Даунтаун, безо всяких громоздких пандусов. Действительно: закрытие Канал-стрит для транзитных автомобилей, которые сейчас рассматривают ее просто как кратчайший путь из Нью-Джерси в Бруклин, Куинс и на Лонг-Айленд, сразу и заметно улучшит качество жизни на всем

Нижнем Манхэттене. Длительное закрытие Нижнего Манхэттена для частного автотранспорта после одиннадцатого сентября, хоть и было вызвано трагическими обстоятельствами, убедительно показало жизнеспособность такого предложения. Недавний отказ от схемы «платить за пробки» – еще одна упущенная возможность.

Но идея просто избавиться от автомобилей обретает новые краски. В Нью-Джерси прокладывается система легкого наземного метро, призванная объединить вытянутые вдоль берега Гудзона поселки. Я подумал: а что если пустить такую же систему по одной из «труб» тоннеля Холланда? Ее остановке нашлось бы место на кромке площади, а оттуда пассажиры могли бы пересаживаться на станцию метро «Канал-стрит» и на автобусы, идущие в Аптаун и Даунтаун, или же двигаться на этом легком метро дальше по Канал-стрит, через Манхэттенский мост в Нижний Бруклин. Подобная система не просто увеличит пропускную способность тоннеля Холланда, но и, благодаря своим многочисленным связям с другими видами общественного транспорта, поспособствует сокращению потребности в автомобилях.

Мои годы работы в Трайбеке совпали с годами надувания гигантского пузыря недвижимости, ставшего впоследствии большой проблемой для всех нас. Хотя его размах заставил много рассуждать о его близкородственных связях с другими грандиозными пузырями, начиная с голландского тюльпанного пузыря 1637 года, этот коллапс не сильно поколебал рынок недвижимости Даунтауна. В Трайбеке цены на лофты и апартаменты просто заоблачные и образ жизни соответствующий. Более того, практически на любом свободном клочке в Трайбеке сейчас ведется строительство. Застройка на многих участках, казавшихся некогда слишком маленькими или слишком причудливой конфигурации, стала теперь экономически целесообразной, и необходимость возводить относительно небольшие дома с относительно малым количеством квартир больше не останавливает. Хотя назначение всех этих домов одинаково, возможность осуществлять хорошо продуманные работы в размерах, которыми долгое время пренебрегали, – это позитивный фактор. Не говоря уже про возможность проявить себя маленьким архитектурным фирмам.

Со всем этим развитием Трайбека, можно сказать, укомплектована. Учитывая нынешний строительный бум, прыгающий уровень инвестиций, и знаковость буквально всего квартала, очевидно, что Трайбека добралась до своей вершины с точки зрения морфологии. Так, как она выглядит сейчас, она будет теперь выглядеть еще долго, и дальнейшая застройка будет

подстраиваться под параметры этого частного урбанистического эндшпиля. Это подразумевает определенный отказ от дразнящих различий, раз уж требование вписываться в четко заявленную визуальную парадигму столь сильно, что принимает характер закона. Это не самое радостное обстоятельство, которое может негативно сказаться на возможностях, предоставляемых архипелагом маленьких городков. Последние архитектурные штрихи района должны быть самыми яркими, своего рода восклицательными знаками на рельефе, последними сполохами творческого потенциала при перемене декораций.

Но «режим знаковой застройки», заслуживающий уважения, когда речь идет о сохранении как древней застройки, так и отдельных выдающихся работ, имеет летальные последствия для инноваций, поскольку суждения и заключения в рамках этого режима выносятся согласно «теории смысла».[100] В искусствоведческих терминах говорят о «контексте» и об «уважительном отношении» – но подобное понимание природы контекста является почти полностью физическим и потому ограниченным. На Хадсон-стрит, в одном блоке к югу от моей мастерской, стоят напротив друг друга два здания, каждое занимает почти целиком по блоку. Оба – кирпичные, оба украшены элементами классического орнамента, оба набиты роскошными лофтами, и оба выглядят построенными в более или менее одно время, по крайней мере с художественной точки зрения. Но одно из них старое, а другое – новое с иголочки: образчик обезличивающего, следующего по пути наименьшего сопротивления понимания знаковости, при котором «встраивание» (наивысшая архитектурная ценность в историческом районе) всегда довлеет над «высовыванием».

Городские архитекторы хорошо знают, как работает экспертный совет, дающий добро на постройку, и почти никогда не пытаются протолкнуть что-то, выходящее за границы его возможностей. Можно считать, что этот совет всегда предпочитает просто идти по иконографическому и композиционному опросному листу. Выстраиваются ли карнизы в линию с другими домами? Соответствует ли им используемый строительный материал? Имеют ли окна пропорции и отделку, похожие на XIX век? Это ведь гораздо проще, чем играть с красотой контрастов, противоречий, усовершенствований или просто с оригинальностью. Возможно, это неизбежное последствие решения зафиксировать формы и пространства в точке наивысшего расцвета (в ботаническом смысле) – консерватизм становится единственным пунктом повестки дня для всех, заходящих на эту «лужайку». Проблема в том, что самые

легкодоступные формы соглашения приобретают вид консенсуса по умолчанию, над которым никто более не задумывается. Такова грустная особенность расцвета.

Идея поэтапного развития некогда была центральной для ортодоксального марксизма. Бессчетное количество часов – и жизней – оказалось потрачено на теоретические изыскания возможности перескочить через одну или две стадии на пути к нирване равных возможностей, предвкушаемой вслед за отменой государства. Хотя Трайбека не то чтобы полностью перескочила одну стадию на пути из рабочего района в рай для яппи, ей удалось проскочить ее очень быстро благодаря одному из классических приемов джентрификации: напустить маргинальное сообщество художников, чтобы те, как в Сохо, подготовили почву для прихода юристов и арбитражных адвокатов.

Трайбека прошла джентрификацию уже после того, как эта модель оказалась опробована по соседству. Подобная задержка связана с тем, что отсюда относительно поздно съехали продуктовые оптовые рынки, с тем, что здесь наблюдается большее разнообразие типов домов, и с тем, что здесь продолжают функционировать очень устойчивые и долгоживущие организации – государственные учреждения, большое количество типографий и печатных салонов, а также определяется более тесными общими связями с государственной и коммерческой деятельностью Нижнего Манхэттена. Этот район некогда выступал своего рода расширением Даунтауна, продолжающимся по Гудзон-стрит и Варик-стрит, заставленными на много блоков большими лофтовыми зданиями, выросшими здесь в бурные годы, предшествовавшие биржевому краху 1929 года.

Один из последних остающихся свободными пятачков Трайбеки – небольшая парковка на углу Бич-стрит. Здесь я почти всегда резко поворачивал направо, к южной кромке Хадсон-сквер, и дальше – к моей мастерской на Хадсон-стрит. Однажды летом это место заполонили плотники, спешно возводившие два старомодных дома. Тот, что побольше, казался кирпичным лофтовым зданием с чугунным фасадом рубежа XIX–XX веков. А рядом с ним строили маленький домик, выглядевший на три четверти века старше. На его цокольном этаже помещалась кафешка, отчаянно косившая под еще одну эпоху. Вся работа заняла недели две.

Кому, спрашивается, кроме Голливуда, могло это понадобиться? Неделями квартал наводняли листки, в которых описывалась предстоящая съемка, приносились извинения за доставленные неудобства и, в общем, местным жителям объяснялось, как это здорово – иметь под боком съемочную

площадку. Еще бы не здорово! Толпы сценографов добивались от фанерных листов видимости правдоподобия; вечером привезли оборудование для создания дождя, которое заполонило Франклин-стрит; наутро мы могли лицезреть Бриджит Фонду, пьющую в Bubby's капучино с Харви Кейтелем (давнишним местным жителем, уже нам примелькавшимся).

Флаер объяснял, что все это значит. Главной съемочной площадкой фильма была та самая кафешка. Именно здесь, по сценарию, происходит случайный разговор полицейского с официанткой, который и становится отправной точкой сюжета. Если верить этому летучему листку, ассистенты режиссера облазили весь Нью-Йорк в поисках правильного кафе, в котором все это должно происходить. Пересмотрев сотни таких заведений, уверял флаер, они не нашли ни единого, полностью удовлетворяющего их запросам «аутентичности», после чего было принято решение создать симулякр – выдумку, более реальную, чем любая возможная реальность. Хотя Трайбеку, как правило, очаровывают эти обманы, порою съемки возбуждают враждебность. Нелегко было наблюдать за воссозданием «аутентичной» ветхой многоэтажки (стоимостью в миллионы долларов) в относительно заброшенном в то время районе Нижнего Ист-Сайда для съемок фильма «Батарейки не прилагаются» (1987), в котором Хьюм Кронин и Джессика Тэнди принимают в гости крохотных инопланетян. Стивен Спилберг, продюсер этой картины, силен в фантастике, но не в метафорике: его инопланетяне не олицетворяли иммигрантов или застройщиков.[101]

Столь живописные фантазии не появляются из ниоткуда. Достаточно пройтись по району, чтобы увидеть архитектурные источники вдохновения сценографов – включая лофт, чей фасад был так элегантно уменьшен, и маленький старый домик по диагонали от места съемки, воспроизведенный, как зеркальное отражение себя самого. Конечно, подобное отзеркаливание встречается в культуре повсеместно, но на этот раз в нем было что-то жуткое. Надо еще поискать более наглядное воплощение опыта архитектурного постмодернизма, чем это поддающееся измерению пространство между декорацией и ее источником, подкопченной паяльной лампой фанерой «под кирпич» и обветренной подлинностью кирпичей, изображающих самих себя.

Дилемма – в неразличимости. Съемочная площадка откровенно навязчива, она дурит всех, включая архитекторов, которых я приводил полюбоваться кратким мигом ее славы. Им она нравилась, им нравилось быть одураченными, нравился тот

момент, когда, проходя через дверь, мы обнаруживали фанеру и стойки два на шесть, поддерживающие тонкие фасады. Даже сейчас я скучаю по той съемочной площадке, и не только потому, что это был отличный розыгрыш. Она подходила к этому уголку, ее наведенная паяльной лампой фальшивая патина отличалась явным благородством – результат заботы столь тщательной, которой окрестные «настоящие» дома редко удостаиваются. В квартале дорогущих ресторанов (Де Ниро владеет четырьмя в одном блоке) «настоящая» кафешка (в фильме она называется Ideal Coffee Shop, «Идеальная кофейня») очень бы пригодилась. Безыскусная атмосфера заведения для работяг, симулированная в милой комедии, – то, о чем в квартале безудержной трендовости можно лишь мечтать.

Так вышло, что фильм, носящий название «Счастливый случай», оказался не просто любовной историей, но олицетворением джентрификации. Николас Кейдж играет полицейского, который предлагает вместо чаевых половину возможного выигрыша его лотерейного билета официантке, Бриджит Фонде – хорошенькой, добросердечной блондиночке из белых протестантов, жительнице клевой Трайбеки. Но к началу их романтических отношений герой Кейджа уже женат, на героине Рози Перес – визгливой и доставучей брюнетке с выраженной этнической спецификой, и обитает в совершенно негламурной обстановке в Куинсе. К концу фильма Кейджу удается уйти от деклассированной Перес к определенно более котирующейся Фонде и – лотерейный выигрыш в кармане! – переселиться в Даунтаун. Американская мечта в действии![102]

После съемок участок на пару лет снова стал парковкой. Но однажды я обнаружил, что на этом месте появилась автозаправка. Первой моей реакцией была дикая ярость. Из всех вещей, не нужных кварталу, заправка – самая не нужная. Она не просто противоречит характеру среды, но и, как я сообразил, нарушает правила зонирования. Она незаконна! Пока я размышлял, с каким именно учреждением мне следует связаться, чтобы сообщить о преступлении, я сообразил, что проходил здесь два дня назад и никакой заправки не было. Но ведь невозможно за такой короткий срок выкопать котлован под цистерну, провести трубы и насосы. Это просто снимали рекламу, уж не знаю, для кого. Но мое раздражение было совершенно безыскусным.

Проблема с этими съемочными площадками (и фальшиво-историческими роскошными кондоминиумами) не в том, что они превращают Трайбеку в тематический парк; она меняется, к худшему или к лучшему, не по прихоти киношников, а «по милости» остальных городских кварталов. И уж конечно нет

ничего оскорбительного в миметической, подражательной сценографии этих площадок. Архитектура обязана заботиться об истории, когда речь идет о городе, и должна соблюдать договоренности, касающиеся среды обитания и формы. Проблема – в незаинтересованности, в том, что уголок города перешел под власть киношной «креативной географии». Городская достопримечательность возводится таким образом, что ее присутствие в Нью-Йорке – не более чем совпадение, и особость Нью-Йорка – качество, которое, казалось бы, должно привлекать кинематографистов в первую очередь, – перестает играть какую-либо роль. А какой смысл снимать в Нью-Йорке, если не снимать сам Нью-Йорк?

Несколько дней назад, утром, я проходил мимо съемочной группы, расположившейся на углу Уэверли-стрит и Гей-стрит – невероятно популярном перекрестке, который, кажется, «работает» каждую неделю. Поначалу все было прекрасно: блок огородили оранжевыми конусами, припаркованные машины убрали, обнажая пространство во всей своей чистой архитектонической красоте. Позже, однако, прибыли другие машины, киношные. Они были или винтажными, призванными воссоздать в блоке атмосферу иной эпохи, или же современными, но неестественно новыми, нетронутыми – готовыми кувыркаться или быть разбитыми. Этот перекресток особенно очарователен. Гей-стрит, в один блок длиной, с трогательным изгибом посередине, застроенная изящными домиками XIX века, – одна из лучших улиц в Виллидж. Я чуть не написал «одна из типичнейших», но нет: одна из самых исключительных.

Но киношников она интересует именно как «типичная». Точно так же, как на голливудских складах декораций есть наборы «старый Нью-Йорк», «современный город» или «маленький городок», замещающие «натуру». Они представляют род благополучного «общего места», что-то вроде Мейн-стрит, «главной аллеи» Диснейленда, сводящего все разности и нюансы к готовой формуле. Так, можно сказать, действует эффект диснеефикации. Состоящий в сужении диапазона, упрощении, позволяющем свести феномен к товару и сделать его пригодным для перекомбинирования. Таким образом репродукция становится возможной путем тематизации, наведения внешнего подобия в любом месте: «Где будем Гринвич-Виллидж делать, мадам?» Конечно, в подобном клишировании нет ничего нового. Как и в жгучем желании воссоздать в идеализированном виде что-то знакомое или обожаемое – в неподобающих обстоятельствах. Викторианская неоготика в Бомбее. Луарские замки в Лос-Анджелесе. Подобные бурлескные сочетания –

средство реализации колониальных фантазий о доминировании, о привилегиях, реализуемых в контексте, не способном оказывать сопротивление.

Что изменилось – так это масштаб производимой операции, декларируемые цели и состав участников. Мы создаем единую глобализированную культуру, и мы рискуем забросить создание частных стратегий «на местах» во имя набора общих взаимозаменяемых элементов. Вот почему пригороды Куала-Лумпура выглядят как Беверли-Хиллз, и нельзя сказать, что в обоих случаях архитектура как-то особенно хорошо соответствует климату. С другой стороны, поскольку элиты всего мира все в большей степени разделяют одни и те же культурные ценности, это особенности их выбора, и возмущаться тут нечего. Действительно, очень трудно провести различие между стратегиями «привитой» локальности (Гринвич-Виллидж, перенесенный в Пекин, Сингапур или Хьюстон) и этикой ревнителей старины, бурно радующихся воспроизведению исторических форм со всеми их местными особенностями, спустя долгое время после того, как они перестали быть приемлемы культурно и функционально, став иконами «того, что мы потеряли».

С этим аргументом можно зайти слишком далеко. Вообще-то нет ничего дурного в застраивании пригорода в старом колониальном стиле – конечно, если соблюдать при этом социальную и средовую ответственность. Что не выдерживает никакой критики, так это отстаивание особой приемлемости чего-то одного и блокировка других возможных путей исследования: а что еще применимо «по месту»? «Локальность» начинается с местной общественной жизни. Вследствие вульгарных представлений, навязанных марксистской историографией, мы склонны смотреть на архитектуру слишком детерминистским образом, как на чисто социальный или средовой продукт, неизбежный результат воздействия экономических сил. Новые стратегии «места» должны оказаться более частными и полнее нацеленными на сотрудничество.

Выбранные паттерны поведения – вот что должно лежать в основе всякой такой стратегии. Причем в соответствии с климатом, биологией и материальной базой региона. Далее приходит черед визуального контекста. Но когда эти определяющие факторы установлены, наступает время для изобретения, а не для воспроизведения. Хотя архитектура никогда еще не была столь полна сил с художественной точки зрения, она переживает кризис утилитарности и провальна с точки зрения восприятия в среде. Нам надо сделать решительный

скачок вперед. В Нью-Йорке сама логика развития подсказывает, что «точками роста», способными привести к взрыву разнообразия, должны стать такие факторы, как ориентация здания, минимизация импорта материалов, повторное использование, план крыши, решительное озеленение, самодостаточность, лофты, социальная интеграция, обзорность, возможность перемещаться пешком, доступность общественного пространства для большей части городского населения, бесшумность, вписанность в окружающую среду, энергоэффективность, равенство возможностей и их разнообразие.

Сценографические воссоздания стали в настоящее время общим местом урбанизма, способом уклониться от подлинного изобретения. Саут-стрит стала «Саут-стрит-сипорт» («Морским портом Южной улицы»[103]), Таймс-сквер превратилась в тематический парк, призванный изображать не столько Нью-Йорк, сколько «Нью-Йорк» – промоутерскую фантазию, имеющую самую отдаленную связь с историей города. Город пересегментирован в кварталы, возникшие не в ходе последовательного налаживания взаимосвязей и устойчивых сочетаний форм и характеров, а в результате пошаговой джентрификации, определяемой соседством уже завоеванных кварталов. Неподлинность раздражает, но столь же раздражает необходимость участвовать в навязанном извне, придуманном спектакле, будь то рассчитанное очарование архитектурной лжи или просто необходимость перейти на другую сторону улицы по просьбе ассистента какого-нибудь режиссера.

Недавний пример, наглядно демонстрирующий, насколько ошибочна политика, в рамках которой город рассматривается как место для возведения съемочный площадки, а не как заданная среда, – городская версия «Шоу Трумана», снимавшегося в омерзительной, «хуже не придумаешь» обстановке одного из самых знаменитых городков «нового урбанизма» – флоридском Сисайде. В один прекрасный день, когда я шел вверх по Хадсон-стрит, мое внимание привлекла неожиданная картина: прямо в мою сторону бежал чернокожий в лохмотьях, за ним яростно гнался полицейский с револьвером в руке. Выброс адреналина поверг меня в панику – я испугался за себя. Я не люблю оружие, насилие, и Трайбека – это такой район, от которого подобных вещей не ждешь. Откровенная неожиданность происходящего меня смутила. Я был взбудоражен одновременно как очевидной опасностью, так обманутыми ожиданием – а я-то думал, что жизнь в Даунтауне, в этом коконе среднего класса, избавит меня от подобных зрелищ. Проклиная себя, я приготовился

уворачиваться от пуль.

Крик «Снято!» вернул меня к реальности. Это опять Голливуд! Но на сей раз я пришел в ярость. Отправившись на противоположную сторону улицы, я заорал на съемочную группу, чтобы они проваливали ко всем чертям из нашего района. Пока я шел и кипятился подобным образом, мне на глаза попался еще один человек, наблюдавший за киносъемкой. Я знал этого человека. Его звали Дейл, он был бездомным, и обычно он проводил свои дни, сидя (как правило – в медитативном молчании) на грузовом крыльце пустующего здания и добывая себе пропитание за счет милостыни и доходов от мелкой барахолки, им организованной. Так уж вышло, что он тоже чернокожий, тоже одет в лохмотья и его обычное место – по диагонали от того места, где снимали сцену с бродягой и полицейским. В сущности, его пространственные отношения с местом съемки были такие же, у маленького домика, послужившего образцом для эрзаца с фальшивой кафешкой в нескольких блоках отсюда. Фильм изображал кроткого Дейла (которого «завершенность» Трайбеки вынудила теперь перебраться дальше на север, в Аптаун) опасным – точно так же, как джентрификация выставляет бедные кварталы заброшенными, пришедшими в упадок.

Проблема городского будущего – это проблема агрессивного смешения следствия и причины. Результат урбанистической деятельности, слишком полагающейся на круговращение и перетасовывание образов, – тотальное пренебрежение ценностями. Я верю, что жизнь формы наполовину самостоятельна и поэтому форма заслуживает того, чтобы быть свободной. Но еще я верю, что архитектура и городской дизайн по природе своей для чего-то должны быть предназначены. Модернистский урбанизм провалился не из-за того, что стремился к справедливости и здоровью, и не в силу самой природы своих зачастую слишком простых форм, и не потому, что настаивал на существовании единственной, универсальной связи между ними и единственным, универсальным предметом, которому они служат. Мы совершим ту же ошибку, если, подобно модернизму или кинематографу, будем настаивать на жесткой заданности образов и ценностей, будь то неизбежность преступных наклонностей бездомных или воспроизводимость мрачного шика старого Нью-Йорка. Исторические города умирают, когда их повествования вмораживаются в обязательства или ритуалы и становятся просто источниками для глобальных перетасовок образов, уносящих нас все дальше и дальше от их

подлинной правды.

Не так давно я приехал в Стамбул и оказался на вечеринке в доме у местного архитектора. С террасы открывался завораживающий вид через Босфор, на знаменитые памятники архитектуры – Топкапы, Айю-Софию, Голубую мечеть, – которые, подсвеченные, четко выделялись на фоне ночного неба. Я любовался в восхищении, но очень скоро меня стало что-то тревожить. Я понял: дело было в подсветке – очевидно, относительно недавней. Можно ли сказать, что вид на старый город, которым я любовался, аутентичен? Я стал сомневаться насчет все этих мерцающих куполов и минаретов. Наконец, я почувствовал, что это современное прославление истории лишает меня чего-то: я почувствовал, что у меня украли темноту.

Здесь, в Трайбеке, я чувствую то же самое. Не то что бы я решительно выступал против самого принципа сохранения памятников или их трансформации, но я должен сделать оговорку по поводу дальнейшего «сдувания» ауры и кражи потенциала. Хоть мне и нравятся муниципальные меры по улучшению жилого фонда и восхищают прекрасные дома, на которые эти меры направлены, атмосфера тускнеет поминутно. Возможности проявить архитектурную изобретательность, все еще остающиеся в районе, приносятся в жертву, одна за другой, во имя консенсуса «наименьшего общего знаменателя» – кажется, единственного вида архитектуры, допускаемого охранителями культурного наследия.

Тоскливое здание на противоположной стороне улицы и его многочисленная родня по соседству пытаются иллюминировать Трайбеку, внушить нам, что они – лучшие. Но у них ничего не выходит. Яркое освещение посредственных домов лишь обнажает беспомощность их архитектуры. По мере того как квартал низводится до состояния сценической декорации для реализации все сужающегося и сужающегося набора желаний, историчность его улетучивается. Мы снова возвращаемся к идее аутентичности. Как бы ни была подозрительна (а порой и хуже) эта концепция, кварталы могут считаться аутентичными по форме и по их взаимосвязям. Один из тестов хорошего современного города – «Обнаруживается ли здесь Дисней?». Глобальная симуляция – вот наша любимая антиутопия. Хотя вообще-то это главенствующая культурная стратегия. Вот рубеж, на котором Нью-Йорк должен противиться превращению в мировой город.

Трайбека почти заканчивается. Последний пустующий участок на Гринвич-стрит заполнился супер-пупер-отелем, входящим в империю Де Ниро. Мы добрались до той точки, когда бурная деятельность по конверсии и реновации, не оставившая

буквально ни единого здания или места нетронутым, близка к своему завершению. И впечатляющие улучшения общественных сооружений, включая новый Вест-Сайд-Хайвей, парк и озеленение Гринвич-стрит, создадут правильный вид устойчивой, насыщенной инфраструктуры. На большой площадке на пересечении Вест-стрит и Чеймберс-стрит появится безобидная многоэтажка, вроде тех, что стоят через дорогу в Бэттери-Парк-Сити.[104] Городской комиссии по планированию пришлось пожонглировать зонированием, чтобы с выгодой пристроить этот лакомый кусочек. С сохранностью исторического наследия все в порядке: ничего «важного» не исчезло, а пустые участки почти все ушли.

Хадсон-стрит, 145

Я въехал в студию на Хадсон-стрит в 1989 году. Здание – большой промышленный корпус с бетонным каркасом, сооруженное в конце 1920-х, крепкий образчик ар-деко, предназначенный для тяжелой работы. Нижний конец Хадсон-стрит, где находится дом, содержит много подобных зданий, и они много лет являлись центром полиграфического бизнеса в Нью-Йорке. Когда я въехал сюда, здание оставалось еще преимущественно промышленным (а сам владелец – печатником), с целой россыпью профильных студий и офисов. Моя собственная студия на верхнем этаже смотрела на восток, и сквозь элегантные створчатые окна через крыши Бродвея открывался вид аж до самого Куинса. Более того, благодаря выходу на крышу я мог любоваться захватывающей круговой панорамой, включая закаты на Гудзоне.

Заняв это помещение, я сделал шаг вперед с точки зрения респектабельности. Все предыдущие студии или были частью моего жилого лофта, или смешными «подсъемами», включая промозглый и темный полуподвал с окнами на воздушный колодец, которые могли бы принести глоток свежего воздуха, если бы нам не приходилось держать их закрытыми, чтобы уберечься от крыс, шмыгавших снаружи средь бела дня. Мое эффектное продвижение вверх по социальной лестнице оказалось возможным благодаря арендной плате, чрезвычайно низкой по нынешним стандартам. Ну и благодаря тому, что помещение с первого взгляда не вызывало у меня отторжения. Да и соседи были вполне подходящими: художник, фотограф, оптовый торговец бумагой и рабочее бюро архитектурной фирмы, занимавшейся негламурной работой по созданию технической документации для проектов других сотрудников.

Не имея никакого опыта съема офисов, я не подозревал о некоторых нюансах, которые нужно при этом учитывать – например, о том, что мусор из подобных зданий вывозится частными мусоросборщиками, а городские коммунальные службы имеют дело только с бытовыми отходами в жилых домах. Меня и без того уже слегка напрягало разнообразие дополнительных расходов, прилагавшихся к моей аренде, – плата за воду, за электричество, налог на недвижимость и страховка, так что платить за что-либо еще я совсем не был расположен. И когда, вскоре после того, как я въехал, мне позвонили из компании, занимающейся вывозом мусора, и предложили заключить с ними контракт, я заколебался. Первой моей мыслью было: «Ну, за что

меня еще заставят платить?» Потом я задумался о стоимости, непропорционально большой для того скромного количества отходов, которое я предполагал производить. И наконец я подумал, что мешок или два в неделю легко можно будет выбрасывать в один из многочисленных мусорных баков в округе или просто оставлять на улице в соответствующем месте для сбора мусора.

После определенного диалога, в ходе которого вопрос о разных способах избавиться от мусора разросся (для меня) в дело принципа, я официально отказался от их услуг. Через час в моих дверях появились двое мужчин. Один, обряженный в костюм с галстуком, вел переговоры, а другой – здоровяк, одетый менее формально, молча стоял за ним. «Вы – тот самый человек, который не хочет, чтобы мы собирали его мусор?» – спросил человек с галстуком. «Ну да, – отвечал я, еще не остыв после телефонного разговора. – С чего бы это мне хотеть?» «А вы знаете, что это незаконно – не нанимать нас для сбора мусора?» Я отвечал, что разберусь с этим сам. Это тянулось какое-то время, пока наконец я не указал им на дверь. В то время, когда они ждали лифта, здоровяк открыл дверь на пожарную лестницу, к которой примыкал балкончик, огороженный лишь легкими перилами из трубочек, и, перегнувшись через них, задумчиво изрек: «А прикольно это будет – лететь с четырнадцатого этажа!»

Тут-то до меня наконец дошло, и я поспешно пошел на попятный. Да, конечно, я хотел заключить контракт на их чрезвычайно справедливых условиях. На этом все и закончилось. Лишь через несколько лет законодательная власть высвободила мусорный бизнес из лап мафии, добившись того, чтобы отдельные жильцы имели право сами выбирать, с кем заключать контакт на обслуживание. В настоящее время этот бизнес контролируют гигантские корпорации, такие, как вездесущий «Уэйст Менеджмент», который рекламирует себя по телевизору, рассказывая всем, какие они зеленые, продвинутые, чуткие и заботливые. Что же касается цен – от смены оператора они особо не изменились. И мусор по-прежнему просто вывозят из города, не перерабатывая.

Здесь пришла пора признать, что в этом тексте есть определенная доля лукавства. В этой книге, которую я начал около дюжины лет назад и произвольно бросал и снова принимался, нашли свое отражение две основополагающие перемены. Первая – одиннадцатое сентября. Я видел атаку с улицы, когда вышел из дому и направлялся в Даунтаун. Башни-близнецы маячили в окне нашей гостиной в «Аннабель Ли», и всегда то появлялись, то исчезали у меня перед глазами по пути

на работу. Моя мастерская на Хадсон-стрит находилась не так уж далеко от Всемирного торгового центра; ливень пепла и бумаг, обрушившийся при падении башен, накрыл все вокруг, и от запаха смерти некуда было деться. В утро атаки, после попытки сдать кровь, я просто пришел в мастерскую. Всех, кто был в здании, эвакуировали к вечеру, и предыдущие семь лет работы над книгой наполнились бесконечным потрясением этого одного дня. И если я не пишу об этом в книге отдельно, то лишь потому, что она вся пропитана этим чувством.

Не так давно, четыре года назад, я переехал из студии на Хадсон-стрит в подобное же помещение примерно в восьми блоках ближе к дому. Причина банальна: джентрификация. Здание превратилось в кондоминиум, лофты стали переделывать в многомиллионные апартаменты для звезд сцены и экрана. Мое движение вниз по социальной лестнице началось исподволь. Сначала я переехал с четырнадцатого этажа в такое же помещение на восьмом: оказалось, что мой контракт содержал пункт, позволявший домохозяину переместить меня в «сопоставимое» помещение в этом же здании по собственному усмотрению. Эта перемена повлекла за собой утрату прекрасных видов, выхода на обширную крышу (на которой принялись возводить огромный пентхаус) и разрушение милой субкультуры нашего этажа. Это оказался лишь первый шаг домохозяина в «опускающей» стратегии конверсии. Следующей остановкой моего путешествия, разумеется, оказалась улица.

Хотя все апартаменты давно распроданы за астрономические суммы, затребованные владельцем, вплоть до самого недавнего времени они стояли в основном пустыми, из-за юридических проблем, возникших в связи с новым статусом помещений. Из-за пентхауса (сейчас, наконец, перестроенного) дом оказался на один этаж выше, чем позволял строительный кодекс. Процесс перевода в жилой фонд занял более десяти лет, в течение которых хозяин продал парковку позади здания, на которой возвели его точную копию, давно полностью заселенную. Но пустующие помещения в самом доме, похоже, мало что значат. Владелец галереи, въехавшей в цокольный этаж, сказал мне недавно, что, когда один из покупателей апартаментов, утомившись от бесконечных отсрочек, потребовал деньги назад, хозяин сумел продать пространство, которое еще только предстоит заселять, за ощутимо бóльшие деньги, чем изначальная (астрономическая!) цена. Очевидно, незаселенными апартаментами можно бойко торговать, это чистая спекуляция тем, что можно считать местным эквивалентом золота.

Вскоре после первой Войны в заливе (1990–1991), хозяин

вывесил на потолочную осветительную арматуру в лобби дома американский флаг. Хотя я ничего не знаю о его жизни, чисто хронологически он принадлежит к величайшему поколению.[105] Въехав на Хадсон-стрит, 145, я немного болтал с ним и при этом выяснил, что он жертвовал деньги на постройку Национального кафедрального собора в Вашингтоне, этого весомого символа прямых протестантских добродетелей и впечатляющего пространственного воспоминания моего собственного детства.[106] Я понял, что это человек твердых убеждений, и хотя довольно быстро выяснилось, что в вопросах аренды и квартплаты он столь же несгибаем, я никогда не мог сказать, что он ведет себя неразумно, нечестно или не готов к сотрудничеству. В те дни, после войны, я охотно шагал под флагом.

Парад победы по окончании первой Войны в Заливе (сомневаюсь я, что мы дождемся такого же парада по случаю окончания второй, поскольку она все не кончается), прошел на Бродвее, в нескольких блоках от моей мастерской. Я хорошо его помню: гордые, принаряженные американские солдаты – настоящий «фестиваль во славу разнообразия», который, словно будучи не в силах пересечь невидимый барьер, застопорился на Канал-стрит и растекся по тамошним кафе и барам.[107] А я мечтал о том, как было бы здорово, если бы они продолжили свой торжественный марш в Аптаун до Гарлема или Южного Бронкса – мест, где армейский опыт и материальные ресурсы можно было бы приспособить к созидательному труду – для обновления домов, возведения школ, налаживания работы карет скорой помощи.

Эта цепочка умозаключений привела меня к той идее, что «мирный дивиденд» – средства, якобы высвободившиеся в результате окончания холодной войны, могли бы породить на прощание нечто воистину грандиозное. Задумавшись о проекте, достойном этой гигантской культурной, финансовой и человеческой инфраструктуры, поддерживаемой – раздуваемой! – в течение столетий, я стал перебирать: что бы можно было предложить вооруженным силам столь же драматичного и захватывающего, как война. Идея, быстро возникшая у меня в голове, заключалась в следующем: создание новых городов на месте заброшенных. Эта мысль снова посетила меня при известии о новых закрытиях военных баз. Города, возникшие вокруг баз Форт-Уэйн и Форт-Уорт, свидетельствуют: военные в течение долгого времени выступали первопроходцами городского строительства, создавая устойчивые ячейки роста.

Следует также уяснить, что я твердо верю в проекты создания новых городов. Это единственное действенное противоядие,

дающее возможность избежать Сциллы расползания и Харибды конурбации, этих не функционирующих морфологических двойников современного урбанизма. Военные базы с их готовой инфраструктурой, обширной территорией и квалифицированным населением – логичные (и потенциально определяющие) места для возведения новых городов. Апеллирование к «срежиссированному урбанизму», при котором известное число городов планируется заранее и возводится одновременно, также кажется сильным аргументом. Хотя ранее в истории уже предпринимались скромные усилия, в основном связанные с Новым курсом, продумать национальный проект возведения новых городов, практически все проекты застройки «в чистом поле» в наши дни – частные инициативы, и большинство из них слишком скромны по масштабу, оказывают слишком малое воздействие или, в модели «нового урбанизма», не являются городами вовсе.

Вовсе не лежит за пределами разумного и попытка планировать новые города, держа в голове расчет на их самодостаточность. Это здравая политика в мире, которым правят неустойчивые правительства и могущественные транснациональные корпорации; политика, которая дает способ задуматься об отношениях отдельных личностей и городских поселений со стабильностью в масштабах всей планеты, метод подсчета, который можно переносить на более высокий и более низкий уровень, применяя к целым нациям и отдельным личностям. В этих расчетах города, чрезвычайно важная «рамка» для практической демократии, становятся логичным местом приложения средовой ответственности. Вполне реально представить себе города, самодостаточные в таких сферах, как вода, сокращение выбросов CO_2, утилизация отходов, питание, энергия, работа и еще более разнообразный набор качеств, создающих критическую массу городской культуры. Если сейчас энергично заняться строительством новых городов – это может стать отличной лабораторией природоохранной «системной интеграции».

Я не знаю, какая проблема с флагом появилась первой – эстетическая или политическая, но, в конце концов, они нерасторжимо взаимосвязались. С моим проживающим в Аптауне домохозяином я упражнялся в «подколках», которыми мог бы его оглоушить, вроде такой: «А чего вы не вывешиваете полноценный флаг на специальном флагштоке перед входом, вместо того чтобы цеплять бумажку к светильнику, раз вы такой зашибенский патриот?» Разумеется, я никогда бы не стал говорить ничего

подобного вслух. Чем дольше я пребывал в доме 145, тем больше меня удручало состояние лобби. Не столько само по себе, хоть там, к неудовольствию нескольких поколений охранников, недоставало кондиционера, сколько в связи с тем, что происходило вокруг.

Когда домохозяин затеял преобразование дома, один из обширных грузовых лифтов был удален и заменен на лифтовую кабину меньшего размера, отходящую от нового лобби, спроектированного уже как для жилого дома и предназначенного для использования новыми жильцами. Но поскольку жильцов пока не было, этим дублирующим лобби и его лифтом пользовались одни только риелторы, хотя нам, съемщикам производственных помещений, тоже периодически дозволялось им пользоваться в связи с участившимися поломками двух наших собственных лифтов. В новом лобби было все, чего не хватало старому: оно было прохладное, лощеное, отделанное каменными и деревянными панелями, расписанное изящными фресками. Эта роскошь, показывающая, как предстоит жить «другой половине», была знаком нашего скорого заката: моя дорогу на улицу оказалась в буквальном смысле выстелена хозяйскими добрыми намерениями – по отношению к нашим «наследникам».

Еще до начала перестройки два перегруженных пассажирских лифта в доме 145 всегда стояли внизу, отключенные. Будучи построенным изначально для промышленного производства, здание предназначалось для приемки тяжелых грузов и огромных контейнеров – и возможность перемещения этих предметов была, пожалуй, даже важнее, чем возможность перемещения людей. Рабочие часы и дисциплина производства предполагали малую загрузку пассажирских лифтов, за исключением начала и конца рабочего дня, а также обеденного перерыва. Зато здание располагало двумя огромными грузовыми лифтами, соединенными непосредственно с грузовым крыльцом, способным принять несколько грузовиков кряду (равно как и рабочих, большой толпой спускающихся на обед и на выход по окончании рабочего дня).

За время моего пребывания в доме 145 загрузка пассажирских лифтов возросла экспоненциально. В арендованных помещениях не просто кипела работа, но многие из них к тому же имели дело с клиентами или, как фотостудии и кастинговые агентства (оценившие преимущества огромных хорошо освещенных помещений), с беспрерывным потоком курьеров с портфолио моделей под мышкой. В результате этой резко возросшей нагрузки лифты постоянно ломались. Совсем худо стало уже после моего переезда на восьмой этаж, вечера доставляли чуть

меньше неудобств, чем можно было вообразить, хотя не так уж редки были случаи, когда я спускался с восьмого этажа пешком. По утрам же – если я, разгоряченный утренней прогулкой, вваливался в лобби, которое, как калькуттская электричка, было набито людьми в ожидании одинокого лифта (который только что захлопнул свои двери), то я штурмовал лестницу. При прочих вариантах – присоединялся к толпе.

В один такой день я пережил кошмар. Мне случалось и раньше застревать в лифте, даже выбираться через отжатые двери (впрочем, через потолок еще ни разу), но это было просто идеальное попадалово. Сочетание жары, толпы и полное отсутствие реакции на наши крики и нажимание кнопки «вызов» – я думал, от всего этого я задохнусь. К счастью, никто не паниковал. Мы стояли спокойно, периодически разражаясь криками о помощи, ударами в дверь и проклятьями. Я закрыл глаза, старался дышать как можно медленнее и прослушал (мысленно) финальную сцену в гробнице из «Аиды» с божественной Леонтиной Прайс.[108] Разумеется, нас спасли. Смерти в лифте редки, на самом деле. Падения в шахту лифта случаются куда чаще.

Но порой оказывается, что за лифтами просто никто не следит. Не так давно в газетах писали о посыльном из китайской забегаловки в Бронксе, пропавшем на несколько дней. Наконец его обнаружили живым и здоровым в лифте жилого комплекса, застрявшем между этажами. Окажись у него при себе мобильник, он мог бы позвонить (будем считать, что там есть связь) – как поступили мы из нашего заточения на Хадсон-стрит. Правда, он, в отличие от нас, мог подкрепляться жареным «цыпленком генерала Цо» из коробок, которые он нес. Наша же проблема заключалась не в том, что нас потеряли, а в том, что нас не могли спустить вниз. Но само использование сотовых телефонов в лифтов поднимает ряд вопросов.

Общеизвестно, что формы поведения и общения в лифте строго регламентированы. Для меня это – лицом вперед, стоять в шахматном порядке и соблюдать полную тишину. Хореография и правила, однако, заметно меняются, когда в кабине становится больше народу. Если я поднимаюсь один и лифт останавливается, чтобы забрать кого-нибудь на промежуточном этаже, я отхожу в дальний угол. С другой стороны, существует сложный этикет движения из дальнего угла сквозь толпу к выходу. Смысл его в том, что надо избежать необходимости вслух просить пропустить и что все пассажиры стараются встать так, чтобы любой из них мог выйти прежде, чем захлопнутся двери.

Оборотная сторона этой стратегии учтивости проявляется в

переполненных лифтах и вагонах метро, когда тем, кто стоит у самых дверей, приходится выходить, чтобы пропустить остальных. Это действие заслуживает благодарности со стороны тех, кого таким образом пропускают; кроме того, стоящий ближе обязан нажать на кнопку открывания дверей и сделать упреждающий жест, чтобы она не закрылась раньше времени. Эта зачастую весьма искусная хореография сделалась второй натурой для миллионов людей. И это – маркер городской цивилизации, молчаливый знак принятия ею новых технологий, городское «Супер-Я» в его лучшем проявлении.

Меня по-прежнему смущает хаотичность соглашений, регулирующих использование сотовых телефонов. Хотя я не располагаю данными о том, сколько людей отказываются пользоваться ими в лифтах, я определенно могу созерцать большое количество людей, которые ими пользуются. Многие заходят в лифт прямо посреди разговора. Другие принимают звонки в лифте. Третьи звонят сами. И никто из этих трепачей не удосуживается говорить потише, следить за выражениями или ограничивать разговор только самыми неотложными вопросами. Напротив: многие разговоры оказываются вызваны необходимостью сообщить собеседнику: «Я в лифте». Подобное уведомление о своих транспортных обстоятельствах столь же часто можно наблюдать в самолетах. Меня просто поражает огромное количество людей, которые, как только гаснут таблички «пристегните ремни» и самолет подтягивает к «кишке», немедленно вытаскивают свои телефоны, чтобы сообщить о том, что их подтянули к «кишке». Страшно представить, что будет, когда разрешат пользоваться телефонами в полете.

Хотя как человек, вынужденный часто летать и постоянно этого боящийся, я отчасти разделяю чувства тех, кому не терпится поделиться радостью благополучного приземления, меня просто поражает: похоже, что необходимость немедленно с кем-то связаться растет прямо пропорционально доступности новых устройств, позволяющих это сделать, точно так же, как ввод нового скоростного шоссе ведет к увеличению объема дорожного движения. Вспомните таксистов, свободно болтающих во время поездок по городу, или прямо-таки огромное количество людей, идущих по улице с телефоном у уха: средство передачи сообщения определенно стало самим сообщением, хоть смысл самого сообщения и остается по-прежнему темным. Я все так же впадаю в ступор при виде людей с диспетчерской гарнитурой и маленьким микрофончиком на шнурке, которые, кажется, разговаривают сами с собой (явление, не то чтобы неизвестное на улицах Нью-Йорка). И не заикайтесь даже об эсэмэсках!

Как бы там ни было, общение очевидно превосходит декларируемую им цель. Очевидно также, что сотовый этикет, хоть он и связан с этикетом обычного публичного разговора, где говорящий и его слушатели физически присутствуют в одном месте, все-таки не во всем подобен ему. Если добровольный «слив» своей частной жизни остается самой вопиющей чертой использования мобильников в лифтах и подобных им замкнутых пространствах, то проблема разговоров по сотовому в публичных местах в первую очередь связана с растяжимостью определения размеров личного пространства. В разговоре на людях главный вопрос – одно из двух взаимосвязанных нарушений: или мой разговор слишком громок и мешает общению других людей, или же он нарушает их право наслаждаться тишиной. Последнее более очевидно в театре, чем на улице, но принцип тот же самый.

Идея эластичного пузыря личного суверенитета – ключевая для городской цивилизации. Существует городское право приватности, расширяющееся и на сферу публичного. Злоупотребления им могут проявляться по-разному: мужики, агрессивно раскинувшие ноги в метро, чтобы никто не садился на соседние сиденья; пассажиры в поезде, заставляющие противоположные сиденья своим багажом; потные таксисты; запирающие выезд машины; включенные на полную громкость бумбоксы; курильщики на крыльце, препятствующие входу и выходу. У каждого из нас есть своя любимая «больная мозоль» и свое понимание правил – как и у тех, кто их нарушает, есть понимание, что большинству людей не захочется с ними связываться.

Отработка этих занудных протоколов часто занимает все время, проведенное в лифте, где теснота интенсифицирует социальное поле и заостряет предъявляемые требования к манерам и поведению, которые в более обширных пространствах обычно сглаживаются. С другой стороны, вынужденная близость может также породить в качестве компенсации повышенную вежливость и предупредительность. Я помню случаи, когда я решался вылезти из моей предустановленной скорлупы и поговорить с людьми, с которыми сталкивался (как правило – случайно) в лифте. Одной из моих излюбленных фраз для начала беседы в моем новом «цеху» на Варик-стрит выступало предупреждение, что кнопка «закрыть дверь» срабатывает незамедлительно. (Обычно эта кнопка – не более чем пустышка для успокоения нетерпеливых пассажиров, и дверь закрывается в предназначенное для этого время. Если это происходит вскоре после того, как кнопка была нажата, ну, значит, post hoc ergo propter hoc.[109] Если ожидание затягивается, мы проклинаем

ленивую кнопку.) Меня очень радует возможность поделиться с попутчиками сокровенным знанием о кнопке – и, как правило, их оно тоже радует.

Для того чтобы пользоваться кнопкой «закрыть дверь», однако, нужно соблюдать определенные моральные принципы – как и для того, чтобы пользоваться кнопкой «открыть дверь». Вопрос здесь в том, до какой степени человек, пытающийся поймать отходящий лифт, может злоупотреблять правом тех, кто уже вошел и ждет отправки. Я пользуюсь «правилом ускорения» и нажимаю кнопку «стоп», когда вижу, как кто-то, пересекая лобби, переходит на бег или хотя бы прибавляет шагу, – и не делаю этого, если не замечаю признаков ускорения. В конце концов, это дело того, кто приближается – успеет ли он протянуть руку. Конечно, если кто-то кричит: «Придержите дверь, пожалуйста!» – я чувствую себя обязанным нажать на кнопку. Если успею достаточно быстро среагировать. Порою это просто неловкие театральные символические жесты, когда кто-то умудряется просунуть руку в дверь раньше, чем я успеваю нажать на кнопку. И еще мне кажется, что удерживание дверей заслуживает благодарности, хотя бы кивка.

Мы все обладаем правом не тратить свое время впустую – и это налагает на нас обратное обязательство не тратить впустую чье-то время. «Драма лифта» – это вопрос альтруизма, но те же самые соображения экономии следует применять к другим проявлениям растраты времени – когда нас держат на телефонной линии, заставляют выстраиваться в бессмысленную очередь, когда нас отфутболивают чиновники и т. д. Те же принципы воспроизводятся в пространственном измерении, включающем в себя и время, и движение. Неспешная прогулка по узкому тротуару троих людей в ряд, например, часто вынуждает спешащих пешеходов, оказавшихся сзади, громко прочищать горло и даже говорить «Извините!». Конфликт между правом идти по тротуару в определенной пространственной конфигурации и правом идти с определенной скоростью – обычная почва для общественных отношений. Что здесь важно (и тут я снова вспоминаю об Индии) – переговоры и готовность к ним каждой стороны. Точно так же, как все должны уважать право семьи наслаждаться прогулкой, выстроившись в ряд на тротуаре, так же и сами гуляющие должны думать о тех, кто может оказаться сзади. Цивилизованность в городе часто проявляется в предоставлении этой самой почвы под ногами – и ее размер может быть самым микроскопическим.

Если лифт в доме 145 по Хадсон-стрит навевает фрейдистские мысли, в доме 180 по Варик-стрит они становятся

более павловскими. Мне пришлось выучиться лифтовым фокусам наподобие дрессированной обезьяны. И, добравшись до орешка знаний, я готов щеголять ими при первой возможности. Лифтовые указатели в лобби дома 145 имели форму линейки, в которой номер каждого этажа подсвечивался в отдельной ячейке. Горизонтальное движение подсвеченных номеров на стене перед лифтом вступало понятным и радующим аналогом вертикального движения самого лифта. В доме 180 указатели оказались «цифровыми»: они показывали лишь номер этажа, на котором стоит кабина или мимо которого проходит в данный момент. Но три цифровых окошка дома 180 предоставляли возможность позабавиться, как в игровом автомате. Для входящего в лобби в качестве джекпота выступало тройное L (Lobby) – знак того, что все три лифта стоят прямо здесь. А значит, можно позволить себе роскошь никуда не спешить, не ждать и ехать в гордом одиночестве. Я выучил, что лифты настроены так, что отправляются в последовательности слева направо, и испытывал нездоровое удовлетворение от того, что мог встать перед той дверью, которая сейчас откроется: что-то вроде игры в наперстки.

В другую похожую игру, «лифтовую рулетку», можно сыграть, когда толпа ждет лифтов внизу. Цель игры, как обычно, – прибыть на свой этаж (в моем случае – девятый из семнадцати) как можно с меньшим количеством остановок и как можно в меньшей компании. Когда лифты спускаются, толпа в лобби быстро перетекает к тому, который, похоже, прибудет первым. Это непростое вычисление, поскольку скорость зависит от количества людей, ждущих на разных этажах, и может меняться: тот, который спускается быстрее, бывает, притормаживает, чтобы собрать всех желающих. Трюк в том, чтобы понять последовательность и время прибытия второго и третьего лифтов. Это позволяет немного отпрянуть (коварно внушив остальным, что ты выходишь из игры) – и «сорвать банк», шагнув прямо в открывающийся лифт, и отправиться в гордом одиночестве прямиком на свой этаж, проводив глазами переполненный лифт, стартовавший мгновением раньше. Да здравствует второй номер.

В доме 180 есть еще такой дополнительный нюанс. Здание битком набито архитекторами, и мы все – завистливые и сплетничающие интриганы. Из чего следует, что вокруг полно людей, с которыми я особо не хотел бы встречаться (хотя много и других, которым я охотно продемонстрировал бы свое искусство раннего прибытия или позднего старта – или просто с удовольствием обменялся бы приветствиями). Совместная неволя лифта усугубляет положение. В противоположность улице, позволяющей избежать нежелательной встречи разными

способами: отвести глаза, «не заметить», перейти на противоположную сторону улицы, лифт – это настоящая «камера Кинера», приспособление для выработки условных рефлексов, в котором проверяются границы нашего безразличия.

Район, окружающий мое новое место работы, по-прежнему ищущий свое лицо, – это музей архитектуры огораживания. Первейший экспонат – циклопическое Федеральное здание, Федерал-билдинг, в одном блоке к северу – дом родной для многочисленных государственных учреждений, включая Паспортное агентство, Администрацию по делам ветеранов, Агентство охраны окружающей среды, почту и прочее. По слухам, в числе этого «прочего» – маленький секретный гулаг для арестованных террористов. После одиннадцатого сентября здание обросло целым лесом защитных приспособлений для того, чтобы уберечь его от нападений. Телекамеры наружного наблюдения, смотрящие во все стороны, наборы магнитных рамок, как в аэропорту, рентгеновские камеры и вооруженная охрана перед Паспортным агентством, неисчислимое количество полицейских из каких-то ранее неведомых подразделений, включая белые «крузеры» Полиции национальной безопасности, припаркованные по всему кварталу. А также окольцовывающая баррикада из прочных тумб и внушительных бетонных «клумб» для защиты от автомобилей-смертников, не сулящая, впрочем, никакой защиты пешеходам.

Подобные меры стали повсеместными. Прогулка по району, содержащему немалое количество офисных зданий, большой сортировочный цех UPS и поменьше – FedEx, госучреждения, а также въезд и вентиляционные шахты тоннеля Холланда обнаруживает невероятное количество камер наблюдения, перекрывающих своими углами обзора практически все публичное пространство вокруг. Это не только улицы и тротуары, но и лифты, лобби, коридоры. Трудно сказать, насколько они все связаны в единую сеть, но до какой-то степени, разумеется, связаны. (В Чикаго всеобъемлющая система наблюдения сделана общественной, Лондон тоже насыщен видеорегистраторами, в Шэньчжэне не просто установлены тысячи камер, но все граждане обязаны носить с собой удостоверение личности с GPS-позиционированием.) Этот вопрос выражает самую суть беспокойства каждого свободного гражданина по поводу режима «национальной безопасности». Именно так действует Большой брат. Ежедневно я пользуюсь кредитными картами, банкоматами, стационарным и мобильным телефоном, интернетом – и прохожу десятки и десятки камер. Только во время прогулки в «Старбакс» – а это один блок – я вижу их штук пятнадцать, не

говоря уж про полицейских и охранников всех мастей. Но спокойнее мне от этого не становится.

К востоку от моего здания, в блоке между Варик-стрит (это имя принимает Седьмая авеню к югу от Хаустон-стрит) и Шестой авеню – немалое количество жилых домов, включая фрагменты линейной застройки начала XIX века и разнообразные многоквартирные дома, характерные для западной части Сохо, начинающемся в соседнем блоке. В нескольких блоках на юг – на самой Спринг-стрит и под ней, где зонирование меняется, целая россыпь жилых сооружений, включая последнее, возведенное посмертно творение Филипа Джонсона – уступчатая, невыразительная побрякушка, преподносимая на рынке под именем «Городской стеклянный дом» (Urban Glass House). Это попытка вызывать в памяти образ и общее впечатление знаменитого загородного Стеклянного дома, работы 1949 года, благодаря которой имя Джонсона появилось на архитектурной карте.

Большой стеклянный ящик обрел свои размеры благодаря правам пользования воздушным пространством, полученным от стоящего по соседству маленького домика 1817 года в федеральном стиле. Теперь миллионеры могут любоваться из своих окон видом на вентиляционную шахту тоннеля Холланда через дорогу. Конечно, это может показаться красноречивейшим подтверждением того, что «развитие модернистской концепции роскоши» (так это называют в рекламе) не то чтобы всегда приводит к разумным решениям в дизайне, но здесь присутствует определенный аспект в духе «выживает самый приспособленный». «Городской стеклянный дом» появился там, где Джонсон пытался ранее возвести мультяшное тридцатишестиэтажное «жилое произведение искусства». Затея провалилась, несмотря на все усилия застройщика заручиться согласием местного сообщества пойти на вопиющее изменение схемы зонирования, необходимое для подобной стройки, убеждая местных жителей, что противиться подобному проекту – это просто филистерство.

Проект Джонсона – лишь один из целого ряда подобных зданий, выросших за последние два года на площади всего из нескольких блоков. Чрезвычайно разнясь по качеству, все они роднятся фасадами, почти полностью состоящими из стекла. И в этом есть нечто поражающее еще больше, чем несоответствие каменному контексту, нечто, связанное с потреблением и с паранойей. Изначальный «Стеклянный дом» стал знаковым не в силу своих архитектурных достоинств, а потому, что выступил инструментом самопиара. Это великолепный рекламный трюк: дом сделал карьеру своему создателю, выставляя на всеобщее

обозрение не только себя, но и его. Подобно Дэвиду Блэйну, подвешенному около Тауэрского моста (или Эйхману в стеклянной будке в Иерусалиме), это архитектурное произведение выполняло свое предназначение именно благодаря тому, что жизнь в нем была устроена «напоказ». Действительно, «Стеклянный дом» сочетал прозрачность коробки Блэйна (простого окошка в его трюке) с защитными свойствами коробки Эйхмана.[110]

Мы все сейчас стали пуганые, и множество новых стеклянных зданий проникнуты этим беспокойством. Как и в башне Джонсона, у всех у них (в большинстве своем смотрящих на запад) окна или запечатаны, или открываются с большим трудом. В эпоху возросшей экологической сознательности, когда перекрестная вентиляция воспринимается как минимальный уровень архитектурного здравого смысла, в этом есть что-то извращенное. Но прекрасно гармонирует с возникшей после одиннадцатого сентября культурой беспокойства и современной феноменологией безопасности. В обстановке, когда СМИ без конца предупреждают об окружающих нас опасностях и настойчиво отождествляют слежку с защитой, подобная стеклянная архитектура очевидно разрешает кажущиеся формально взаимоисключающими требования быть изолированным и выставлять себя напоказ.

Подобная архитектура рассматривает окружающую среду как патогенную и стремится забиться от нее подальше. Стеклянный дом по соседству с вытяжкой тоннеля – точная метафора. Окна не следует открывать из опасения наполнить комнату выхлопными газами (или птичьим гриппом, или зарином). Но все происходящее остается на виду. Раз уж безопасность отождествляется с всеобъемлющей прозрачностью, выставление себя напоказ – средство снижения риска. Повседневная жизнь все больше и больше регулируется и управляется страхом. Поездка в аэропорт вынуждает смириться с пристальной проверкой и досмотром с выворачиванием вещей – такова расплата за безопасность. (Вас еще не прогоняли через один из этих воздушных насосов, вынюхивающих взрывчатку?) Полиция ныне имеет право проверить любую сумку и обыскать любого пассажира метро. Объявления постоянно и повсюду предупреждают нас о необходимости присматриваться к людям, одетым необычно. Результат – город, обернутый в «пленку», специально приспособленный для того, чтобы получать удовольствия от опасности.

Эта эстетика «как бы чего не вышло» стала вездесущей, и это заставляет меня нервничать. Конечно, обязанность архитектора –

уберегать людей от опасностей (и нелегкая история санитарных нормативов и норм безопасности – отметки прогресса на этом пути), но надо же провести границу между осмысленной защитой от имеющихся рисков и потачками самой идее страха.

Хотя мы, кажется, в массе своей разделались с подражательной тревожностью «деконструктивистской» архитектуры, с ее безвкусным прославлением травм и попыткой канализировать подобным образом дух тревожного века, при этом распространенность «террора» как движущей силы архитектуры и урбанизма растет день ото дня. В 2005 году в Музее современного искусства (MoMA) состоялась выставка под названием «Безопасность» (Safe).[111] На ней приводились примеры ассимиляции контртеррористических мер средствами «хорошего» дизайна. В архитектурных журналах описывались высокотехнологичное изгороди, установленные повсюду, чтобы уберечь нас от бомб-грузовиков. Нас увлек безумный страх страха, и мы, как обычно, перестраховываемся не там, где нужно.

Общество может быть оценено по опасностям, на которые оно реагирует, по угрозам, которые оно признает, по целям, которым отдается высший приоритет. Ураган «Катрина» потряс нас не одной лишь своей примитивной жестокостью, но и тем, что он содрал пласты безразличия, столь избирательно наложенные на определенные городские территории. Выпуски новостей, как обычно, запнулись, не желая обнаруживать то, что привыкли затушевывать: ужасающую бедность и расслоение населения, обнажившиеся, когда рухнули плотины. Нам пришлось остановить привычные манипуляции цифрами жителей и долларов и задуматься: почему наш приоритет – тратить дюжины жизней и миллиарды долларов в неделю в Ираке, в то время как наши собственные граждане в столь отчаянном положении и наша инфраструктура столь недостаточна? И еще мы ясно видели, что «наиболее достойные» граждане и городские кварталы оказались как-то уж слишком хорошо снабжены всем необходимым для быстрого восстановления.

Я провел некоторое время на побережье Мексиканского залива в дельте Миссисипи, разрабатывая с моими студентами схему реконструкции. Все мы ждали, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) определит новую «юридическую топографию» и выдвинет подобающую стратегию, позволяющую управляться с опасностью ураганов. Теперь критерии прояснились – и зонирование, разумеется, будет ужесточено, введены новые стандарты строительства, страховую индустрию перетряхнут, в том числе будет пересмотрено на федеральном уровне страхование от наводнений, делающее

оправданным строительство на столь коварных берегах. Как минимум, федеральное правительство должно прекратить субсидирование потенциально опасного поведения и не выступать больше в качестве финансового поручителя хаотичного строительства в этих зыбких почвах.

К сожалению, принятые решение могут только ухудшить положение. Одна из возможных опасностей – что новые правила приведут к резкому повышению классности, возведение «безопасных» высоток вытеснит более податливое жилье: «Класс А» выдержал натиск стихии вполне сносно. В этом случае возможность достойно встретить опасность становится привилегией, а более высокая страховка и платежи по ипотеке, в сочетании с более строгим строительным кодексом, навсегда выдавливают бедняков из этих зон. Провозглашенная опасной, жизнь на побережье окажется удовольствием лишь для тех, кто может позволить себе защиту от стихии (а мы, все остальные, будем продолжать оплачивать инфраструктуру). Побережье Залива, вероятно, станет похожим на мой уголок Манхэттена. Определяющей для него окажется изощренная, гипертрофированная архитектура самозащиты, неприступная эксклюзивность – обитаемые, ураганостойкие высотные произведения искусства.

Другие пути

Дорога от «Аннабель Ли» к дому 180 по Варик-стрит стала ощутимо короче моего прежнего пути на Хадсон-стрит. Она включает в себя новый набор маршрутов, повлекший за собой переконфигурацию социального и физического пространства моего путешествия. Теперь оно почти без вариантов начинается с поворота направо на Уэверли-плейс, знаменующего мою ежедневную встречу с газетчиком. Она воплощается в коротком обмене шутками в момент транзакции, а при остальных встречах в течение дня мы просто машем друг другу руками. Пересмотренная совокупность возможных маршрутов также принесла мне новый набор кафе и магазинов. Китайская сувенирная лавка и кафе с необыкновенно вкусными блинчиками ощутимо сказываются на состоянии моей талии и моего банковского счета.

Время от времени я забираю свое белье из расположенной через дорогу химчистки «Татьяна Клинер», которой владеет пара конгениальных русских. Мы хорошо знакомы, и мне больше не нужно называть свое имя, чтобы его впечатали на компьютере в квитанцию. У хозяина, Якова, колючее чувство юмора. Хотя они въехали в этот блок много лет назад, я по-прежнему испытываю угрызения совести, приходя к ним, потому что из-за них я предал свою прежнюю химчистку – старого доброго Генри, тоже иммигранта (с Тайваня). Некогда он занимал лавку на Уэверли-плейс с другой стороны Шестой авеню, на углу с Гей-стрит. Сейчас здесь расположилось прекрасное, хоть и несколько слишком людное, кафе. Повышение арендной платы вынудило Генри переместиться на несколько блоков дальше, что существенно превосходит дистанцию, которую я готов проходить с тяжелыми тюками в руках. Мы по-прежнему болтаем при встрече, и я слежу за успехами его умной и трудолюбивой дочери – некогда я видел ее делающей уроки за стойкой приемки, а теперь она уже студентка.

В конце блока я сворачиваю налево на Шестую авеню, прохожу мимо большой станции метро «Уэст Форс Стрит» («Западная четвертая улица»), простирающейся на четыре блока и уходящей вглубь на четыре уровня – такое же большое закрытое архитектурное пространство, как и любое другое в Виллидж. Нью-йоркская подземка образовалась в результате консолидации трех подземных сетей (две из которых до сорокового года оставались частными), и эта станция – большой пересадочный узел бывшей «Независимой подземки» (Independent Subway) – первой, вопреки

названию, построенной городом. Современная линия, проходящая под Шестой авеню, заменила свою надземную предшественницу, нависавшую над улицей вплоть до 1938 года. Многие продолжают называть линии метро их бывшими именами. Один из реликтовых следов их раздельного происхождения – тот факт, что габариты вагонов разнятся и они не могут ездить по путям, проложенным изначально для другой системы. По линии бывшей IRT (Interborough Rapid Transit Company), проходящей в одном блоке в сторону, по Седьмой авеню, например, ездят вагоны меньшего размера. До «Уэст Форт Стрит» еще не добралась проводимая в метрополитене реконструкция, и в ее внутреннем пространстве сразу чувствуется плохая вентиляция. Хотя сами поезда к настоящему времени уже снабжены прекрасно работающими кондиционерами. Есть что-то весьма приметное в том, что гигантская часть городской инфраструктуры существует более или менее незаметно для глаз посреди очень разнородной наземной городской ткани.

Подобное сосуществование – одно из проявлений гения застраивающегося города, его способности создавать с ходом времени новые, неожиданные сочетания и конфигурации. Еще оно возбуждает полный спектр вопросов, касающихся разной степени важности сохранения и развития разных элементов городского пейзажа. Это можно пояснить на примере береговой линии Виллидж. Некогда классическое «рабочее побережье» Гудзона, ощерившееся пирсами (включая тот, на котором ждали «Титаник» из его рокового дебютного рейса), оно вот уже более сорока лет не видело ни одного разгружающегося судна. Исчезли и характерные «сухопутные» приметы морского берега: кутерьма грузовиков, поездов и других видов транспорта; огромные склады; портовые грузчики со своими барами, столовками и залами для общих собраний; семьи этих портовых рабочих, обитавшие, как правило, в прибрежных блоках. Еще остается небольшое пятно испанских магазинов и ресторанов, на Четырнадцатой улице, некогда – центре морского сообщения с Латинской Америкой, но в целом эта морская экологическая система полностью исчезла, оставив за собой инфраструктуру остатков.

Многие из них заменены или обрели иное назначение в соответствии с новой муниципальной парадигмой развития береговой линии, претерпевшей с ходом лет решительные изменения. В большинстве американских городов береговые линии долгое время оставались преимущественно промышленными, их использовали для погрузки-разгрузки, логистических операций, под склады, к ним подводили

железнодорожные и автомобильные пути. После Второй мировой войны, однако, пассажирское морское сообщение практически иссякло, уступив место воздушным путешествиям, и городские доки и пирсы, используемые для погрузки, были заброшены – только огромные гудронированные площадки перед ними использовались под контейнеры. Запущенность царила повсюду, но эти обширные свободные площадки особенно подходили для другого вида транспортного сообщения – скоростных шоссе. Множество городов добровольно отре́зали себя от прекраснейших природных ресурсов, загромоздив свои побережья целыми милями этих непроходимых бетонных линий. Лишь относительно недавно многие города осознали свою ошибку, а некоторые, включая Сан-Франциско и Бостон, сняли эти барьеры, освободив береговую линию для иного употребления, не автомобильного.

Вестуэй (Westway), проект масштаба бостонской «Большой Траншеи»[112] – подземное скоростное шоссе с бюджетом более миллиарда долларов на милю (в долларах восьмидесятых), оказался последним действием собственной драмы Нью-Йорка, разворачивавшейся вокруг федеральной автодороги. Его создатели уверяли, что хотели просто посмотреть, чего можно добиться с девяностопроцентным федеральным финансированием. Соответственно, они предлагали подсыпать берег Гудзона от 59-й улицы до Бэттери-парка[113] на ширину внешних кромок пирсов, то есть на восемьсот футов. Этой ширины хватило бы на то, чтобы разбить парк, и с лихвой хватило бы на жилую застройку, так что проект был горячо поддержан застройщиками, строителями и городскими властями. При всей своей исполнимости, этот проект представлял собой последнюю попытку расширить нынешнюю площадь территории Манхэттена по горизонтали, хотя его вертикальному приумножению предстоит еще длиться годами, не говоря уже про ряд существующих предложений по созданию прибрежных территорий в других боро.

Предлагаемая в проекте Вестуэя схема была идиотской: сверхдорогое шоссе по всему Манхэттену для груженых фур – это мгновенное проседание цены на недвижимость вдоль этой магистрали. Та же ошибка, что была заложена в проект Скоростной магистрали Нижнего Манхэттена. Противодействие оказалось яростным и в конечном счете успешным. Многие осознали, что столь значительные инвестиции должны быть направлены вместо этого в разваливающуюся систему городского общественного транспорта, и под давлением конгрессмена Беллы Абцуг – дамы, знаменитой своей неуступчивостью, законодатели разрешили вкладывать средства, предназначенные на развитие

сети федеральных автодорог, в систему городского транспорта. Но смертельным ударом для проекта Вестуэя оказался судебный иск в защиту полосатого окуня, проведенный через все суды активисткой Марси Бенсток. Согласно истцу, реализация проекта нанесет непоправимый вред популяции этой рыбы, которая нерестится между свай пирсов, которые предполагается засыпать. После того как иск был удовлетворен в федеральном суде, мэр Эд Коч, сторонник проекта, говорят, воскликнул в сердцах лучшую фразу во всей этой истории: «Если этим полосатым окуням негде потрахаться, я построю им мотель в Покипси!» Сейчас, после многих лет строительства, небольшой, но очень полезный и прекрасно содержащийся парк (включающий в себя и несколько перестроенных пирсов) разбит напротив проходящей по поверхности земли широкой дороги – примерно той же ширины, что и предполагавшийся Вестуэй, но более похожей на бульвар, чем на скоростное шоссе.

План Вестуэя и преследующее строительство Бэттери-Парк-Сити оказались критически важны для определения, что́ есть сегодня муниципальный стандарт развития 650-мильной прибрежной зоны Нью-Йорка. До того момента, казалось, существовали только две парадигмы, сменяющие друг друга из плана в план. Первый – это парк в духе Олмстеда, такой, как Риверсайд-парк: набор очень хорошо продуманных зеленых пространств, но предусматривающих лишь ограниченный набор «садово-парковых» видов деятельности. Второй – относительно узкое зеленое пространство и променад перед новыми высотками. Проблема не в намеренной показушности обоих этих прототипов; оба можно вписать в местный контекст и возводить с равным успехом. Проблема в ограниченности, в нежелании воспользоваться возможностями, представляемыми как приморским, так и промышленными факторами, и в откровенном преобладаний строительства в этих престижных местах домов для людей с высоким доходом (и особыми привилегиями этих людей в отношении прибрежных парков перед этими домами).

Я уже упоминал об эффекте, произведенном в Виллидж возникновением роскошных высоток вдоль нашего нового «золотого побережья». Я не задаюсь вопросами о неизбежности подобных изменений и не тешу себя иллюзиями, что судоходство и производство когда-нибудь вернутся в Манхэттен в прежнем виде. Менее понятно, на принципиальном уровне, как обращаться с их физическими остатками, что делать с демографическими сдвигами, возникающими в связи с изменением местных экономических единиц и их населения, и как расширить – а не уменьшить – разнообразие прибрежных форм и видов

деятельности. Прибрежная полоса – место особой важности не потому, что завершающая стадия развития городской морфологии все в большей и большей степени распространяется на меньшие площадки: сетка почти заполнена, аргументы в споре «застраивать или сохранять» хорошо артикулированы с обеих сторон, и эпоха массовых сносов в стиле «городской реновации» в основном закончена. Наши большие планы главным образом сосредоточены на остаточных местах (порою довольно обширных, надо признать) – сортировочных железнодорожных станциях, выведенных из употребления отрезках шоссе, заброшенных незастроенных территориях, остающихся промышленных зонах – и на побережьях. И мы абсолютно не задумываемся о рисках, возникающих на больших прибрежных территориях в связи с неизбежным повышением уровня моря.

В конечном счете борьба будет вестись вокруг того, на что обращать внимание в ходе проводимых преобразований и как их осуществлять. Простейший возможный принцип – исходить из того, что там сохранилось на самом деле. Несмотря на многочисленные фантазии на тему того, чтобы вернуть побережью Виллидж его обличье XIX и даже XVIII века, ныне существующие остатки носят гораздо более позднее происхождение, они почти полностью принадлежат XX веку. Это не просто часть исчезнувшей приморской экологической системы. Их история включает и свежие страницы – интенсивное использование гей-сообществом в качестве укромного места сексуального досуга. Группу пирсов уже прибрал к рукам Роланд Бетс, дружок Буша и не последний человек в застройке Нижнего Манхэттена, и преобразовал их в «Пирсы Челси» (Chelsea Piers) – частный элитный спортклуб и досуговый центр. Давно сгладились всякие проявления некогда «крутой» прибрежной культуры: сначала исчезли портовые кабаки для старых моряков и грузчиков, а потом и откровенные «кожаные голубятни», привлекавшие любителей садо-мазо-аксессуаров, и тоже в свою очередь ставшие жертвами джентрификации.

Симптоматичной стала реконструкция инфраструктурного элемента, известного как «Хай-Лайн» (High Line) – железнодорожного виадука, давно заброшенного, шедшего по Вест-Сайду от сортировочного двора Пенн-стейшн, зачастую прямо сквозь здания, и заходившего глубоко в Вест-Виллидж. Годами эта ветка пользовалась особым вниманием защитников исторического наследия, и в конце концов они добились не только ее сохранения, но и превращения в линейный парк, позволяющий людям идти вдоль зеленых насаждений, вознесясь над сутолокой улиц, на расстояние более тридцати блоков.

Отличная идея! Как неизбежно происходит с подобными общественными инфраструктурными проектами, он постепенно преображает окрестности. Так случилось с Централ-парком, Проспект-парком в Бруклине и Риверсайд-парком в Аптауне: все они чрезвычайно прибавили ценности окружающим кварталам. Формальный старт проекта Хай-Лайн привел к всплеску застройки на всем протяжении линии, стимулированном также отчасти переопределением зонирования, призванным поощрить окрестное строительство. Подобно самой Хай-Лайн, многие окружающие дома спроектированы ведущими архитекторами. Неудивительно, что многие из них ориентированы на премиальный сегмент рынка и только подстегнут дальнейшее исчезновение из района остающихся здесь представителей среднего класса и малоимущих жителей.

Драматическая трансформация подобного рода уже постигла зону бывшего мясного рынка на западном конце Четырнадцатой улицы, северной оконечности Виллидж. После высылки Фултонского рыбного рынка этот мясной ряд оставался последним обломком оптовой торговли продуктами питания на Манхэттене. Еще меньше десяти лет назад здесь было полно кривых улочек и низеньких построек, служивших домами для десятков мясников. Здесь же размещался (и симбиотически сосуществовал с местностью) ресторан «Старая Ферма» (Old Homestead), до сих пор существующее легендарное место паломничества истых мясоедов. Улицы кровили, туши, висящие на металлических крюках, стаскивали с грузовиков, стоящих вдоль улиц, и заносили в многочисленные лавки. У заброшенных пирсов выражение «мясной рынок» обретало второй смысл и второе употребление: в вечерние часы здесь трахались и снимали проституток. Но в городе география – это судьба. Территория, расположенная прямо между Челси и Вест-Виллидж, напротив обновленного побережья, в мгновение ока превратилась в клокочущий эпицентр модных ресторанов, бутиков и гостиниц и просто новых зданий, включая немаленький бутик Дианы фон Фюрстенберг.[114] Толстые подметки уступили место высоким каблукам.

Мы с Джоан не так уж редко здесь оказываемся. Многие рестораны хороши, и при многих из них есть кафе, выставившие свои столики прямо на широких тротуарах, создавая живую атмосферу уличной жизни, какой не сыщешь более нигде в городе. Дорожное движение относительно невелико; старые дома и замощенные улицы добавляют к удовольствию от неспешной прогулки дух «благородной старины», а до дома нам всего пятнадцать минут пешком, через самые живописные блоки

Виллидж. Но символизм этот бесплоден. Район, предназначенный для производства, превратился в район, предназначенный для потребления. На меня, как на человека, убежденного, что внутрирайонный баланс между этими видами деятельности жизненно важен для здоровья, характера и автономности города, вид еще одной зоны дорогостоящего времяпровождения нагоняет панику, даже когда я принимаюсь за превосходную бранзино[115] в очаровательном летнем саду восхитительного итальянского ресторанчика.

Шестая авеню, некогда отличавшаяся четко выраженной особостью, а ныне ставшая причудливой смесью мультинациональных франшиз и местных бизнесов, – это еще одно поле боя. Разумеется, Шестая авеню – это не «местная» улица в строгом смысле слова, а чрезвычайно нагруженная (на земле и под землей) ось «север-юг». В этом качестве она разделяет «большой стиль» серийных реинкаранций, свойственный многим манхэттенским авеню: меняется каждые двенадцать блоков или около того, подстраиваясь под квартал, через который проходит, будь то остатки былой прихотливости Виллидж, огромные универмаги конца XIX века на Дамской миле и, наконец, башни Рокфеллер-центра. Наш оживленный отрезок напоминает о том, что Виллидж остается для самых разных людей местом развлечения, а также выступает домом родным для огромного количества студентов – категории населения с временно ограниченными средствами, но неограниченной тягой к развлечениям.

Блоки Шестой авеню у «Аннабель Ли» – это чрезвычайно оживленное место, где сталкиваются интересы самого широкого спектра, от самых узких до самых общих, живой шов между расползающейся пригородной гомогенностью и городским сопротивлением ей. С одной стороны, на улице в большом количестве находятся банки, сетевые аптечные лавки, этнический фастфуд, одежные и обувные магазины известных брендов и представлена прочая интернациональная коммерческая деятельность. С другой – немногочисленным местным магазинам и заведениям удается выживать, несмотря на взвинчивание арендой платы, и при этом даже оставаться полномасштабным бизнесом, как, например, чрезвычайно популярный китайский ресторан, посыльные из которого текут непрерывным потоком круглые сутки. Держатся и несколько дорогих бакалейных лавок – места чрезвычайной важности в этом помешанном на еде городе. Их трансформация – важные метки продолжающейся истории района.

Когда мы сюда переехали, на Шестой авеню было два

легендарных продуктовых магазина. Первый – «Джефферсон маркет», расположенный в очень старом здании на западной стороне авеню. Магазин, как в старые добрые времена, обслуживался приказчиками в длинных белых фартуках и соломенных канотье. Стоя за прилавком в центре зала, они снимали необходимые товары с высоких полок специальными приспособлениями и для того, чтобы выбить чек, пользовались механическим кассовым аппаратом, а не электронным. Очередей там не было; скорее, просто надо было дождаться, пока один из этих людей сам к вам обратится, чтобы пообщаться в доверительной и личной манере. В следующем зале размещался превосходный мясной отдел, со своим собственным набором персонажей. Обычные, ежедневные товары массового потребления, такие, как хлопья или чистящие средства, там тоже продавались, и подобная всеобъемлемость, хоть и не давала острого эротического ощущения эксклюзивности, делала этот магазин еще желаннее.

Через дорогу размещался «Бальдуччис» – долгое время ведомый твердой итальянской рукой «мамы» Бальдуччи и ее мужа. Помещаясь в цокольном этаже большого послевоенного квартирного дома, он не мог похвастаться уютным, как в маленьком городке, «с опилками на полу», характером магазина Джефферсона, но зато превосходил его деликатесами, сыплющимися как из рога изобилия, щедрым выбором сельскохозяйственной продукции и изумительной салумерией – колбасным отделом в центре зала, где были выставлены разнообразные изысканные блюда, приготовленные по старинным «маминым» рецептам и под ее неусыпным наблюдением. Готовые блюда – это просто дар божий для людей, сталкивающихся с отсутствием кулинарных навыков или нехваткой времени (мы относимся к обеим категориям), и, без сомнения, один из культурных узоров района. Несмотря на наличие современных полок, освещения и аппаратуры, это была великолепная среда, немного людная, но не настолько, чтобы нельзя было протолкнуться с корзинкой или небольшой тележкой, и лабиринтообразная, что создавало атмосферу праздника, почти как во время уличной ярмарки. Ничего общего с проходами-магистралями, длинными параллельными рядами полок и свирепой пищеварительной таксономией: сельскохозяйственные товары в дальнем правом углу, а замороженная еда – в миле от них налево, как в больших сетевых супермаркетах. У Бальдуччи правильные товары были разложены в правильном порядке: категоризация прекрасно соответствовала приоритетам и последовательности наших желаний.

Оба магазина сейчас изменили свое оригинальное расположение и конфигурацию. «Джефферсон Маркет» переехал на другую сторону улицы в более просторное, но более заурядное помещение, вместо приказчиков в фартуках там сейчас обычные стойки с кассовыми аппаратами. Возможно, конечно, что традиция просто не устояла, время подобных лавок с приказчиками подошло к концу, и любая попытка воспроизвести их оказалась бы просто Диснейлендом. Атмосфера здесь все еще сердечная, и отдел готовой еды приятно расширился, более полно отражая новейшие тенденции потребления. «Бальдуччис» полностью исчез с лица Шестой авеню. Матриарх и патриарх скончались, и дело было продано иногороднему предпринимателю, который надеялся сделать из магазина национальный бренд.[116] Реинкарнация магазина возникла на Четырнадцатой улице, но это была лишь бледная тень прежнего, да и та недавно закрылась. На месте былого «Бальдуччис» возник другой «качественный» гастроном – «Читарелла», полномасштабное вторжение (с несколькими точками по всему городу) приметного рыбного магазина с Верхнего Вест-Сайда. Качество вполне на уровне, рыба превосходна, но раскладка товара стала слишком рациональной, стеллажи – слишком длинными, чувство личной сопричастности ушло, а с ним пропала и аура.

Но авеню по-прежнему противится смертельной умеренности и аккуратности. Остатки безалаберности на нашем отрезке Шестой обеспечиваются присутствием нескольких чрезвычайно колоритных «аборигенов», выступающих в качестве действенных стражей на пути излишней приглаженности или слишком глобализованной похожести. Первый – это растянувшийся на два блока ряд уличных книжных торговцев, в основном черных бомжей, предлагающих подержанные журналы и книги с выстроенных в линию раскладных столиков. Их право на осуществление подобной торговли без получения лицензии закреплено в местном законе № 33, принятом городским советом в 1982 году. В этом законе со ссылкой на свободу слова оговаривается специальное исключение для уличных торговцев написанными материалами – но со знаменитой оговоркой о «подобающем времени, месте и обстоятельствах».

Тем не менее в 1993 году был принят местный закон № 45. Это произошло после интенсивного лоббирования со стороны ряда администраций РРБ и под влиянием полиции, чье внимание все больше сосредотачивается на преступлениях, сказывающихся на «качестве жизни», – на мелких нарушителях, которое распивают алкоголь или мочатся на улице, слишком громко

включают магнитолы, разрисовывают стены граффити и т. д. Эти, казалось бы, незначительные проступки, согласно знаменитой «теории разбитых окон», сформулированной в 1982 году Джеймсом Уилсоном и Джорджем Келлингом, служат «пограничными» преступлениями, которые, если остаются безнаказанными, влекут за собой более серьезные правонарушения. Чтобы внушить столь желаемое чувство порядка, местный закон № 45 регулировал местоположение и количество книгопродавцев, установил обязательное минимальное расстояние до входов в здания и на станции метро, до перекрестков и автобусных остановок, полностью устранив их с улиц, на которых запрещены другие виды торговли – едой, сувенирами и одеждой. Законодательство также обязывало книгопродавцев располагаться так, чтобы не касаться зданий ни столиками, ни чем-нибудь из своей продукции, а также оставлять прохожим на тротуарах как минимум 12-футовый проход. В Виллидж введение этого правила немедленно уполовинило пространство, на котором могли размещаться продавцы книг и журналов, – та же история, что разыгрывается сейчас в Сохо с уличными художниками.

В своей превосходной книге 1999 года под названием «Тротуар» (Sidewalk) Митчелл Дайниер как этнограф исследует тех самых продавцов с Шестой авеню и описывает, как введение закона № 45 породило конфликт среди них из-за сократившегося количества дозволенных мест (и их неравного качества). Прежняя, неформальная система саморегулирующегося распределения пространства с ее долгосрочными правилами постоянных точек оказалась разрушена. Вместо нее образовалась система «держащих» – людей, которые занимали то или иное место всю ночь, а наутро взимали с продавцов плату, чтобы пустить их. Полиции без конца приходилось приезжать разбираться с этими спорами, которые часто становились весьма яростными. Сама полиция, со своей стороны, установила четкие границы, порой – напыляя из баллончика линии на тротуаре и часто конфискуя товар, оказавшийся за этими линиями. Хотя местный РРБ, возникший уже после принятия закона № 45, тоже внес свою лепту в ущемление торговцев своими бригадами уборщиков, а также высаженными деревьями и уличной фурнитурой, отъедающими пространство тротуаров, ситуация в целом стабилизировалась, и на территории преобладает сложившийся костяк торговцев.

Второй страж на пути тотального «Мак-Мира» – это регулярное присутствие нескольких политических активистов, попрошаек и борцов за права бездомных, раздающих брошюрки и

собирающих пожертвования с постоянных точек вдоль тротуара. Западный конец Восьмой улицы был вотчиной борцов с порнографией и вивисекцией, потрясавших леденящими кровь изображениями замученных жертв, животных и человеческих. Эти специфические столы на какое-то время исчезли, но один перекресток продолжает оставаться в руках борцов за права бездомных, установивших там большой пластиковый бидон от офисной «поилки» для сбора пожертвований. Как и попрошаек, расположившихся дальше в этом же блоке, их привлекает возможность сыграть на тонких переживаниях нежных покупателей, выходящих из «Джефферсон Маркета» и «Читареллы». Наш внутренний монолог пробегает при этом по всему диапазону: «иди работай», «только официальная благотворительность законна», «у меня правда руки заняты этими тяжеленными сумками», «вчера подавал» – и весь прочий репертуар зыбких, но приемлемых отговорок. У Джоан есть один попрошайка, к которому она особенно щедра, а я регулярно ссужаю Дейла двадцаткой.

Третья из этих слаженно действующих сил – крикливый ряд секс-шопов и тату-салонов, сгрудившихся на западной стороне авеню в нескольких блоках вниз. У части местных жителей они вызывают возмущение, другая часть восхищается ими и заботится, и они тоже подлежат регулированию. Например, секс-шопы запрещено открывать возле школ. И хотя меня лично приводит в недоумение невероятная популярность татуировок в наши дни, я готов признать: да, это средство художественного выражения и самовыражения. И точно так же, хотя я соглашаюсь со множеством аргументов касательно отупляющего, насильственного, обесчеловечивающего характера современной порнографии, я не хочу возвращаться в шестидесятые и оспаривать право других людей выбирать себе удовольствия по вкусу – и не хочу, чтобы историческому характеру Виллидж как места сексуальной свободы и сексуальных экспериментов что-то угрожало. Что я не совсем понимаю – почему этот конкретный ряд магазинов должен выглядеть как уменьшенная копия Таймс-сквер в былые дни, с ее ослепляющими флуоресцентными огнями и кричащими указателями. Впрочем, учитывая, что сама Таймс-сквер в основном очистилась от этих балаганов (отчего многие из них сюда и переехали), возможно, такое распределенное решение, в рамках которого каждый район содержит свою миниатюрную версию Сорок второй, – лучшее решение.[117]

Тройственная конфигурация торговых сетей, местных магазинов и «особых» видов деятельности работает весьма эффективно. Подобная комбинация определенно помогает

пригасить лоск, в котором тонут многие окрестные аутлеты. Несмотря на переизбыток лавок дешевой снеди, точек продажи мобильников, сетевых аптечных киосков, это не молл, в котором отсекается нежелательный ассортимент, запрещена свобода слова и содержимое ориентировано на всех подряд. Взаимодействие данного пространства с осуществляемыми на нем маргинальными видами деятельности можно рассматривать как механизм психологической адаптации, при котором ток мощного городского антигена направляется к месту проявления злокачественного мультинационализма. И на сей раз снова негибкий пространственный характер квартала с выраженной тенденцией к охране исторического наследия выступает гарантией того, что восходящая спираль гигантомании, столь свойственная пригородной торговле, оказывается остановлена. Исторический город плохо подходит для ее раскрутки, и это оказывается бастионом для защиты местного разнообразия и местного предпринимателя.

Как-то раз, не так давно, возвращаясь домой, я заметил толпу, образовавшуюся у входа в метро на углу Шестой авеню и Уэверли-стрит. Поскольку этот вход врезан в стену углового здания, перед ним образуется большая площадка, накрытая сводом. Это создает удобное место встречи, используемое работниками городского транспорта для пересменок, полицейскими для «сверки часов» и просто для болтовни, простыми людьми для назначения свиданий, а также – пока это не было жестоко пресечено властями – бездомными для ночлега. Это незапланированное, но важное городское пространство, возникшее по архитектурному недосмотру.

Из-за стены спин этой толпы я услышал, что там играют Моцарта на струнных, и играют хорошо. Пробравшись внутрь толпы, я убедился, что исполнители (на скрипке, альте и виолончели) – дети, причем старшему из них, скрипачу, на вид казалось не больше двенадцати. Толпа собралась огромная и очень пестрая, местных жителей Виллидж здесь было столько же, сколько и тех, кто собирался войти на «Уэст-Форс-Стрит». Перед музыкантами стоял открытый чехол, наполненный деньгами, в основном по несколько согнутых вместе купюр. Дети продолжали играть буквально под градом долларовых бумажек, прилетающих как от хорошо одетых слушателей, так и от тех, кто не мог этим похвастаться, включая, как я обратил внимание, и нескольких ребят, продающих старые журналы со столиков. Насколько я понимаю, живут эти ребята не очень богато (если только я сильно недооцениваю рынок прошлогодних «Вэнити Фейр», «Надджет» и

«Нэшнл Джиографик») – и то, что они подавали, дорогого стоило.

Возможно, причиной столь пристального и доброжелательного внимания стало то, что юные музыканты (чей отец стоял рядом, внимательно следя за своим талантливым потомством и одаривая толпу флаерами с информацией о возможности пригласить трио для частных выступлений) были черными. Спору нет, ребята были очень одарены музыкально, но за пределами музыки казались до странного безучастными. Глаза их оставались пустыми, даже когда слушатели аплодировали и криками выражали свое одобрение. Я гадал, являются ли они жертвами сурового отца, заставляющего их заниматься слишком усердно и играть на своих инструментах в то время, как им хочется поиграть во что-то еще, или же малыши просто пугаются толпы. Но вынося это за скобки, можно сказать, что они представляли собой ту «самоподтверждающуюся фантазию» (афроамерикаские дети играют Моцарта), что более или менее описывает либерализм «нашего» Виллидж.

Увы: желание добиться терпимости и разнообразия – это не то же самое, что сами эти прекрасные вещи. Хотя толпа на Шестой авеню была чрезвычайно смешанной – наши уличные зрелища очень разнообразны, а наша отзывчивость восхищает, – она не представляет наше местное население, доля афроамериканцев в котором очень низка (и была таковой уже во времена Джейн Джейкобс) и становится еще меньше по мере того, как цены становятся еще выше. Перед нами снова проблема Диснейленда. Конечно, лучше, когда есть такая шумная, пестрая улица, чем когда ее нет, лучше, когда есть уличные книгопродавцы, есть асфальтовая баскетбольная площадка на Западной Четвертой улице, куда собираются толпы зрителей, чтобы посмотреть на любительские встречи команд, состоящих почти исключительно из афроамериканцев, приехавших исключительно из других частей города (и играющих исключительно хорошо). В НБА тоже преобладают чернокожие американцы, и никто не задумывается, как это соотносится с местом расположения Мэдисон-сквер-гарден – понятно, что профессиональный спорт – это не занятие районного масштаба. Так что наличие собственного мини-стадиона – это плюс Виллидж.

Терпимость Виллидж – и аутентичная, и искусственная, в значительной мере не поддерживаемая разнообразностью жителей и экономических отношений. Мы играем свою роль посредством как свободного выбора, так и по принуждению, подобно жителям Чайна-тауна, не так далеко отсюда. Повторяю: это место возможностей, выбора, и в то же время что-то сродни

тюремному заключению, та же битва по поводу пределов аутентичности, по поводу того, до какой степени необходимо поддерживать и сохранять клубок экосистем, из взаимодействия которых и вырастает сообщество. Этнические анклавы давно уже существуют в американских городах, и не найдется такого города достаточного размера, в котором не нашлось бы своего Чайна-тауна. Наш собственный, обзаведясь близнецом, даже большего размера, в Флашинге (Куинс), продолжает подпитываться непрекращающейся иммиграцией, оставаясь начальной точкой американской жизни и домом для десятков тысяч вновь прибывших, большей частью – нелегально. Им Чайна-таун предлагает защиту, привычную культурную среду, возможности для роста. В основном они немедленно отбывают отсюда в архипелаг китайских ресторанов и других китайских бизнесов по всей стране – и здесь располагается немало специализирующихся на этом контор по трудоустройству.

Но нелегалов зачастую жестоко эксплуатируют, селят в переполненных, темных комнатушках, не изменившихся со времен фотографий Якоба Рииса, и принуждают работать на потогонных фабриках, достойных наследницах «Фабрики блузок». [118] Многих из них обирают до нитки контрабандисты, которым они доверили свои жизни, перебираясь в страну возможностей в контейнерах. И кто-то еще хочет исчезновения Чайна-тауна? Оно нам надо, чтобы официантами и поварами в китайских ресторанчиках, во всех этих бесчисленных «Дим-Самах» были начинающие актеры из Теннесси или Юты? И что мы будем делать без этого богатого и полного энергии фрагмента иной жизни, поместившегося посреди наших городов?

Ответы на эти вопросы очевидны. Сложнее ответить на вопрос, должны ли мы – включая тех, кто ищет нору на Манхэттене, – одобрять китайских риелторов, работающих исключительно с китайцами, или, с другой стороны, придутся ли нам по вкусу районы, похожие на невзаправдашние «кварталы» Диснейленда, – все эти «Города будущего», «Городки на Диком Западе», «Главные улицы», фальшивые репрезентации вымышленных экосистем, в сущности – ресторанные дворики, но с претензиями на нечто большее. Очевидно, станет трагедией, если в городах по всему миру, разнообразие которых только нарастет, идея местной гомогенности будет вытесняться перекомбинированной сверхгомогенностью, при которой демографический и культурный характер окажется повсюду один и тот же. Эта искрометная диалектика равенства и разнообразия наглядно показывает: как же это трудно – подобрать форму хорошего города.

Esprit d'Escalier [119]

Сочинение этой маленькой книжки всегда шло рывками. Начатая более дюжины лет назад, она описывала прогулку, которая по прошествии лет, дней, часов менялась циклически и эпициклически. Столь длительный срок сделал возможным включение значительных событий в малозначительную ежедневную рутину лишь намеками. Хотя я не могу отрицать, что одиннадцатое сентября действительно имело место, что оно изменило ход моей жизни и мое чувство повседневного, в моем маршруте оно оказалось отражено лишь косвенно. Башни не возвышаются больше в небе Даунтауна. Все усложняющийся аппарат национальной безопасности развертывается повсеместно. Но улицы давно вернулись в нормальное состояние, а городское планирование и строительство ведутся как обычно. Интернациализация личности идет, несмотря ни на что, миры арендной платы, круассанов и бездомных функционируют привычным образом. Это вдохновляет и удручает в равной степени.

В «Анабель Ли» тоже кое-что изменилось. Карл съехал, его квартиру стали подновлять – как и фасад дома. И те и другие работы ведутся в привычной спорадической манере. Фасадные работы приостановлены «до тепла», а ремонт по соседству просто непредсказуем. Но когда я пишу эти строки, холл заполнен алюминиевыми оконными рамами, предназначенными для всех квартир дома. Как давно я ждал этого дня! Герметичные рамы! Никаких больше ковровых дорожек пыли на подоконниках! Окажутся ли эти окна развинчивающимися, чтобы их можно было мыть? Большинство из нас, старых жильцов дома, слишком измучены ожиданием, чтобы радоваться этому всплеску активности, возникшему, похоже, после целой вереницы штрафов за выявленные нарушения жилищного кодекса и, разумеется, ввиду законной возможности увеличения квартирной платы после ремонта.

После того как рынок недвижимости достиг своего апогея, буквально весь блок покрылся строительными лесами, и одно здание за другим подпадает под ремонт. Некоторые дома, некогда семейные, а потом разделенные на квартиры, снова переделывают под частное жилье. В них появляются бассейны и изумительная отделка. Обновление Вашингтон-сквер тоже идет своим чередом. С западной половины сняли забор, там работают строительные бригады. Идиотический план передвинуть фонтан на осевую линию арки реализуется, соответствуя общему росту

интереса к старомодному ордерному стилю. Симметрия и камеры наблюдения – вот характерные черты имперского города XXI века.

Переезд на Варик-стрит заставил меня осваивать новый набор улиц и ассимилироваться в новом квартале. Недавно я, будто некий «привилегированный акционер», получил опросный лист от администрации зарождающегося здесь РРБ. Меня попросили высказать свое мнение касательно изменений, которые кажутся мне необходимыми или желательными. К сожалению, опросник ограничивал мои возможности. Их интересовало, открытие каких ресторанов кажется мне наиважнейшим – для завтраков, для рабочих обедов или для ужинов, но отсутствовала строка, в которой я мог бы пометить желательность наличия доступного жилья (или офисных помещений). Я не чувствую жгучую потребность в совместном продвижении бизнесов или раскрутке местной «идентичности». И чем больше риелторы бьются над тем, чтобы правильно позиционировать «Хадсон-сквер» в линейке городских продуктов, тем ярче горят на стене огненные письмена: район дрейфует из одного царства в другое. И несмотря на дымовую завесу слов о «первом экономически диверсифицированном и экологически самодостаточном городском квартале», администрацию РРБ, похоже, в основном интересуют обычная уличная дисциплина и внимание «ритейлеров премиум-класса».

Чрезвычайно полно воплощенный пример такой самодостаточной застройки для людей с разным уровнем дохода, который следовало бы держать в голове администрации формирующегося РРБ при составлении списка желательных типов недвижимости, – это объект, возводящийся в двух блоках южнее (хоть работы сейчас и приостановлены из-за гибели строителя и вскрывшихся вслед многочисленных нарушений). Речь идет о «Трамп Сохо» – сорокапятиэтажном «отеле-кондоминиуме», содержащем четыре сотни апартаментов площадью от 425 до 10 000 квадратных футов, по три тысячи долларов за фут, и, как говорят, распродающихся чрезвычайно бойко. Здание, уже подведенное под крышу, намного превосходит по высоте все окрестные дома, имеющие от шести до пятнадцати этажей. С архитектурной точки зрения этот проект, как и все проекты Трампа, совершенно невыразителен, еще одна стеклянная коробка. Но благодаря своему размеру он причудливым образом придает всему кварталу иной масштаб, решительно коверкая виды невысоких крыш, зрительно растягивающих Даунтаун, эффектно «взрывающийся» знаменитым силуэтом нижнего Манхэттена. «Трамп Сохо» – это порез в небе, настоящий вандализм с точки зрения урбанистики.

Горячая полемика вокруг здания, однако, касалась его вызывающего размера. Назначение его – другое дело; Трамп применил двунаправленную стратегию «отель – кондоминиум» к зданию со структурой жилого дома, возведенному в районе, зонированном для производства, одной из последних подобных зон в Нижнем Манхэттене. Хотя категория зонирования не допускает возведения жилых домов, оно допускает строительство обычных гостиниц, описанных в кодексе зонирования как «сооружения, структурные единицы которого сдаются подневно» и используются «преимущественно для временного проживания». «Кондо-отель» – относительно новый продукт, выведенный на нью-йоркский рынок недвижимости в последние несколько лет и, вплоть до сегодняшнего дня, лишь на территориях с жилищным зонированием. Понятно, впрочем, что кодекс писался довольно давно, и никто из его разработчиков не мог себе представить столь своеобразную трактовку идеи «временного проживания».

В связи с отсутствием четкой спецификации и очевидно прецедентном характере проекта, необходимо было прояснить его природу, чтобы выработать стандарт, какое проживание считать «временным». Согласно сделке, заключенной между Трампом и городскими властями (в виде «ограничивающей декларации», описываемой сейчас как «добровольная»), хотя башня состоит из структурных единиц, несомненно являющихся квартирами – с кухнями, ванными комнатами, спальнями и всем остальным, индивидуальным владельцам разрешается занимать свои собственные апартаменты максимум 120 дней в году и не более чем 29 из каждых 36 идущих подряд дней. Закон не обязывает сдавать «гостиничные» на время отсутствия основного съемщика, хотя, конечно, финансовое искушение поступать именно так будет сильно.

Несмотря на потоки критики со стороны групп активистов (устроивших недавно демонстрацию на стройплощадке), а также несмотря на обнаруженное во время рытья котлована кладбище при ранней аболиционистской церкви, занимавшей некогда участок, проект реализуется с головокружительной скоростью. Недавно, хоть и с заметным опозданием, ассоциация местных сообществ объявила о судебном иске против городских властей, выдавших разрешение на подобный проект, и город вызывался отвечать в суде, что, в свою очередь, вызвало новый шквал критики – с какой это стати тратить деньги налогоплательщиков на адвокатов ради спасения проекта Трампа?

Вне всяких сомнений, иск будет сосредоточен как на неуместности самого здания (что, впрочем, окажется непросто, потому что благодаря лазейке в законе технически оно выстроено

«в силу неотъемлемого права»), так и, что может оказаться более продуктивно, на утверждении Трампа, что это на самом деле гостиница. Здесь возникает вопрос, может ли то, что ходит, летает и крякает, как утка (причем в данном случае домашняя утка), являться каким-то другим животным. Сам Трамп рекламировал жилые единицы в комплексе как «жилье» (эта реклама, явно переходящая границы, была немедленно замечена противниками, обличена и убрана со всех площадок), так что юридическая баталия развернется вокруг семантических тонкостей эпитета «временный». Спору нет, узкая группа сильных мира сего, способных вложиться в столь дорогую недвижимость, – класс чрезвычайно временный, но это определенно не то, что имели в виду разработчики кодекса зонирования, разделяя пансионы, то есть «гостиницы для жилья» (что запрещено), и собственно гостиницы – «гостиницы для временного проживания» (что разрешено).

Возникает очевидный вопрос: а почему бы Трампу и его партнерам просто не построить на этом месте обыкновенный отель? Согласно Джулиусу Шварцу, исполнительному вице-президенту «Бейрок групп» (которая изначально «бронировала» это место на пару с «Сапир Оганизейшн», прежде чем они решили ввести в дело Трампа – и его неповторимый бренд) и управляющему партнеру проекта, «это финансовый механизм», задуманный как защитный барьер против возможного переизбытка гостиниц. «Его можно смоделировать на десять лет. Сейчас гостиниц не хватает. Люди бросаются строить гостиницы, и тарифы неизбежно опускаются. Гостиничные номера всегда в цене, но на цены порядка 1200 долларов за ночь рассчитывать уже не приходится, даже в таких суперэлитных отелях, как этот, поэтому инвестора приходится убеждать в оправданности проекта. И это самое главное – иначе дело не выгорит».

Вероятно, из этого последует, что судебное дело сосредоточится на намерениях Трампа, на исполнимости его «добровольного» согласия ограничивать число дней, которое его жильцы-воротилы смогут проводить в здании. Он что, действительно собирается посылать консьержа, чтобы тот на тридцатую ночь выкинул жильца из его десятимиллионных хором? С другой стороны, очень трудно себе представить, что городской Департамент строительства, на чьи плечи ложится ответственность за исполнение данного решения, располагает ресурсами и желанием мониторить четыре сотни апартаментов изо дня в день, чтобы точно знать, кто там за закрытой дверью. Возможности для жульничества и злоупотреблений открываются практически безграничные, так что единственный настоящий

вопрос – действительно ли городские власти верили в исполнимость подобного соглашения, или же просто молча приняли ситуацию, осознавая ее заведомую абсурдность.

Судьба судебного дела неясна, и данный конкретный проект кажется довольно рисковым. Но отчасти тяжба была возбуждена для того, чтобы принудить город закрыть лазейку в кодексе зонирования, сделавшую возведение башни возможным. Цель судебного иска – обезглавить «троянских коней», которые могут появиться в других промышленных зонах по всему Манхэттену, включая обрубки Челси, Виллидж, Трайбеки, Сохо и Гармент-дистрикт («Швейного квартала»). К сожалению, Департамент городского планирования и виду не подает, что кодекс необходимо срочно пересмотреть. Большие дома за большие деньги – вот что у него на повестке дня муниципальной застройки, а стройка примыкает к одному из самых дорогих районов жилищного строительства в городе.[120]

Казус «Трамп Сохо» выходит за рамки того единичного факта, что очередной застройщик нашел очередной способ истолковать кодекс зонирования в свою пользу. Дело в городских представлениях о смешанном использовании и смешении людей. Определенно, возмущение было бы не таким сильным, если бы на этом месте, стоящем пустым, возвели двенадцатиэтажный жилой дом для семей с умеренным доходом или детский сад. Многие из нас по-прежнему имеют идеализированное представление о полнокровной урбанистике, в которой находится место и производству, и другим промышленным видам деятельности, хотя национальная экономика и логика местного рынка недвижимости не поддерживают такой подход. Но категория производства (как и ширящееся сопротивление захлестнувшей город приливной волне роскошных жилых домов и офисов класса А) включает в себя в неявном виде идею рабочего класса и отражает беспокойство по поводу растущей одноцветности города, пусть и глянцевой.

Как и вся страна в целом, Нью-Йорк страдает от нехватки внятной политики в отношении индустрии, и башня «Трамп Сохо», подобно соседнему кварталу, у которого она позаимствовала название, являет собой пример трансформации «обветшалого» индустриального района в нечто, более отвечающее текущим запросам рынка. Эта трансформация воспроизводит, в масштабе города, глобальное явление, род пространственной сегрегации, или зонирования, в континентальном масштабе: индустриальными районами Нью-Йорка стали Китай и Мексика. На местном уровне приходится жертвовать не только контингентом «синих воротничков», но и

сущностной идеей того, из чего состоит сам город, идеей, включающей в себя самодостаточность и разнообразие. Одна из вещей, делающих город великим, – созерцание справедливости, чувство «права города», сочетающего доступ к городским местам и городским возможностям. Мы полагаемся на публичное пространство и публичную политику, чтобы установить рамки для этой свободы.

Слоган, сверкающий над тентом, закрывающим новый проект Трампа, выглядит исчерпывающе: «Возьми свой собственный Сохо». Трамп и его гостиница, во всей своей вульгарной одержимости «элитностью», – прекрасный символ урбанизма чистого извлечения прибыли, мало интересующегося чем-либо, выходящим за пределы «сухого остатка». Город становится территорией простого стяжательства, гражданской отстраненности, подразумеваемой стилем жизни тех, кто может себе позволить приобрести многомиллионные апартаменты лишь для того, чтобы проводить в них не больше месяца. Для них возможность «взять», само обладание заменяет сопричастность в качестве основного мотива пребывания в городе, и приоритет подобной установки – это все бóльшая проблема. Они пришли, чтобы тратить, и неудивительно, что городские власти так часто не могут устоять перед соблазном нажиться на этой растущей пене.

Сезонная буря застройки, подтверждением которой выступает гостиница Трампа, спешное создание нашей собственной «особой экономической зоны» и строительная лихорадка, несомненно, будут иметь множественные последствия. Одно из них состоит в том, что Дейл, мой бездомный приятель, окажется вытеснен за пределы района. Благодаря относительно большому числу пустующих зданий, парковок, крытых тротуаров и подобных укромных уголков, Дейл, перебравшийся из Трайбеки почти одновременно со мной, сумел подобрать себе места, где спать, где хранить и где продавать свои книги. Ритейлеры «высшей категории» и охрана в униформе, которая непременно появится вместе с РРБ, определенно подведут черту под комфортным пребыванием Дейла и ему подобных на здешних улицах, хотя он может с горя воспользоваться комнатой в скромной гостиничке – чему он отчаянно сопротивляется, не желая поступаться независимостью.

То, что Дейл нашел эту территорию подходящей для себя, говорит о наборе возможностей, которые я тоже ценю (вынося за скобки совершенно отвлеченную идею равенства между нами – хотя можно усмотреть некоторую справедливость в том, что улица оказывается одновременно и достаточно безопасной для

меня, и достаточно безлюдной, чтобы давать приют бездомному). Это квартал, обладающий тихими, тенистыми местами, такими местами, в которых можно, хоть ненадолго, побыть одному. Отчасти такую возможность предоставляют пустующие здания, отчасти – места специфического назначения, такие, как огромный склад и гараж службы UPS, охваченные спазмами лихорадочной деятельности лишь в начале и конце рабочего дня. Бездомность рассматривается обществом как преступление, и люди вроде Дейла знаменуют собой пространство одновременно подавления и свободы. Подобно тому как либертарианцы защищают право на «речи, возбуждающие ненависть» – отвратительные сами по себе, но являющиеся составной частью широко толкуемых ими прав личности, право жить на улице (как и трахаться на причале или плестись на велосипеде в потоке машин) сохраняет возможность для тысяч разных занятий и моделей поведения, известных и совершенно неожиданных. Хороший город полнится, физически и психически, полезными маргиналиями, в нем нет ничего незначительного.

Но вернемся к «Аннабель Ли». Домохозяин только что закончил менять окна в наших квартирах. Джоан при этом присутствовала, и появившийся Лу, с гордостью глядя на завершение работ, проинформировал ее, во сколько ему это встало. «По одиннадцать сотен – каждое окно!» – объявил он. Это типичные нью-йоркские окна: зеленые алюминиевые рамы, двойные стекла. Легко открываются и чисты до невидимости. Избавление от древних рам (до наружных частей которых невозможно добраться, и поэтому их не мыли целое столетие) придало нашим обзорам необыкновенную живость, и их прозрачность нас обоих восхитила и заставила вспомнить, что, пожалуй, пора задуматься о занавесках (типа ванных, разумеется).

Наутро, наклеив записочку для посыльного FedEx, не сумевшего доставить мне два пакета, потому что дверной звонок, как обычно, не работал, я отправился в полуподвал поблагодарить хозяина за новые окна. Сначала мне попался его помощник Джим. Выслушав мои благодарности, он поинтересовался, неужели я спустился вниз специально для того, чтобы это сказать, и когда я ответил утвердительно, поблагодарил меня за это. Затем я дошел до Лу. Он, как обычно, висел на телефоне и, не обращая на меня внимания, продолжал говорить. Когда он наконец закончил, я поблагодарил его, воздал должное рабочим, восхитился окнами. Он заверил меня, что расходы будет возмещены за наш счет, включая пятидесятидолларовые тюбики замазки. Не углубляясь в эту тему,

я распрощался и ретировался.

За наружной дверью мне повстречалась Роуз. Я снова выразил полное удовольствие от новых окон.

«Вы заплатите, вы заплатите!» – ответила она.

И я отправился в Даунтаун.

Благодарности

Отдельные части этой книги появлялись в газете «Виллидж Войс» и журнале «Аркитектурэл рекорд», и я благодарен им за предоставленную возможность держать столь долгую речь. Особая благодарность – трем прекрасным друзьям, читавшим и комментировавшим рукопись. Это Кристин Бойер, Невин Шрайнер и Майк Уоллес. Несмотря на то что я всегда приходил к ним в последнюю минуту, они разгребали свои письменные столы и оставляли мне свои острые и щедрые комментарии. Разумеется, за все ошибки и недочеты несу ответственность я лично. Наконец, спасибо Вивьен Константинопулос из издательства «Риэкшн», которая делала хорошие предложения и вынесла при этом больше, чем мог бы вынести любой редактор столь небольшой книги.

Некоторые имена и названия в книге изменены в целях безопасности автора.

Об авторе

Майкл Соркин (р. 1948) – архитектор и городской планировщик, автор и редактор множества книг. В их числе – «Всё на карте» (All over the map), «Напротив стены» (Against the wall), «Вариации на тему тематического парка» (Variations on a Theme Park) и «Изысканный труп» (Exquisite Corpse). Живет в Нью-Йорке.

notes

Примечания

1

«Псевдоним», под которым автор прячет подлинное название своего дома, совпадает с именем героини одного из самых известных и лиричных стихотворений Эдгара Алана По (здесь и далее – прим. переводчика).

2

Федерал-холл (зал Федерации) – общественное здание на Уолл-стрит, некогда – место работы первого конгресса США. Ныне существующее здание возведено в 1842 году в античном стиле.

3

Небоскреб Вулворт и Крайслер-билдинг – один из первых небоскребов 1910-х и первый супернебоскреб 1930-х, оба – в стиле ар-деко.

4

Музей Гуггенхайма на Пятой авеню в Нью-Йорке устроен внутри как широкий винтообразный пандус, поднимающийся по всей высоте цилиндрического здания.

5

Мы оставляем вслед за автором слово «блок» в значении «квартал», потому что манхэттенский городской блок, четко ограниченный продольными авеню и поперечными улицами (стрит), имеет резко очерченные геометрические границы, действительно напоминая строительный блок или кирпич.

6

По названию книги Роберта Патнема Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (2000).

7

Pueblos – многоэтажные «домамуравейники», возводимые индейскими народами, проживающими между реками Рио-Гранде и Колорадо.

8

Бессемеровская сталь, бессемеровский процесс – относительно быстрый и дешевый процесс конвертирования чугуна в сталь, предложенный английским инженером Генри Бессемером в 1856 году.

9

Образ из стихотворения Уильяма Блейка «Иерусалим» в переводе С. Маршака.

Манхэттен, Бруклин, Бронкс, Куинс, Стейтен-Айленд.

11

Речь идет о работе Фридриха Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» (1845).

12

Огастес Пьюджин (1812–1852) – британский архитектор и теоретик архитектуры, мастер неоготики, создатель часовой башни Вестминстерского дворца (Биг-Бена).

13

Устоявшееся русское название; более точно – «Как живет другая половина» («How the Other Half Lives»)

Частично отраженных в фильме «Банды Нью-Йорка».

15

Почти 4 тыс. на гектар.

16

Infra (*лат.*) – низко, внизу.

17

И Хадсон-стрит, и упоминающаяся далее площадь Хадсон-сквер получили свои названия в честь соседней реки, омывающей Манхэттен с запада (получившей, в свою очередь, название в честь английского капитана рубежа XVI–XVII веков), за которой, однако, в русской географии и литературе закрепилось имя «Гудзон».

18

Роберт Мозес (1888–1981), один из сквозных, как и сама Джейкобс, персонажей книги, – нью-йоркский городской планировщик, создатель гигантских мостов, автомобильных развязок и офисных центров, включая комплекс ООН. Его называли «нью-йоркским бароном Османом» и упрекали за то, что он «любит автомобили больше людей».

19

Перевод Леонида Мотылева.

20

Речь идет о знаковом деле «Браун против Совета по образованию», положившем конец расовой сегрегации в школе. Аргументация сторонников сегрегации сводилась к слогану «Разделены, но равны», то есть школьники хоть и разделены, но получают образование одинакового качества, и, таким образом, их права не нарушаются.

21

Около 10 м^2.

22

Роберта Брук Астор (1902–2007) – дочь командующего морской пехотой США, внучка контрадмирала, третья жена и вдова Винсента Астора (1891–1959), распорядительница благотворительного фонда его имени.

23

Отказ банков давать займы под залог недвижимости в определенных районах (изначально обводимых на картах красной чертой). Законодательно запрещена в США.

24

Мейбл Додж Лохан (1879–1962) – покровительница искусств, открывшая в 1910-е годы в своем доме в Гринвич-Виллидж салон для художников.

25

Луис Генри Салливан (1856–1924) – американский архитектор, разработавший концепцию высотного офисного строительства и считающийся поэтому «отцом небоскреба».

26

Леона Хелмсли (1920–2007) была знаменита жестким стилем ведения успешного гостиничного и девелоперского бизнеса, отличалась крайней скупостью, а в 1980-е годы стала «героиней» громкого процесса о неуплате налогов. В частности, заявляла своим сотрудникам (которые потом давали против нее показания), что «налоги платят одни лохи».

27

Речь идет о «Гипотезе Геи» – согласно которой Земля (как и любая планета) представляет собой сверхорганизм со своими системами саморегуляции. Техногенное же воздействие привело к всемирному потеплению и т. д.

28

Перевод А. Гутермана.

29

В узком смысле слова пентахаус – домик, сооруженный на плоской крыше небоскреба и полностью от него отделенный (за исключением подключенных коммуникаций).

30

Ле Корбюзье.

31

Возведены между Чарльз-стрит и Перри-стрит в 1999–2004 годах.

32

Плотно застроенные высотными домами береговые линии в Нью-Йорке (Верхний Вест-Сайд, в нескольких километрах к северу от Гринвич-Виллидж), Чикаго и Рио-де-Жанейро соответственно.

33

Речь идет об известном ньюйоркском музее западноевропейской живописи, выросшем из частного собрания Генри Клея Фрика (1849–1919), и об интерактивном Музее иммиграции (The Tenement Museum), открытом в начале 2000-х в здании 1860-х годов в районе, некогда «славившемся» своими трущобами.

34

Речь идет о Майкле Блумберге, мэре Нью-Йорка с 2002 по 2013 год. С 2014 года его сменил Билл де Блазио.

35

Землеотводы под железнодорожные сортировочные узлы на западе Манхэттена, за Пенсильванским вокзалом, и в Бруклине, около Атлантического вокзала.

36

В начале своей политической карьеры Блумберг поддерживал Демократическую партию (традиционно пользующуюся бóльшим влиянием в американских мегаполисах, в том числе в Нью-Йорке), но в 2001 году на выборы мэра неожиданно пошел от республиканцев, заявив, что от демократов «слишком много желающих».

37

Лозунг рейганомики. Идея заключается в том, что крупный доход постепенно «дробится» на все более мелкие ручейки. Например, у бизнесмена появляется больше денег на квартиру большего размера и на более дорогой ремонт в ней, от этого больше перепадает дизайнерам и строительным рабочим, те меняют машины и т. д.

«Жизненный дух» (*фр.*).

39

Моррисания – Южный Бронкс (по фамилии богатой семьи, некогда владевшей этими землями), Ист-Нью-Йорк – район на востоке Бруклина, недалеко от аэропорта имени Кеннеди (и от Брайтон-Бич). Оба упомянутые района – пригороды, в которых промзоны чередуются с двух-четырехэжтажными многоквартирными домами.

40

Бушуик – неблагополучный рабочий и иммигрантский район на самом севере Бруклина.

41

«Выбор Гобсона» – ситуация, при которой клиент имеет право воспользоваться единственным имеющимся предложением или отказаться от него вовсе. Получила название от владельца английской конюшни XVI века, который, с целью равномерного использования сдаваемых в аренду лошадей, завел правило: клиент должен был брать ближайшую к дверям лошадь или же он просто не получал лошади. Самый известный последователь Гобсона – Генри Форд, заявивший в 1914 году, что покупатели могут приобрести популярную и дешевую «модель Т» того цвета, какой захотят – если, конечно, захотят черный.

При первом появлении (*лат.*, юридич.).

43

Действие пьесы английского драматурга Луиса Паркера (1852–1944) «Pomander Walk» (1910) разворачивается в идиллической британской деревушке. (Pomander – коробочка для хранения ароматического шарика).

44

В оригинале использовано слово mews, обозначающее изначально ряды служебных строений вдоль задних фасадов городских усадеб – домики, представляющие собой комбинацию конюшни и каретного сарая с помещением для проживания на верхнем этаже конюхов и кучеров.

45

Имеется в виду компания по производству натуральной косметики и продуктов питания «Uncle Harry's».

46

Курортные места на Атлантическом побережье, в районе Нью-Йорка и Новой Англии.

47

Business Improvement District. BID. Аббревиатура совпадает со словом bid – ставка.

Central Park Conservancy.

49

Само название философской школы Аристотеля восходит к глаголу περιπατέω – прогуливаться, прохаживаться.

50

Парижская улица Муфтар (rue Mouffetard) известна своей исключительной древностью: она была проложена еще древними римлянами, а нынешняя застройка относится к XV–XVII векам.

Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М.: Искусство, 1966.

52

В Википедии «географический эксперимент» Кулешова описан более полно: «Кулешовым был снят и смонтирован следующий видеоряд: в начальном кадре актриса Хохлова идет мимо “Мосторга” на Петровке. В другом артист Оболенский идет по набережной Москвы-реки. В этих кадрах они улыбнулись и пошли навстречу друг другу. Сама встреча и рукопожатие были сняты на фоне памятника Гоголю. Здесь актеры повернулись и куда-то посмотрели. Далее в последовательность был вставлен кадр Белого дома в Вашингтоне. Далее – кадр на Пречистенском бульваре, где актеры принимают решение и уходят. Наконец, кадр, в котором они идут по ступеням храма Христа Спасителя. Все, кто смотрел этот материал, приходили к единому мнению, что герои вошли в Белый дом».

53

Ги Дебор. Теория Дрейфа. Опубликовано в Internationale Situationniste № 2, 1958. Перевод Э. Богдановой. Цит. по сайту «Психогеография»: http://psychogeo. spb.ru/page_75.html.

«Париж и скопление парижан» (Библиотека современной социологии, P. U. F., 1952). Цитируется по вышеназванной статье Дебора.

Michel de Certeau, L’Invention du Quotidien. Русское издание – Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013.

Пешие путники (*нем.*).

Перевод А. Космарского.

Благонамеренных (*фр.*).

Беньямин В. Берлинское детство на рубеже веков. Пер. Г. Снежинской. М.: Ад Маргинем Пресс, М. – Екб.: Кабинетный ученый, 2012.

60

Речь идет о Земельном ордонансе Континентального конгресса 1785 года, разделяющем присоединенные по парижскому мирному договору 1783 года, но еще не разведанные земли северо-запада США на квадраты с мильным шагом – что позволяло упорядочить налогообложение.

61

Небоскреб Equitable Building, букв. – «Здание справедливости», получил свое название от одноименной страховой компании, чьей штаб-квартирой он служил.

62

Исторически аптека (drugstore) в США – место, где можно купить не только лекарства, но и хозяйственные мелочи, а порою и продукты питания.

63

Ресторанные справочники, выпускаемые под именем легендарного американского повара Джеймса Эндрю Бирда (1903–1985).

64

До середины XVIII века границы городского поселения на Манхэттене (до 1665 года носившего название Новый Амстердам) проходили гораздо южнее, на уровне современной Уолл-стрит, о чем недвусмысленно говорит само название (wall – стена) этой всем известной улицы.

65

Речь идет о частном New York University, NYU, который не следует путать с Колумбийским университетом (CU) и государственным Городским университетом Нью-Йорка (CUNY), расположенными на Манхэттене гораздо «выше», на западной 116-й улице и на восточной 42-й улице соответственно.

Похоже, автор намеренно «запутывает следы»: под описание пятиэтажного (не считая наземного этажа) «дома-гантели» в квартале, примыкающем с востока к Вашингтон-сквер, больше всего подходит дом по адресу 82 Washington Place (над входной дверью которого к тому же виден каменный картуш с двумя перьями, что можно счесть намеком на лирическую поэзию, отсылающую к названию «Аннабель Ли»), – но он расположен не в том блоке, что ресторан Babbo, а напротив, и чтобы попасть из него на Вашингтон-сквер, нужно свернуть не налево, а направо.

67

Чуть больше 10 м^2.

68

Игра с шарами на меткость броска, родственник петанка и боулинга.

69

Кортеновая сталь, кортен – низколегированная сталь повышенной прочности.

Site specific – привязанный к месту.

71

Сара Делано Рузвельт (1854–1941) – мать президента Франклина Д. Рузвельта. Парк ее имени не следует смешивать с другим парком, Ривер-сайд, в Верхнем Вест-сайде, где установлен монумент Элеоноре Рузвельт, невестке Сары и одному из первых «послов доброй воли ООН».

72

Название института не имеет никакого отношения к «профсоюзу медянщиков», как может ошибочно подсказать название, а происходит от фамилии основателя – промышленника и филантропа Питера Купера (1791–1883).

73

Имеется в виду Джеральд Форд, американский президент в 1974–1977 годах.

74

Медина – в странах Магриба и Северной Африки – старая часть города, планировка которой восходит ко временам арабского завоевания IX века.

75

Джордия О’Киф (1887–1986) – американская художница, прославившаяся своими экспрессивными, но реалистичными изображениями цветов.

76

«Из многих – единое». Девиз, размещенный на гербе США.

Ebenezer Howard. Garden Cities of Tomorrow.

78

Соркин указывает 1967 год – что невозможно хотя бы потому, что Ле Корбюзье умер в 1965 году. Упомянутый 1967 год – это год выхода английского перевода книги «Лучезарный город», откуда цитата позаимствована.

Первые два из упомянутых – «спальные районы» из 12–15-этажных домов в Нижнем Ист-Сайде, возведенные после Второй мировой войны, самый известный в Нью-Йорке образчик этого градостроительного жанра; третий – крупнейший в мире кооперативный микрорайон, выстроенный в Бронксе на рубеже 1960–1970-х годов.

Но стала при этом обычным музейнорекреационным туристским городком.

81

Подразумевается Бернар-Анри Леви.

82

«Вместежитие» (co-housing) – неологизм, появившийся в шестидесятые годы и подразумевающий проектировку нескольких домов или квартир таким образом, чтобы они имели общее пространство для каких-либо совместных действий, например, общую кухню, столовую, детскую и т. п.

То есть центральной магистрали коттеджного поселка, на которую выходят переулки, ведущие к частным домам, и улицей, собственно, не являющейся.

Двадцать «соток».

85

Название улицы – Houston Street – совпадает на письме с названием города Хьюстон, но по традиции эти два названия читаются по-разному, так как восходят к фамилиям двух разных людей. Лондонский Сохо (чье название возводят к охотничьему крику) давно удерживает звание главного торговоразвлекательного квартала английской столицы. Помимо этого, лондонский Сохо считается ее гейцентром.

86

Бобо – bourgeois bohemians, «богемная буржуазия» – ироничный термин для обозначения людей, сочетающих деловую хватку с артистическим стилем жизни. См. книгу Дэвида Брукса «Бобо в раю: откуда берется новая элита» (М.: Ад Маргинем Пресс, 2013).

87

Гордон Матта-Кларк (1943–1978) – американский «пространственный художник», прославившийся превращением пу стующих домов в арт-объекты путем вырезания из них, в прямом смысле, фрагментов.

88

Исторический квартал в городе Вильямсбурге (штат Вирджиния), превращенный в музей-театр быта XVIII века. Не следует путать с Вильямсбургом в Бруклине, во многом «перенявшим» на рубеже XX–XXI веков у «обуржуазившихся» манхэттенских Виллиджей репутацию района творческих маргиналов.

Renato Severino. Equipotential Space: Freedom in Architecture.

90

Whole Earth Catalog – каталог разнообразных товаров и инструментов, необходимых для творчества и для жизни «натуральным хозяйством», издававшийся в 1968–1972 годах (а затем, нерегулярно, до 1998 года) деятелем контркультуры Стюартом Брендом и служивший не столько для продажи конкретных товаров, сколько для пропаганды альтернативного образа жизни.

91

Открытый в 1927 году туннель получил название в честь главного инженера проекта Клиффорда Милберна Холланда, не дожившего до завершения строительства

Имеется в виду принятое в небольших городах расположение железнодорожного вокзала «лицом», т. е. главным фасадом в сторону парадного проспекта и фешенебельных кварталов, и «задворками» в сторону неблагополучных рабочих районов.

93

Левиттаун – название четырех классических спальных пригородов (включая пригород Нью-Йорка) времен беби-бума на Восточном побережье, получивших свои имена от фамилии создателя – архитектора и владельца домостроительного комбината Уильяма Левитта (1907–1994).

Хорошо понятный американцам намек на TriBeCa Productions – созданную Де Ниро в 1989 году в бывших складах и фабриках Трайбеки кинокомпанию, с помощью которой (а также с помощью нижеупомянутого одноименного кинофестиваля, созданного в 2002 году) он небезуспешно пытается «дать ответ Голливуду с Восточного побережья» – при этом не столь коммерциализированный.

95

Понтиак – имя вождя алгонкинов, в 1760-е годы ведшего длительную и довольно успешную борьбу против англичан. Вынужденный наконец сдаться в 1766 году и признать власть британского короля, Понтиак, остававшийся влиятельным вождем, был убит в 1769 году – по официальной версии, «кровником» из другого племени.

Nolita – NOrth of Little ITAly; SoBro – South Bronx; Dumbo – Down Under the Manhattan Bridge Overpass, буквально – «Проезд под Манхэттенским мостом»; So-Hell – South of Hell's Kitchen (квартал ограничен 7-й и 11-й авеню, 31-й и 42-й улицами, между Сохо и «Адской кухней», Хеллз Китчен). При этом все аббревиатуры несут двойные смыслы и каламбурные аллюзии. Так, Dumbo – имя слоненка, героя одноименного диснеевского фильма.

Ко времени перевода книги на русский язык церковь на указанном месте уже исчезла. Впрочем, еще одна греческая церковь, во имя великомученицы Варвары, стоит с другого, восточного края Канал-стрит, почти у въезда на Манхэттенский мост, на пересечении с ранее упоминавшейся Форсайт-стрит.

98

Port Authority – государственная корпорация, распоряжающаяся не только нью-йоркским портом, но и значительной частью недвижимости Нижнего Манхэттена. В частности, ей принадлежит территория Всемирного торгового центра.

99

На современной карте Нью-Йорка этот скверик посреди дорожных развязок значится под названием Сейнт-Джонс-Парк (St. John’s Park).

100

«Теория смысла» (mean theory), или, корректнее, «теория самосогласованного поля» (mean field theory), – подход, при котором считается, что состояние отдельной частицы сложной системы определяется усредненным полем, создаваемым всеми остальными частицами и зависящим от каждой из них.

101

По сюжету фильма *batteries not included, крохотные пришельцы, питающиеся электричеством, помогают жильцам отбить атаку алчных застройщиков, желающих снести их старый дом.

102

Сюжетная завязка фильма «Счастливый случай» (It Could Happen To You, 1994) основана на реальном случае, произошедшем в 1984 году: полицейский офицер, у которого не нашлось мелочи на чаевые официантке, в шутку обещал ей половину выигрыша своего лотерейного билета. Но отношения реальных прототипов, конечно, не имели ничего общего с отношениями героев романтической комедии.

103

Бывший морской порт в Даунтауне превратился в место «вечной стоянки» шести старинных кораблей, большая часть которых имеет статус исторической достопримечательности, а Южная улица и прилегающий район (в том числе – упоминаемая ниже Фултонстрит, бывшее место рыбного рынка) обросли соответствующей туристической инфраструктурой.

104

Battery Park City – квартал качественных жилых домов, построенных на насыпи в Гудзоне вдоль Трайбеки и Даунтауна. Грунт для расширения берега изначально брался из котлованов при возведении комплекса Всемирного торгового центра.

105

Термин, введенный журналистом Томом Брокау, для описания поколения граждан США, переживших Великую депрессию и затем участвовавших во Второй мировой войне (или трудившихся дома, в тылу).

106

Кафедральный собор Святых Петра и Павла, или Вашингтонский кафедральный собор, – главный собор англиканской Епископальной церкви США, второй по размеру кафедральный собор в США (после собора Святого Иоанна Богослова в ньюйоркском Аптауне). Первый камень заложен в 1907 году, в присутствии президента Теодора Рузвельта, об окончании строительства было торжественно объявлено в 1990 году в присутствии президента Джорджа Бушастаршего.

107

Если считать, что шествие стартовало в отправной точке Бродвея, на Боулинг-Грин в Даунтауне, его маршрут составил чуть менее двух километров.

108

Леонтина Прайс (Leontyne Price, р. 1927) – сопрано, расцвет оперной карьеры которой пришелся на 1960-е годы. Стала первой чернокожей певицей, исполнившей главные партии в постановках театра Метрополитен-опера.

109

«После этого, значит, вследствие этого» – изречение, призванное подчеркнуть кажимость причинноследственной связи. Но автор, вероятно, апеллирует не столько к формальной логике, сколько к телесериалам: такое название носила одна из серий первого сезона сериала «Западное крыло».

110

«Стеклянный дом» Джонсона в Коннектикуте представляет собой единое помещение 17 × 9,8 м, обнесенное полностью прозрачными стенами и стоящее посреди просторной лужайки, обрамленной деревьями. Американский иллюзионист Дэвид Блэйн на 44 дня заточил себя без еды в плексигласовой коробке у Тауэрского моста. Адольф Эйхман – нацистский преступник, выкраденный в 1961 году израильскими спецслужбами в Аргентине и вывезенный в Израиль для суда, во время которого он сидел в пуленепробиваемой клетке. Объединяя эти три разные «коробки» по признаку «выполнения того, что от них требуется» (перформативности), автор намекает также на линию защиты Эйхмана на суде: он выполнял приказы.

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2005/safe/

112

«Большая Траншея» (Big Dig) – Большой Бостонский тоннель, колоссальная подземно-виадучная система автомобильного движения с восьмиполосной подземной магистралью протяженностью 5,6 км (3,5 мили) в своей основе, возводившаяся в 1982–2002 годах и ставшая не только самой длительной, но и самой дорогой (общий бюджет – 14,6 млрд долларов) стройкой в истории дорожного строительства США.

То есть до самой южной оконечности Манхэттена.

114

Преуспевающий американский модный дизайнер еврейско-бельгийского происхождения. Аристократическая немецкая фамилия – память о недолгом браке с немецким князем.

115

Branzino – итальянское название рыбы, известной также как лаврак или же сибас.

И небезуспешно: http://www.balduccis.com/

117

Последние несколько лет в Нью-Йорке идет мощная кампания по очистке Западной 42-й улицы (к западу от Бродвея), считавшейся долгие десятилетия центром ночной жизни, от сомнительных увеселений и возвращения ей респектабельного облика.

118

Огромная мастерская по пошиву женских блузок, размещавшаяся на трех верхних этажах десятиэтажного здания недалеко от Вашингтон-Сквера, печально прославилась в 1911 году, когда разбушевавшийся пожар унес жизни 146 работников (почти треть от общего количества), в основном девушек из Ирландии и из еврейских местечек. Основной причиной столь большого количества жертв стало то, что хозяева мастерской, борясь с «прогульщиками», наглухо закрыли пожарные выходы.

119

Esprit d’Escalier (*фр.*) дословно «дух лестницы», лестничный ум, остроумие на лестнице – выражение, эквивалентное русской поговорке «задним умом крепок».

120

«Трамп Сохо» введена в эксплуатацию в 2010 году, на следующий год после первого издания данной книги.